

Российская академия наук
Институт русского языка им. В. В. Виноградова
Институт славяноведения РАН
Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина

Этнолингвистика.
Ономастика. Этимология

Материалы
III Международной научной конференции
Екатеринбург, 7–11 сентября 2015 г.

vk.com/ethnograph

Екатеринбург
Издательство Уральского университета
2015

ББК Ш 100.04
Э 913

*Издание подготовлено в рамках поддержанного РГНФ
научного проекта № 15-04-14035*

Редакционная коллегия:

Е. Л. Березович (отв. ред.), Е. О. Борисова (отв. секр.), Н. В. Кабинина,
М. Э. Рут, Л. А. Феокистова

Этнолингвистика. Ономастика. Этимология : материалы
Э913 III Междунар. науч. конф. Екатеринбург, 7–11 сентября 2015 г. /
[отв. ред. Е. Л. Березович]. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та,
2015. — 318 с.

ISBN 978-5-7996-1524-6

В работах исследователей из России, стран ближнего и дальнего зарубежья рассматривается широкий спектр актуальных проблем этнолингвистики, ономастики, этимологии как общего, так и частного порядка. Особое внимание уделяется вопросам взаимодействия указанных областей языкознания — лингвокультурологическим аспектам ономастики, диалектологии и контактологии, этимологизации и семантической реконструкции нарицательных и собственных имен с опорой на этнолингвистическую информацию и др. Материалом для докладов послужили факты различных языков — в первую очередь русского и других славянских, а также романских, германских, финно-угорских, тюркских и др.

ББК Ш 100.04

ISBN 978-5-7996-1524-6

© Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН, 2015

© Институт славяноведения РАН, 2015

© Уральский федеральный университет, 2015

Содержание

| | |
|---|----|
| <i>Алпатов В. В.</i> Святая европейская земля: библейская топонимия в Западной Европе..... | 9 |
| <i>Аникин А. Е.</i> Об этимологиях, основанных на недоразумениях и недостоверном материале..... | 10 |
| <i>Антропов Н. П.</i> «Вождение <i>Кўста</i> » и «вождение <i>русалки</i> »: к вопросу об общем протоисточнике..... | 13 |
| <i>Ахметова М. В.</i> Поливариантность катойконимов в языковом пространстве современного города (на примере Твери) | 14 |
| <i>Байбурин А. К.</i> Контроль над личным именем в ранней советской традиции..... | 16 |
| <i>Бартминьский Е.</i> « <i>Ani widu, ani slychu</i> »: о семантической (а)симметрии зрения и слуха (пер. с польск. Ю. А. Кривошаповой) | 19 |
| <i>Бекасова Е. Н.</i> «Парабола власти» в современных русских прозвищах..... | 25 |
| <i>Белетич М.</i> Прилагательные со значением ‘кудрявый’ в сербском языке | 28 |
| <i>Белова О. В.</i> Сакральные имена в славянских народно-христианских легендах (имянаречение, переименования и трансформации имен)..... | 30 |
| <i>Березович Е. Л., Кабакова Г. И.</i> Материальная и духовная культура Франции и России в зеркале языка: взаимные отражения | 33 |
| <i>Бондаренко Е. Д.</i> Параметры любительского диалектного словаря и личность автора..... | 36 |
| <i>Борисова Е. О.</i> Мотив затрудненного восприятия в обозначениях медленных действий и медлительных людей | 39 |
| <i>Бунчук Т. Н.</i> <i>Кила, колодка и спорыня</i> : этнолингвистическая герменевтика «текста» народной культуры | 42 |
| <i>Валенцова М. М.</i> Этнолингвистический комментарий к этимологии слав. * <i>vlkodlak</i> | 45 |
| <i>Варбот Ж. Ж.</i> Уже не гапаксы | 48 |
| <i>Варникова Е. Н.</i> Зоонимикон родословной книги охотничьих собак Московского общества охоты имени императора Александра II | 51 |
| <i>Васильев В. Л.</i> Методика микросистемной реконструкции регионального топонимического ландшафта | 56 |
| <i>Васильева Н. В.</i> Нужен ли ономастике новый терминологический словарь?.. | 60 |
| <i>Володина Т. В.</i> Еще раз о <i>жабе во рту</i> (белорусские представления о стоматите в европейском контексте) | 62 |

| | |
|---|-----|
| <i>Воронцова Ю. Б., Галинова Н. В.</i> К изучению мотивации композитов, образованных от глаголов с семантикой поедания (на материале русской лексики и антропонимии)..... | 65 |
| <i>Врублевская О. В.</i> Антропонимы и мода: современные тенденции именаречения..... | 68 |
| <i>Высочанский В.</i> Фразеопаремическая картина старости человека в славянских языках | 71 |
| <i>Гайдамашко Р. В.</i> К вопросу о топонимических кальках: «собачьи» названия в Прикамье..... | 73 |
| <i>Галковский А.</i> К вопросу о диапазоне хремотонимии (пер. с польск. Ю. А. Кривошаповой) | 76 |
| <i>Гейн К. А.</i> Идеографические дублеты в микропонимии: проблема лексикографической обработки..... | 77 |
| <i>Голикова Д. М.</i> Рус. <i>катька</i> и фр. <i>catin</i> ‘кукла’: пути деривации | 79 |
| <i>Горьев С. О.</i> К вопросу о прагматимических парадигмах..... | 81 |
| <i>Гридина Т. А.</i> Ложноэтимологические эвристики детской речи как ресурс языковой игры: экспериментальные данные | 84 |
| <i>Грищенко А. И.</i> Прямые лексические заимствования из древнееврейского языка в средневековой славяно-русской книжности..... | 87 |
| <i>Гура А. В.</i> Семантика и функции круга в тексте свадебного обряда..... | 90 |
| <i>Дейкова Х.</i> О некоторых проблемах этимологизации болгарской лексики в «Болгарском этимологическом словаре» (пер. с болг. С. О. Горьева) | 93 |
| <i>Дмитриева Т. Н.</i> Топонимия реки Пелым на рукописных картах А. Регули 1844–1845 гг..... | 96 |
| <i>Добровольская В. Е.</i> «Кого как звать, только Бог знает, а человек и ошибиться может»: запреты и предписания, связанные с именаречением..... | 99 |
| <i>Дронова Л. П.</i> Энантисемия производных слав. <i>*krějati</i> | 102 |
| <i>Душечкина Е. В.</i> Антропонимическое пространство русской литературы XVIII в. (заметки к теме)..... | 105 |
| <i>Дьёни Г.</i> О некоторых «волжских» заимствованиях в венгерском языке | 108 |
| <i>Дэмбовяк П., Островский Б., Ванякова Я.</i> Из опыта подготовки этимологических комментариев к «Большому словарю польского языка (онлайн)» | 110 |
| <i>Еремина М. А.</i> Проблема корреляции языковых концептов лени и трудолюбия | 115 |
| <i>Жуйкова М. В.</i> Роль образности и внутренней формы фразем в лингвокультурной реконструкции | 119 |
| <i>Захарова Е. В., Муллонен И. И., Шибанова Н. Л.</i> «История, положенная на карту»: топонимические модели Карелии..... | 121 |

| | |
|---|-----|
| <i>Зелиньска А.</i> Этнические стереотипы в западной Польше после 1945 г..... | 124 |
| <i>Зубов Н. И.</i> <i>Текущее время</i> : заметки о семантической типологии языкового образа..... | 125 |
| <i>Иванова Е. Э.</i> К вопросу о редких цветообозначениях в русской топонимии | 128 |
| <i>Ипполитова А. Б.</i> Корпус фитонимов в рукописных травниках типа Губерти (XVIII в.) | 131 |
| <i>Кабакова Г. И.</i> «Наивная анатомия» в зеркале языка: пищеварительный тракт | 133 |
| <i>Кабинина Н. В.</i> К вопросу о происхождении топонимического детерминанта <i>-керда/-карда</i> | 134 |
| <i>Качинская И. Б.</i> <i>Богоданные родители</i> : термины свойства в архангельских говорах | 136 |
| <i>Климова К. А.</i> Персонифицированный образ личной судьбы в новогреческом фольклоре и его лексическое выражение | 139 |
| <i>Коган Е. С.</i> Реальные и ирреальные ситуации как образная основа фразеологизма | 141 |
| <i>Кондратенко М. М.</i> Славянская диалектная хрононимия как источник сопоставительных этнолингвистических исследований | 144 |
| <i>Коновалова Н. И.</i> Фитонимические «фантомы» в русской народной культуре | 147 |
| <i>Королёва Е. Е.</i> Отражение мифологических и христианских представлений о болезни в свете языковых данных (старообрядцы Латгалии)..... | 150 |
| <i>Кралина Е. В.</i> Когнитивные подходы при исследовании исторической семантики на примере слов <i>граница (грань), межа и рубеж</i> | 152 |
| <i>Кривошапова Ю. А.</i> Образ Волги в русской языковой традиции | 155 |
| <i>Крюкова И. В.</i> Аргументативная функция имени собственного | 157 |
| <i>Куркина Л. В.</i> К реконструкции в славянских языках некоторых фрагментов этимологического гнезда с и.-е. <i>*ser-</i> 'течь; бежать' | 160 |
| <i>Кучко В. С.</i> К изучению семантических связей лексики со значением обмана: «игровая» и «смеховая» мотивации | 162 |
| <i>Кюришунова И. А.</i> Шведские документы донационального периода как источник исследования антропонимии Карелии | 165 |
| <i>Леонтьева Т. В.</i> Мотив содействия социальному становлению человека в лексике русских народных говоров..... | 168 |
| <i>Лома А.</i> Из работы над этимологическим словарем сербского языка: этимологии «вверх дном» | 169 |
| <i>Лопорт Е. П.</i> К проблеме этимологизации сев.-рус. <i>ковосák</i> | 170 |
| <i>Макарова А. А.</i> Топонимические «аналоги» в Белозерье и Никольском районе Вологодской области | 173 |

| | |
|---|-----|
| <i>Мезенко А. М.</i> Хортенсионимы в системе наименований топографических объектов в пределах поселения..... | 176 |
| <i>Михайлова Л. П.</i> Поиск этимологии диалектных слов с опорой на признаки иноструктурного языкового воздействия | 178 |
| <i>Мищенко О. В.</i> К семантической реконструкции русских «гностических» обозначений колдуна..... | 181 |
| <i>Моргунова О. В.</i> Лексическое варьирование в русской народной хронимии | 184 |
| <i>Мороз А. Б.</i> Как зовут домового? К этимологии одного демононима..... | 186 |
| <i>Мызников С. А.</i> Южновепская лексика в севернорусском и прибалтийско-финском контекстах..... | 189 |
| <i>Напольских В. В.</i> Этнолингвистическая ситуация в лесной зоне Восточной Европы в первые века н. э. и данные «Гетики» Иордана | 191 |
| <i>Небжеговска-Бартминьска С.</i> Жанровая обусловленность символических значений слов (пер. с польск. Е. О. Борисовой) | 194 |
| <i>Нефедова Е. А.</i> «Архангельский областной словарь» как источник этнолингвистической информации..... | 197 |
| <i>Никитина С. Е.</i> «Двенадцать друзей», или Как предстают конфессиональные ценности в духовборческих псалмах | 200 |
| <i>Осипова К. В.</i> Крестьянский рацион голодного времени (на материале севернорусской диалектной лексики)..... | 202 |
| <i>Паликова О. Н.</i> Прозвищные антропонимы русско-эстонской деревни..... | 205 |
| <i>Парфенова А. А.</i> <i>Синий понедельник</i> — пьяный или ленивый? | 208 |
| <i>Пашина О. А.</i> Семантическое поле слова <i>голос</i> в русской народной культуре | 211 |
| <i>Погвизд Ш.</i> Влияние языков иранской группы на развитие обозначений абстрактных и религиозных понятий в праславянском языке | 215 |
| <i>Подюков И. А.</i> Русский народный культурный термин в коми-пермяцком языке | 216 |
| <i>Праведников С. П.</i> Субмегате́кст как инструмент фольклорной диалектологии | 219 |
| <i>Пустьяков А. Л.</i> К вопросу о пермских топонимах в Ветлужско-Вятском междуречье..... | 221 |
| <i>Разумов Р. В.</i> Типология систем урбанонимов Российской Федерации..... | 223 |
| <i>Романова Т. П.</i> Семантическая трансформация лексики в сфере коммерческой номинации..... | 225 |
| <i>Рушинова И. И.</i> Названия колдуна на карте Пермского края..... | 228 |
| <i>Рут М. Э.</i> Ономасиология? Мотивация? Семантика? Идеография? О классификациях имен собственных..... | 231 |
| <i>Саарикиви Я.</i> К вопросу о «саамском» субстрате в топонимии Русского Севера | 233 |

| | |
|--|-----|
| Свалова Е. Н. Коми-пермяцкий застольный этикет (на материале этикетных формул гостевания) | 235 |
| Седакова И. А. Имя и имена у болгар: специфика болгарского антропонимикона в сравнении с русским | 237 |
| Синица Н. А. Образы высшего духовенства в славянских языковых традициях | 240 |
| Смирнов О. В. Об этногенезе марийцев по данным системного анализа топонимии: заблуждения и реальность | 243 |
| Смольников С. Н. Феномен «польских» фамилий на Русском Севере | 247 |
| Соботка П. Заметки по этимологии и семантике слов, образованных от праслав. *jьst- | 250 |
| Соколова Т. П. Новые «урбанонимы» Москвы | 252 |
| Соломатина М. Г. «Божественные» прозвища | 255 |
| Спиридонов Д. В., Феокистова Л. А. Русский Иван и его «братья»: польск. Jan и фр. Jean (к вопросу об этнокультурных коннотациях личного имени) | 257 |
| Стефанский Е. Е. Обряд «Конница королей» и ключевые концепты чешской лингвокультуры в романе М. Кундеры «Шутка» | 260 |
| Супрун В. И. Аббревиация и инициальность в ономастике | 262 |
| Сурикова О. Д. К вопросу о прагматической обусловленности фольклорного текста (на материале конструкций с предлогом и приставкой без) | 265 |
| Теуш О. А. Севернорусские наименования мест захоронений | 268 |
| Тихомирова А. В. О системных отношениях переносных употреблений слов (на материале русской диалектной фразеологии) | 271 |
| Толстая С. М. Из лексики древнего славянского права: *klęta, *rota, *prisęga, *věra | 274 |
| Томасик П. Еще раз о границах ономастики (пер. с польск. Ю. А. Кривошаповой) | 277 |
| Томасик С. Торговые названия лекарственных препаратов в Польше и России | 278 |
| Торкар С. Варианты форм с переходом $v > g$ и $b > g$ в словенской топонимии | 279 |
| Узенёва Е. С. Культурный диалект болгар-мусульман Средних Родоп | 282 |
| Фалилеев А. И. К вопросу о языковой принадлежности одного топонима | 285 |
| Фролова О. Е. Метафора живого и неживого в малых фольклорных жанрах | 287 |
| Хенгст К. Названия университетских городов Лейпциг и Йена как источник этнолингвистической информации | 290 |

| | |
|---|-----|
| <i>Хоффманн Э.</i> Российская национальная идентичность и имена собственные в бизнес-коммуникации..... | 292 |
| <i>Хроленко А. Т.</i> Экзистенциальный мотив использования диалектной лексики в художественном дискурсе | 295 |
| <i>Чёха О. В.</i> Названия месяцев в новогреческом народном календаре | 298 |
| <i>Шабалина Е. В.</i> Коннотации числительных <i>quattro</i> ‘четыре’, <i>quarto</i> ‘четвертый’ в итальянском языке | 301 |
| <i>Шелепова Л. И.</i> «Историко-этимологический словарь русских говоров Алтая» как источник изучения межславянских связей русских диалектов | 303 |
| <i>Шкураток Ю. А., Айдаров Ю. Р.</i> Электронный архив мифологических рассказов Пермского края: реализация системы интеллектуального поиска | 306 |
| <i>Юдин А. В.</i> Эпистемологические истоки славянской этнолингвистики..... | 309 |
| <i>Юзиева К. С.</i> Образ совы в традиционных представлениях мари: этнолингвистический аспект..... | 309 |
| <i>Якубович М.</i> Из наблюдений над семантическими параллелями..... | 312 |
| <i>Янышкова И.</i> Этимология чешских названий барбариса..... | 313 |
| <i>Ясинская М. В.</i> Глаголы со значением ‘смотреть’ в русских диалектах | 314 |

В. В. Алпатов

Московский городской педагогический университет, Москва
alpatov.v@list.ru

Святая европейская земля: библейская топонимия в Западной Европе

Онимические системы позволяют проследить не только этническую, но и наднациональную общность культур разных народов, в первую очередь религиозную. Наличие такой наднациональной связующей культурной основы хорошо заметно на примере библеизмов в лексиконе и ономастиконе христианских народов Европы. Пожалуй, можно с уверенностью утверждать, что использование библейских топонимов и антропонимов является своего рода европейской топонимической универсалией. Анализ материала из топонимических систем разных стран позволяет проследить общее и различное в мотивации таких топонимов, а также выявить недостающие звенья в объяснении происхождения тех или иных названий.

На настоящий момент отсутствует единая классификация и описание европейских топонимов, имеющих библейские ассоциации из Ветхого и Нового Завета. Условно можно выделить два больших периода перенесения библейских названий на географические объекты в Западной Европе — до Реформации, когда главным импульсом для возникновения таких топонимов служат крестовые походы (при этом перенесенные топонимы обычно закрепляются за монастырями, замками, орденскими поместьями), и после Реформации, когда

господствующей оказывается новая парадигма мышления протестантизма (в этот период библейские названия чаще переносятся на церкви, частные дома, элементы рельефа и сельскохозяйственные угодья). Пики фиксаций библейских топонимов приходятся на XIII–XIV и XVIII–XIX вв., причем в каждый период отмечаются доминирующие группы названий. В качестве средств создания библейских топонимов выделяются метафоризация, языковая игра и народно-этимологическая интерпретация.

А. Е. АНИКИН

Институт филологии Сибирского отделения РАН, Новосибирск
alexandr_anikin@mail.ru

Об этимологиях, основанных на недоразумениях и недостоверном материале

Не слишком многочисленные работы по типологии этимологических исследований (главным образом, словарей [см.: Malkiel, 1976]) как будто не касаются проблемы этимологий, упомянутых в заголовке этой заметки, хотя на практике они встречаются не столь уж редко. Они представляют определенную опасность для нашей науки и должны или выводиться из научного оборота, или помечаться как требующие особой осторожности. Представим некоторые иллюстрации.

В монографии И. Новиковой о русских названиях грызунов для зоонима *выхухоль* предлагается сравнение с калмыцким *öxöxul^u* ‘светлорыжий цвета с черной и темной гривой’, *χax^axul^a* ‘вид рыси’ [Nowikowa, 1959, 23–24]. Этимология отражена в дополнении О. Н. Трубочева к словарю М. Фасмера [1, 372], а также в других работах, в том числе последнего времени, например в словаре В. Э. Орла.

Данная этимология включает недоразумение, так как цитируемое Новиковой *ö* — неправильно понятое сокращение *ö* в калмыцком слове Г. Рамстедта. Оно расшифровывается как *ölötisch*, т. е. немецкое название олетского наречия калмыцкого языка, но отнюдь не как морфема этого языка. Впрочем, и без учета этой псевдоморфемы калмыцкая

этимология слова *выхухоль* крайне сомнительна. Калм. *χōχul^u* включает *χō* ‘соловый, светло-желтый (о лошадях)’ и *χul^u* ‘светло-коричневый с черной гривой и черным хвостом’. Каким образом вся эта «гиппология» может быть связана с *выхухолью* — «водяным зверком», у которого «нос хоботом» (Даль) и который имеет сильный запах мускуса?

В статье **gataⁱ* ‘прорицать, ворожить’ «*Ślownik prasłowiański*» [7, 60] дает ссылку на рус. диал. *gámai* ‘спорщик, склочник’ как на дериват **gataⁱ*, рус.-цслав. *gamati* ‘предугадывать, догадываться’, меняющий представление об этом слове как чуждом русской народной речи. Объяснение малоубедительное, но главная беда в том, что диалектизм взят из «Словаря русских говоров Забайкалья» Л. Е. Элиасова (где, кстати, *gamái*), который не может служить надежным основанием для каких-то существенных выводов.

Укажем также на прием, к которому Л. Е. Элиасов прибегал для пополнения своих диалектных записей: выписывание слов из словарей русских говоров В. И. Даля, Н. Ф. Кривошапкина или из словарей языков Сибири (якутский словарь Э. К. Пекарского и др.) и снабжение этих слов придуманными «забайкальскими» контекстами, иногда «по мотивам» данных словаря-источника. Так, у Пекарского в статье об отыменном якутском *тордуja-lā* ‘ловить рыбу сетью’ говорится: «Рыболов... плывет на лодке... рыба попадает в сеть, закинутую поперек реки». У Элиасова находим фантастическое *тórдула* ‘способ ловли рыбы сетями, плывущими по течению’: «Заметали сети поперек реки и плывем за ней... таким тордулой много не поймашь».

Обнаружение подобных подделок стало возможным из-за опечаток в словарях-источниках, которые Л. Е. Элиасов не замечал или игнорировал: у Даля *кычим* ‘черпак’ — и у Элиасова *кычим* ‘черпак’ («Кычим так обледел, что кое-как его я поднимал»), хотя несомненно, что речь идет о тюркизме *кычим* ‘чепрак’. И у Даля, и у Элиасова имеется, кстати, и *кичím* ‘чепрак’. Обилие опечаток и/или неточностей (обусловленное преждевременной кончиной составителя) является еще одной особенностью словаря Л. Е. Элиасова.

В этом словаре необычайно много заимствований из разных языков, и даже «неизвестно от каких народов» (по выражению составителя), что оправдывается ссылкой на многие десятилетия собирательской работы Л. Е. Элиасова, а также его уверенностью в том, что «народ не оставался в стороне от классовой борьбы», а она приводила

к интенсификации экономической жизни — отсюда якобы и заимствования. Такие тезисы, вероятно, устраивали главного редактора словаря Элиасова, Ф. П. Филина, который настоял на публикации этого в высшей степени спорного лексикографического труда. Разве можно, например, всерьез думать о заимствовании в русские говоры из якутского в случае с элиасовским *ачин* ‘плечо’ (ср. якут. *ägin* ‘плечо’ у Пекарского): «На твоих ачинах не один выезжал в рай, пусть теперь на твоих ачинах, товарищи рабочие, капиталисты прокатятся в ад!» Ничего подобного в других словарях русских говоров Сибири нет.

По всей вероятности, в словаре Элиасова есть важные диалектные данные, но где гарантия подлинности этих «золотых словесных россыпей» (определение Ф. П. Филина)? Устранить из научного оборота словарь Элиасова уже не получится, но если пользоваться им, то с величайшей осторожностью, не слишком на него полагаясь. Между тем, он широко используется в славистике (встречается и в публикациях по неславянским языкам), им пользуются «Этимологический словарь славянских языков» и «*Słownik prasłowiański*». Его данные включены в «Словарь русских говоров Сибири» А. И. Федорова и привлекаются в «Словаре русских народных говоров».

Одной из «жертв» словаря Элиасова стал и автор этих строк, предложивший в свое время ряд примеров «диффузии» русской лексики с крайнего Северо-Востока Сибири в Забайкалье (в книге «Этимология 1985»). Никакой «диффузии» нет, а есть русские слова чукотско-камчатского происхождения в словаре Даля, которые по описанной выше методике были превращены Л. Е. Элиасовым в «забайкальские».

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка : в 4 т. М., 1986–1987.

Malkiel Y. Etymological Dictionaries : A Tentative Typology. Chicago, 1976.

Nowikowa J. Die Namen der Nagetiereim Ostslawischen. Berlin, 1959.

Słownik prasłowiański. Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Gdańsk, 1974–. Т. 1–.

Н. П. Антропов

Центр белорусской культуры, языка и литературы НАН Белоруссии,
Минск (Белоруссия)
antropov50@gmail.com

«Вожделение *Кўста*» и «вождение *русалки*»: к вопросу об общем протоисточнике

Уже давно общим местом едва ли не всех работ, посвященных восточнославянской русалке, стало утверждение о сложности, неясности, разноплановости, неоднородности, противоречивости и т. п. этого демонологического персонажа. Однако, констатируя и описывая удивительную вариативность русалки (Д. К. Зеленин в монографии 1916 г., но особенно подробно Л. Н. Виноградова в ряде работ — с выделением северного и юго-западного, распространенного на Украине, в Белоруссии, южнорусских этнокультурных регионах, типов; см., например, специальную статью в [СД, 4, 495–501]), исследователи оставляли в научной тени истоки и генезис этого образа. Фактически только Т. А. Агапкина предложила и обосновала южнославянско-восточнославянский пространственный вектор продвижения русальского комплекса, «принесенного» в Восточную Славию с Балкан, причем многие «черты восточнославянских русалок обязаны своим происхождением их балканославянским “прародительницам”» [Агапкина, 2002, 369]. Дальнейшее развитие образа местных демонов-русалок является результатом с и м б и о з а полученных исконных, т. е. собственно южнославянских, и целого ряда специфических восточнославянских этнокультурных «наполнителей»: обычаев и запретов, ритуалов и магических практик [Там же, 370].

Новые материалы, вводимые в научный оборот в последнее время (в частности, авторами пробного выпуска «Белорусского фольклорно-этнолингвистического атласа»), не только однозначно подтверждают высказанные идеи, но и стимулируют их продолжение — во всяком случае, в отношении локальных белорусских традиций. Продуктивным в этом смысле представляется сопоставление двух обрядово-ритуальных комплексов: «вождения *Кўста*» (преимущественно западнополесского) и «вождения / проводов *русалки*»

(преимущественно восточнополесского), которые под этим углом зрения пока не рассматривались, хотя, конечно, очевидное структурное сходство всех «проводных» ритуалов неоднократно отмечалось в научной литературе.

Поразительное сходство важнейших составляющих (пусть даже и спорадически фиксируемых) двух «вождений», таких как полное ряжение главного персонажа в зелень, шествие по деревне, молчание объекта вождения / проводов, разрывание и дальнейшее использование его убранства, карпогонические и плювиальные мотивы в ритуальной семантике и т. п., приводит к мысли не только об их очевидной типологической конгруэнтности (с совершенно естественной «внутренней» интерпретацией каждого из элементов), но и о возможном общем источнике, который связан с наследием традиционной духовной культуры (пра)дреговичей. Примечательно, что едва ли не определяющее значение в аспекте заявленного сопоставления двух «вождений» имеет этнолингвогеография.

Агапкина Т. А. Мифопоэтические основы славянского народного календаря. Весенне-летний цикл. М., 2002.

СД — Славянские древности : этнолингв. словарь : в 5 т. М., 1995–2012.

М. В. Ахметова

Школа актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС, Москва
malinxi@rambler.ru

Поливариантность катойконимов в языковом пространстве современного города (на примере Твери)

В 1990 г., когда Твери было возвращено историческое имя, в местной печати был поставлен вопрос о том, какое название следует употреблять для именованя местных жителей. Источники конца XX в. свидетельствуют об использовании в местном узусе того времени четырех вариантов: *тверичане*, *тверичи*, *тверяки* и *тверитяне* (отмечаемые

© Ахметова М. В., 2015

словарями *тверчане* и *тверцы* остались чуждыми региональной речи). Вариант *тверитяне* употреблялся реже, чем остальные, однако была сделана попытка утвердить именно его в качестве нормативного. Так, 27 августа 1990 г. в первом номере газеты «Тверские ведомости» вышла статья заведующей кафедрой русского языка Тверского государственного университета, профессора Р. Д. Кузнецовой «Мы — тверитяне», содержавшая рекомендации в пользу данного названия.

Позиционирование названия *тверитяне* как «правильного» (эта информация транслировалась преподавателями Тверского университета; кроме того, вариант утвердился практически в половине тверских СМИ) не привело к вытеснению остальных названий. Данные изучения тверских СМИ и блогосферы, а также полевые материалы (интервью 2014 г. с журналистами, сотрудниками университета, издателями, краеведами и рядовыми горожанами) позволяют выявить, как представляется, уникальную картину сосуществования в языковом пространстве современной Твери четырех названий жителей.

Можно говорить о четкой редакционной политике тверских печатных и электронных СМИ, а также об однозначных предпочтениях преподавателей, издателей и других «трансляторов нормы» в отношении употребляемого варианта. В случае предпочтения названия *тверитяне* выбор объясняется апелляцией к авторитету филологической науки; в случае предпочтения названий *тверчане* или *тверичи* — солидарностью с узусом, ориентацией на актуальную речевую традицию. Название *тверяки* фактически исключено из публичной сферы и сохраняется в устной речи, иногда — в художественных текстах. Кроме того, для сотрудников СМИ важным аргументом зачастую оказывается ориентация на речь некоторых представителей власти. Языковые предпочтения, таким образом, экстраполируются на принятие той или иной стороны в локальном конфликте между представителями городской и областной администрации (т. е. местных политиков и «ставленников Москвы»).

Для местных жителей, по преимуществу предпочитающих варианты *тверичане* и *тверичи*, важными оказываются прежде всего сенсорно-вкусовые оценки и апелляция к прецедентным текстам (в частности, к творчеству тверского шансон-барда Михаила Круга, в песнях которого употребляются названия *тверичи* и *тверичанка*), а также к прецедентным онима́м (парикмахерская «Тверичанка», хоккейная команда «Тверичи» и мн. др.). На периферии узуса остаются

названия *тверитяне* (оценивается как архаичное и официозное, даже если оно представляется говорящим «правильным») и *тверяки* (оценивается как грубое). Показательно, что иногда даже журналисты СМИ, в которых название *тверитяне* принято как нормативное, в бытовой речи склонны употреблять другие варианты.

При этом суждения, высказываемые местными жителями, могут демонстрировать смешение оценок, относящихся к разным вариантам. Чаще смешиваются названия *тверитяне* и *тверичане* (по причине фонетического сходства), иногда — *тверичане* и *тверичи* (по причине общего названия в ж. р.: *тверичанка*; кроме того, зачастую название в м. р. *тверичанин* употребляется как форма ед. ч. от *тверичи*).

Наличие нескольких вариантов нередко обуславливает их контекстуальную дифференциацию или закрепление за определенными речевыми ситуациями: например, *тверитяне* — в печати и в официальных контекстах, *тверичане* и *тверичи* — в нейтральной бытовой речи, *тверяки* — в оценочных суждениях, в частности, задействующих негативные стереотипы, которые связываются с местными жителями (показательно, что название *тверяки* в текстах нередко соседствует с амбивалентным локально-групповым прозвищем *тверские козлы*).

А. К. Байбурин

Европейский университет в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербург
abaiburin@yandex.ru

Контроль над личным именем в ранней советской традиции

Под личным именем в докладе понимается полная именная формула — фамилия, имя, отчество. Речь пойдет об официальных личных именах — тех, которые зафиксированы в метрических записях, свидетельствах о рождении, паспортах и других документах. Основные особенности таких имен — их полнота и неизменность.

По комментариям советских юристов, право на имя в советском законодательстве однозначно принадлежит человеку: «Право на имя — личное неимущественное право, неотделимое от личности». Однако

© Байбурин А. К., 2015

любое изменение официального имени возможно лишь в том случае, если оно допускается действующим законодательством. Другими словами, менять имя по своему усмотрению (вне официальных норм и практик) человек не может. Государственные установления, касающиеся имени, претерпели существенные трансформации. В этом докладе речь пойдет о том, как контролировалось официальное имя государством в довоенное время.

Несколько слов о предыстории. Начиная примерно с Петровского времени, официальные (т. е. записанные в метрические книги, крестильные) имена никаким изменениям вообще не подлежали. С высочайшего позволения могли быть изменены лишь фамилии дворян и почетных граждан; исключение делалось также для инородцев, принимающих православие: в таком случае они могли менять имена и фамилии на русские. Однако законом 1850 г. было запрещено изменение фамилии даже в случае крещения (в частности, евреев).

Советская эпоха началась с разрушения прежней традиции функционирования имен. Церковь лишилась права давать официальное имя и контролировать процедуру имянаречения. Эту роль взяли на себя родители и производственные коллективы, а регистрация имени стала осуществляться государственными органами ЗАГС.

В одном из первых декретов новая власть предоставила гражданам право «изменять свои фамилии и прозвища» (Декрет № 37, 1918 г.), но не собственно имена. Насколько сложно было изменить наследственное «фамильное прозвище» в прежнее время, настолько просто это стало в новых условиях. Менялись главным образом «социально опасные» фамилии, известные дворянские фамилии, а также просто неблагозвучные. Мотивировок сохранения запрета на изменение имен обнаружить не удалось. Между тем этот запрет в новой ситуации порождал сложности, причем не только для самих обладателей имен, но и для официальных органов.

В 1924 г. постановлением ВЦИК и СНК РСФСР было разрешено менять не только фамилии и родовые прозвища, но и имена. По времени это постановление совпало с началом движения за новый революционный именник, которое стало составной частью борьбы с церковью за «нового человека».

Смягчение режима по отношению к перемене имени в 1920-е гг. сопровождалось попытками усилить идентификационные характеристики

документов и тем самым крепче привязать имя к человеку, дабы не допустить его перемены с преступными целями.

Безобидная, казалось бы, процедура изменения имени с самого начала оказалась под контролем НКВД, которым была издана подробная «Инструкция о порядке перемены фамилий (родовых прозвищ) и имен». Перемена имени и фамилии предстает в этом документе делом государственной важности, требующим особого внимания со стороны надзорных органов.

В 1930-е гг. для смены имени потребовались «веские уважительные причины». К таковым относились неблагозвучность фамилии, имени, отчества; трудность их произношения; желание супруга носить общую с другим супругом фамилию; и др. Если в 1920-е гг. возможность перемены имени мотивировалась тем, что через новое имя советский человек мог проявить свою новую (советскую) индивидуальность, то в 1930-е гг. эта возможность рассматривалась скорее как своего рода «исправление ошибок» и устранение несоответствий в семейных отношениях.

В конце 1930-х гг. особый контроль осуществлялся за именами тех граждан, которые относились к так называемым «инонациональностям» (в 1938 г. — поляки, затем — немцы, греки; во время войны к ним добавились уже вполне «свои» национальности — калмыки, чеченцы и др.). Им просто не разрешалось менять имена. Дело в том, что до апреля 1938 г. национальность записывалась со слов владельцев паспортов, и имена для НКВД были тем признаком, по которому вычислялась «истинная» национальность.

Даже такой заведомо неполный материал показывает, что изменение имени довольно жестко контролировалось со стороны государственных органов. Мотивировалось это не только соображениями учета граждан и борьбы с преступностью, но и проектом создания «нового человека», а также определением «правильной национальности».

Тем самым получается, что в интересующее нас время официальное имя принадлежит не только носителю, но и всем тем, с кем он вступает в правовые отношения, а также организациям и государственным структурам. Другими словами, сразу множество субъектов претендует на имя, которое, казалось бы, принадлежит конкретному человеку. Не случайно до сих пор прослеживается особое отношение людей к полным (официальным) именам. Как свидетельствуют

материалы собранных интервью, многие считают официальное имя если не чужим, то не вполне своим.

Е. Бартминьский

Университет им. Марии Кюри-Склодовской, Люблин (Польша)
jbartmin@klio.umcs.lublin.pl

«Ani widu, ani słychu»: о семантической (а)симметрии зрения и слуха

Доклад посвящен сравнению двух типов восприятия — зрительного и слухового. Вынесенные в заголовок слова «Ani widu, ani słychu» <Не видно, не слышно> предполагают равнозначность зрения и слуха как двух базовых для человека источников информации о мире. Многие ученые подчеркивают преобладание зрения как источника знания (В. Н. Топоров обращал внимание на то, что слова *wiedzieć* <ведать> и *widzieć* <видеть> находятся в этимологическом родстве), однако открытым остается вопрос о типе знания, полученного путем смотрения и слушания.

Вопрос, на который я постараюсь ответить, звучит так: как отражают языковые данные кажущуюся равнозначность функций г л а з а и у х а, з р е н и я и с л у х а, в и д е н и я и с л ы ш а н и я?

Некоторые основные параметры обыденной концептуализации акта зрительного и слухового восприятия оказываются общими и лексикализуются параллельно. Это касается: 1) самого акта восприятия; 2) объекта восприятия; 3) субъекта; 4) зрительного (*глаз*) и слухового (*ухо*) инструмента; 5) возможности чувственного восприятия (видимость и слышимость).

В определенном смысле параллельны параметризованные акты в и д е н и я и с л ы ш а н и я. Одинаково характеризуется способ получения субъектом зрительных и слуховых впечатлений, дифференцируется активный или пассивный механизм восприятия (*widzieć* и *słyszeć* <видеть, слышать>) или активное действие (*patrzeć* и *śluchać* <смотреть, слушать>: *któs widzi coś / kogoś* — *któs patrzy na coś / kogoś*;

ktoś słyszy coś / kogoś — ktoś słucha czegoś / kogoś <кто-либо видит что-, кого-либо — кто-либо смотрит на что-, кого-либо; кто-либо слышит что-, кого-либо — кто-либо слушает что-, кого-либо>). Оба глагола, называющие ощущения, подвержены дезагентизации, т. е. могут функционировать без субъекта: например, *widąć miasto; słyszać gwar* <видеть город; слышать шум>.

Сходство распространяется и на формы, отражающие завершенность или незавершенность действия, что является общей чертой большинства польских глаголов: *patrzeć — wypatrzeć — wypatrywać; słuchać — wysłuchać — wysłuchiwać* <смотреть — высмотреть — высматривать; слушать — выслушать — выслушивать>; соответствуют друг другу глаголы совершенного вида: *zobaczyć — usłyszeć* <увидеть — услышать>. Различаются хорошее или плохое видение и слышание: *widzieć coś na własne oczy* <видеть что-то собственными глазами> и *słyszeć na własne uszy* <слышать собственными ушами>; *niedowidzieć* <не рассмотреть> и *niedosłyszeć* <недослышать>. Симметричны (кроме производных глаголов типа *podpatrzeć* и *podłuchać*, *wypatrzeć* и *wysłuchać* <подсмотреть и подслушать, высмотреть и выслушать>) прилагательные *widzialny — słyszalny* <видимый — слышимый> и существительные *widz* <зритель> и *słuchacz* <слушатель>, *widowisko* <зрелище, спектакль> и *sluchowisko* <радиопередача>, *widownia* <зрительный зал> и *audytorium* <аудитория>.

Однако полной симметрии в организации семантических полей видения и слышания не наблюдается.

Дериваты корней *wid-* / *patrz-* и *słych-* / *sluch-* большей частью несимметричны: *widziadło* <призрак>, *widmo* <привидение>, *wizja* <видение, призрак>, *wizjoner* <провидец> не имеют лексических соответствий в поле слушания; *posłuch* <внимание; послушание>, *posłuszny* <послушный>, *posłuszeństwo* <повиновение>, *słuszny* <правильный>, *śluszość* <правильность> не имеют соответствий в поле видения. Показательным оказывается различие семантически схожих прилагательных *widny* и *śluszny*: *widny* означает ‘полный света, хорошо освещенный, яркий’, а *śluszny* — это ‘правильный, хороший; обоснованный, законный’.

На уровне идиоматики (коллокаций, фразеологизмов) наблюдаем дальнейшее расхождение концептуализации зрения / видения и слуха / слышания.

Фраземы характеризуют видение по степени активности: *ktoś gapi się na kogoś / coś* <кто-либо глазеет на кого-, что-либо>, *patrzy jak wół / ciele na malowane wrota* <смотрит, как вол на крашенные ворота>, *ma oko na coś* <кладет глаз на что-либо>, *sonduje coś / kogoś wzrokiem* <сверлит взглядом>, *bierze na oko* <берет на глаз>; по интенсивности: *nie spuszcza z kogoś / czegoś oka* <не спускает глаз с кого-, чего-либо>, *wbija / wpija / wlepia w coś wzrok / oczu* <вопьется взглядом / глазами>, *świdruje oczami / wzrokiem* <сверлит глазами / взглядом>, *patrzy jak sroka w kość / w gnat* <смотрит, как сорока на кость>. Слышание и слушание получают другие языковые характеристики, хотя параметры, по которым они описываются, близки¹. Они характеризуются также по степени активности: *ktoś nadśluchuje, nasłuchuje (odgłosu)* <кто-либо прислушивается к отзвуку>; *ktoś nadstawia / skłania / daje ucho / ucha* <кто-либо подставляет / дает ухо>; *łowi coś uchem* <ловит что-либо ухом>; *natęża ucho / słuch* <напрягает ухо / слух>; *zamienia się w słuch* <превращается в слух>; *przylepia ucho do drzwi* <прилепляет ухо к дверям> (отсюда: *ściany mają uszy* <стены имеют уши>) (по материалам «Словаря синонимов» С. Скорупки [SWB]).

В аспекте интенсивности рассматриваются видение (ср. *ktoś rzuci na coś okiem* <кто-либо бросает взгляд на что-либо>, *przygląda się* <приглядывается>, *lustruje wzrokiem* <рассматривает>, *ogląda* <осматривает>, *przypatruje się* <приглядывается>, *śledzi wzrokiem coś / kogoś* <отслеживает взглядом кого-, что-либо>, *wodzi za czymś / kimś oczami* <водит глазами за чем-, кем-либо>) и слышание / слушание (ср. *ktoś słucha jednym uchem* <кто-либо слушает одним ухом>; *słucha piąte przez dziesiąte* <слушает с пятого на десятое>, *z rozróżnieniem* <с рассеянностью>; или: *ktoś nadstawia ucha* <кто-либо подставляет ухо>, *chłonie wrażenia słuchowe* <впитывает слуховые впечатления>, *strzyże uszami* <стрижет ушами>). Бытовой способ навязывания контакта связан с использованием начальной речевой формулы «Słuchaj, słuchajcie!» <Слушай, слушайте!>. Нерадивого адресата, который плохо слушает, осуждают словами «Słuchaj uchem, a nie brzuchem» <Слушай ухом, а не брюхом>.

¹ Однако *przysłuchuje się (rozmowom)* <прислушивается к разговорам>, *wysłuchuje się (w melodii)* <вслушивается в мелодию>, *podśluchuje (rozmowę)* <подслушивает разговор>, *natęża ucho / słuch* <напрягает ухо / слух> параллельны *przygląda się* <приглядывается>, *wpatruje się* <вглядывается>, *podgląda* <подглядывает>, *wytycza wzrok* <напрягает взгляд>.

Выявляются сопутствующие восприятию эмоции: *ktoś wybałusza ślepią / oczy / gały* <кто-либо пучит слепые глаза / зенки>, *wytrzeszcza oczy* <таращит глаза> ‘смотрит с удивлением и недоумением’; *patrzy jak w obraz / jak w tęczę* <смотрит как на картину / как на радугу>; *napawa / pasie oczy / wzrok czymś* <успокаивает глаза / взгляд чем-либо / останавливает <пасет> глаза / взгляд на чем-либо>, *wpatruje się jak urzeczony* <всматривается как завороченный> ‘смотрит с любовью’, *typie / błyska / strzela oczami* <поглядывает / мигает / стреляет глазами>; *zerka* <зыркает> ‘смотрит скрытно, в тайне от других’.

Слушание также может быть внимательным и невнимательным; кто-то может не хотеть слышать о чем-либо: *nie chceć słyszeć o czymś*; столкнуться с равнодушным отторжением словесного сообщения: *rzucać grochem o ścianę* <кидать горохом в стену>.

Чувственное восприятие может быть ограничено, ср. *widzieć coś niewyraźnie jak przez mgłę; słyszeć coś niewyraźnie jak zza ściany / jak przez sen / we śnie* <видеть что-либо смутно, как в тумане; слышать что-либо неясно, как из-за стены / как во сне>.

Глаголы видения объединяют сенсорные, ментальные и социальные значения: *ktoś swoją przyszłość widzi w różowych barwach* <кто-либо видит свое будущее в розовых тонах> ‘представляет себе’; *nie widzi w całej sprawie nic złego* <не видит в этом ничего плохого> ‘не судит о чем-либо плохо’; *jest źle widziany przez władze* <плохо видится властями> ‘имеет плохую репутацию у властей’.

Глагол *słuchać* объединяет сенсорное значение ‘воспринимать звуковые впечатления’ с этическим — ‘поступать так, как кто-либо желает, поступать согласно установленным правилам, слушать советы, распоряжения’ [PSWP]; это выражается в пословице «Kto nie słucha ojca, matki, posłucha psiej skóry» <Кто не слушает отца и мать, тот послушает собачью шкуру> ‘человека, непослушного в молодости, ожидают неприятные последствия во взрослой жизни’.

Параметры наивной концептуализации акта видения более разнообразны, чем параметры слушания / слышания: 1) инструмент, помогающий видеть; 2) поле зрения; 3) различия между первым, вторым, дальним планом, фоном; 4) угол зрения; 5) точка наблюдения / точка зрения; 6) перспектива [см.: Bartmiński, Niebrzegowska-Bartmińska, 2004]. Действительно, слуховое восприятие значительно отличается от зрительного.

Роман Якобсон писал: «Очевидно, что как слуховое, так и зрительное восприятие “работают” и в пространстве, и во времени, но для зрительных знаков важнее пространственное измерение, а для слуховых — временное. Сложный зрительный знак включает ряд одновременных составляющих, а сложный слуховой знак состоит, как правило, из серии последовательных составляющих. <...> Есть громадная разница между картиной, которая, будучи пространственной, в основном воспринимается одновременно (моментально), и протеканием во времени речи или музыки, последовательно воздействующих на наш слух» [Якобсон, 1972, 84–85].

Уолтер Онг [Ong, 1992] обращал внимание на коммуникативные различия между письмом и устной речью: произнесенное слово доходит до ушей адресата, оно точное и динамичное, связывает людей друг с другом, оно есть сила, которая обуславливает связь между говорящими. Речь звучит, воспроизводится человеком, достигает уха слушающего, окружает его со всех сторон, как бы «вливается» в него.

Важнейшие различия и существенные контрасты — главный предмет доклада — касаются типа информации (знания), передаваемой и получаемой с помощью зрения и слуха: по зрительному каналу передается информация главным образом о мире внешнем, предметном, а по слуховому каналу — о внутреннем мире, охватывающем культурные нормы и ценности.

Энри Бернарде [Bernárdez, 2013] на материале исландского языка показал: насколько видение и смотрение являются источником знания о мире, настолько слушание и слышание ведут к более глубокому пониманию познаваемого мира и знакомству с принципами функционирования в нем.

Осознание особой роли слушания в жизни и социальном поведении человека издавна присутствовало в польской культуре. В Библии слушание важнее видения и смотрения, так как можно «иметь глаза и не видеть» (Пс. 135 : 16). Бог скрыт от взгляда людского («Bóg biblijny pozostaje ukryty przed wzrokiem ludzi») (Ис. 45 : 15), увидеть Его своими глазами значит «гарантировать» будущее («oglądanie Go na własne oczy jest obietnicą na przyszłość») (Мф. 5 : 8; Ин. 3 : 2; Откр. 22 : 4). Иначе обстоит дело со слушанием и слышанием, которые оказываются важнее смотрения и видения, так как, согласно Библии, из слышания и слушания (гласа Божьего) рождается вера (Рим. 10 : 17), *shuchanie* <слушание>

трансформируется в *posłuszeństwo* <повиновение> (Мф. 11 : 4; Лк. 10 : 24 и др.).

Похожее понимание слушания демонстрирует коллективный гений, скрытый в языке и в языковой картине мира и человека. Связь *śluchu* <слуха> и *śluchania* <слушания>, с одной стороны, друг с другом, а с другой — с поведением человека подтверждается этимологически, так как к этимологическому гнезду *śluchu* <слуха> и *śłyszzenia* <слушания> относятся слова *posłuch* <послушание> и *posłuszeństwo* <повиновение>, а также лексемы *śluszny* <правильный, справедливый>, *ślusnie* <правильно, справедливо>, *śluszność* <правильность, справедливость>: вести себя правильно (*ślusnie*) значит поступать ‘точно, послушно, по правилам’, *śluszność* <правильность> — это ‘соответствие той реальности, о которой кто-то говорит, думает; резонность, правда’, т. е. значение слова может быть рассмотрено и в этическом аспекте. Правыми (справедливыми) (*śluszne*) могут быть выборы, мнения, взгляды, правомерными (*śluszne*) или неправомерными (*niesłuszne*) — расходы, претензии, жалобы. Таким образом, лингвистические размышления о культурной семантике слушания (*śluchanie*), слышания (*śłyszenie*), послушания (*posłuszeństwo*) и слуха (*śluch*) осуществляются в области, наиболее существенной для межличностного общения, а именно, в сфере этики речевой деятельности.

Якобсон Р. К вопросу о зрительных и слуховых знаках // Семиотика и искусствометрия. М., 1972. С. 82–87.

Bartmiński J., Niebrzegowska-Bartmińska S. Dynamika kategorii punktu widzenia w języku, tekście i dyskursie // Punkt widzenia w języku i w kulturze. Lublin, 2004. S. 321–358.

Bernárdez E. Evidentiality and the Epistemic Use of the Icelandic Verbs *Śjá* and *Heyra*. A Cultural Linguistic View // The Linguistic Worldview: Ethnolinguistics, Cognition, and Culture. London, 2013. P. 415–441.

Ong W. Oralność i piśmienność. Lublin, 1992.

PSWP — Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. Poznań, 1994–2005. T. 1–50.

SWB — Słownik wyrazów bliskoznacznych. Warszawa, 1971.

Пер. с польск. Ю. А. Кривошаповой

«Парабола власти» в современных русских прозвищах

Многообразие жизни определяет появление у человека прозвищ — «придаточных имен», позволяющих уточнить место, занимаемое человеком в социокультурном пространстве. Возникая на определенном этапе и нередко передаваясь «в род и потомство», прозвища нередко обрастают легендами и преданиями, которые через предков обосновывают статус бытия потомков и могут со временем перейти в устойчивые именованья. Этот процесс «сгущения типического» в прозвище наблюдается и в современном языкотворчестве.

Являясь динамичным и разнообразным пластом онимикона, прозвища, с одной стороны, чутко реагируют на изменения в области материальной и духовной культуры, а с другой — соотносятся с уже сложившимися стереотипами национальной ментальности. В связи с этим определенный интерес представляет исследование особенностей преломления в прозвищах исторической памяти народа, а также восприятия современной действительности через призму прозвищных именованний, где немаловажной оказывается сфера «народ — власть».

В нашем случае базой такого исследования послужила картотека прозвищ, собранных в результате опроса и анкетирования жителей Оренбургской области в течение последних 18 лет (более 6,5 тыс. ед. хр.). Были системно обследованы 124 населенных пункта, некоторые корпоративные и камеральные прозвища собраны в районных центрах и городах. В ряде случаев, для отдельных коллективов, с промежутком в несколько лет проводилось повторное исследование, направленное на определение диапазона изменения системы. Такой подход позволяет не только выявить социальное и локальное «прозвищное» пространство, но и уточнить статус и механизмы порождения прозвищ [см.: Бекасова, 2003; 2010; 2014].

Прозвищные именованья людей как носителей власти представлены в картотеке сравнительно небольшим сегментом (около 12 %). Анализ этих единиц свидетельствует о значительном историко-культурном

разнообразии имен-прототипов: от *Соломона* и *Тутанхамона* до *Барака* и *Путина*.

Разнообразна и мотивация прозвищ: от «схватывания» отдельных чисто внешних черт (*Гитлер* — за родинку под носом) до существенных характеристик (*Иван Грозный* — школьная техничка). При этом закономерно, что переход имени того или иного «властителя» в прозвище обусловлен универсальной (типичной) или существенной для определенного коллектива чертой его носителя — отсюда именованья типа *Железный Феликс* (не знающие жалости начальник управления и фельдшер в сельском медпункте), *Наполеон* (самый уважаемый человек в коллективе; напыщенный и самовлюбленный директор магазина), *Фурцева* (чиновница, успешно выстраивающая карьеру в мужском коллективе), *Брежнев* (человек с широкими густыми черными бровями; человек, не умеющий говорить) и др. Сопоставительный метод в сочетании с выяснением реальной мотивации позволяет рассматривать такого рода прозвища как результат мифологизации носителей «верховой» власти.

Напротив, представители более близкой и реальной «местной» власти получают «параболические» прозвища типа *Вождь* («злобный» начальник локомотивного депо), *Гадзилла*, *Горгона* («за умение делать гадости»), *Звонок*, *Пустобрёх* (за отсутствие дел, лживость и интриги) и т. п. Нередко мотивация прозвища приобретает черты некоего сказа, коррелирующего с развитием ситуации и развертыванием сюжета «на месте» (*Гуркалов*, *Заверюха*, *Ленин-Петька*, *Хозяин-Бомж с погребом* и др.). Как правило, подобные прозвища широко известны определенному коллективу и бытуют в усеченном или развернутом виде, соотносясь с рядом эпизодов, которые соединяют вымысел и реальность и нацелены на гипертрофированное обозначение существенных характеристик носителя прозвища.

В отличие от людей, обладающих властью, объекты власти наделяются соответствующими прозвищами в меньшей степени. Как правило, их круг ограничен идеей осуждаемого коллективом подчинения начальству: *Буржуйская Подпевала* (школьница, докладывающая обо всем учителям; секретарь начальника), *Всёшка* (по особенностям произношения первых слов типичной фразы-ссылки на вышестоящее начальство: «А всё ж таки надо спросить...»), *Подложка* (за преданность на грани подлости и рабства) и т. п.

Смена идеологических парадигм, как правило, не изменяет символу прозвищ, в том числе и в пределах присущих нашему обществу «метаморфоз» белого — черного, поскольку прозвище возникает с некоторым хронологическим зазором, позволяющим определить и закрепить типическое, универсальное и в принципе неизменное.

Таким образом, прозвища как явления определенного социокультурного контекста, передаваемого «из рук в руки» [Неклюдов, 2013], обладают определенной обработанностью и некой отстраненностью. Особенности переработки реальной действительности, преломления исторической памяти и их отражение в неисчерпаемой индивидуальности наименований человека дают основание утверждать, что народные прозвища, находясь на оси общечеловеческих ценностей, независимы от траектории падения или взлета власти и неизменно удалены от нее.

Бекасова Е. Н. Русские прозвища как отражение ментальности // Концептосфера русского языка: константы и динамика изменений : X Конгресс Междунар. ассоциации преподавателей рус. языка и литературы (Санкт-Петербург, 30 июня — 5 июля 2003 г.). СПб., 2003. С. 293–303.

Бекасова Е. Н. «Прозывчивый народ» // Уральские Бирюковские чтения: культура и образование в регионах: история и современность : материалы всерос. науч.-практ. конф. (21–22 сентября 2010 г.). Челябинск, 2010. С. 358–366.

Бекасова Е. Н. Лексикографический потенциал прозвищ как этнокультурного феномена // Проблемы истории, филологии, культуры. 2014. № 3. С. 164–166.

Неклюдов С. Ю. Культурная память в устной традиции: историческая глубина и технология передачи [Электронный ресурс]. URL: <http://www.ruthenia.ru/folklore/publications.htm>.

Прилагательные со значением ‘кудрявый’ в сербском языке

Очередной том «Общеславянского лингвистического атласа» («Личные черты человека») представит большое число прилагательных, оязыковляющих следующие идеограммы: ‘большой’, ‘бородатый’, ‘глухой’, ‘голый, неодетый’, ‘горбатый’, ‘добрый’, ‘жилистый’, ‘имеющий веснушки’, ‘косоглазый’, ‘красивый’, ‘кудрявый’, ‘ленивый’, ‘лысый’, ‘немой’, ‘охотно и хорошо работающий’, ‘плаксивый’, ‘пугливый’, ‘рыжий’, ‘сильный’, ‘скупой’, ‘слепой’, ‘толстый’, ‘усатый’, ‘хромой’, ‘худой’.

В большинстве случаев это прилагательные, которые обозначают внешние черты и физические качества человека, прежде всего ярко выраженные, — те, которые отличают его внешность от «нормы» [Драгићевић, 2001, 92]. С некоторой долей условности данные прилагательные можно разделить на следующие группы:

- 1) прилагательные, обозначающие полное отсутствие определенного физического качества: *глухой, немой, слепой*;
- 2) прилагательные, обозначающие степень выраженности определенного признака: *большой / маленький, красивый / некрасивый, сильный / слабый, толстый / худой*;
- 3) прилагательные, обозначающие явную аномалию (физический недостаток) во внешнем облике человека: *горбатый, косоглазый, хромой*;
- 4) прилагательные, обозначающие наличие у человека определенного соматического признака: *бородатый, усатый*;
- 5) прилагательные, обозначающие прочие внешние характеристики человека: *кудрявый, лысый, рыжий*.

Прилагательные, характеризующие физические черты человека, могут вступать в антонимические пары (*толстый / худой*), однако число таких пар относительно невелико. В большинстве своем данные

прилагательные обозначают признаки, присущие не всем людям, а такие прилагательные не имеют антонимов. В этом смысле особенно показательны лексемы, обозначающие физические недостатки (*горбатый, косоглазый, хромой*) и полное отсутствие определенного физического качества (*глухой, немой, слепой*). Прилагательные такого типа вступают в оппозитивные отношения с нелексикализованными нейтральными членами, выражающими отсутствие данного признака. Таким образом, «антонимом» прилагательного *горбатый* является нелексикализованное определение ‘нормальный, без деформации позвоночника’, а «антонимом» прилагательного *кудрявый* является нелексикализованное определение ‘тот, который не имеет кудрей, некудрявый’ (см. другие примеры в [Драгићевић, 2001, 187]).

В процессе работы над морфонологической транскрипцией сербского материала наше внимание привлекла идеограмма ‘кудрявый, с вьющимися волосами’, поскольку она реализована самым большим числом лексем: *врткав, грзуљав, грзурав, грегурав, грчкав, кврчав, кекераст, ковријав, кокорав, крецав, кудрав, куиљав, куштрав, фриџкан, чечвераст, чечерав, чечурав, чичурав, чкогртљав, чупав*.

Напомним, что в этих примерах мы имеем дело с вторичным значением, так как изначально прилагательное относилось к отдельному соматическому объекту и лишь затем, в результате перспективизации, стало относиться к человеку: *кудрявые волосы* > *кудрявый человек* [Драгићевић, 2001, 223].

В центре нашего внимания — происхождение рассматриваемых лексем, многие из которых не имеют общепринятой этимологической трактовки. Так, прилагательное *куштрав*, согласно одному толкованию, восходит к праслав. **kustravъ(jь)*, производному от глагола **kustriti*, который считается экспрессивным вариантом **kutiti* ‘гнуть’ [ЭССЯ, 13, 136], а согласно другому толкованию — к праслав. **kustrъ, *kustra* в связи с **kustъ* ‘куст’ [Snoj, 337–338]. Еще более противоречивы сведения о происхождении прилагательного *кокорав*. Оно толкуется, во-первых, как дериват праслав. **kokora* ‘кудря’ (?) [Skok, 2, 120–121]; во-вторых, как производное от праславянской основы **koko-*, представляющей собой редупликацию слова **ko-r-enъ* [Sławski, 2, 335–336]; в-третьих, как праслав. **koko-ravъ(jь)* — прилагательное, образованное от существительного **kokora*, родственного **kočera* / **kočerъ* [ЭССЯ, 10, 114–115], которое, в свою очередь, связывается с **kočanъ*, образованным от слабо

засвидетельствованной основы **kok-*, варианта основы **kuk-*, с общей семантикой чего-то возвышающегося, торчащего [см.: Бјелетић, 2006, 249–250; ЭССЯ, 10, 104–105].

Когда будет опубликован упомянутый том «Общеславянского лингвистического атласа», станет возможным сопоставление рассматриваемых сербских прилагательных с лексическими реализациями понятия ‘кудрявый’ в остальных славянских языках с целью обнаружения потенциальных лексико-семантических изоглосс.

Бјелетић М. Исковрнути глаголи. Београд, 2006.

Драгићевић Р. Придеви са значењем људских особина у савременом српском језику. Београд, 2001.

ЭССЯ — Этимологический словарь славянских языков: праславянский лексический фонд. М., 1974–. Вып. 1–.

Škok P. Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Knj. 1–4. Zagreb, 1971–1974.

Ślawski F. Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków, 1952–.

Šnoj M. Slovenski etimološki slovar. Ljubljana, 2003.

О. В. Белова

Институт славяноведения РАН, Москва
kotmonya@yandex.ru

Сакральные имена в славянских народно-христианских легендах (имянаречение, переименования и трансформации имен)*

В докладе представлены некоторые результаты многолетнего исследования, посвященного текстологии славянских народных этимологических легенд. Народно-христианские тексты (легенды, предания и мотивированные библейскими сюжетами и мотивами поверья) уделяют значительное внимание как именованию сакральных персонажей (на этом часто базируется сюжетосложение), так и значению

* Работа выполнена в рамках проекта «Проблемы межнациональных контактов и взаимодействий в текстах устной и письменной культуры: славяне и евреи» (грант РФФИ, 15-18-00143).

© Белова О. В., 2015

и функциям имен собственных (этим могут быть обусловлены различные магические практики и этикетные правила).

Некоторые аспекты, связанные с именами персонажей славянской «народной Библии», этимологией и метаморфозами имен собственных в народных легендах, были рассмотрены нами ранее [см.: Белова, 2001; 2004, 87–93; 2005; 2014, 28–29, 32; Белова, Петрухин, 2014, 513–515].

С 2013 г. в рамках международного проекта по составлению энциклопедии этиологических сюжетов и мотивов европейского фольклора, инициированного Центром славистических исследований Университета Сорбонны (руководитель проекта — Г. И. Кабакова), нами был проанализирован корпус русских, украинских и белорусских фольклорных текстов XIX–XXI вв. (около 1 500 легенд), отразивших народную этиологию в ее различных аспектах, а также начата работа по составлению сводного указателя сюжетов и мотивов восточнославянских этиологических легенд.

В докладе на примере отдельных фрагментов разрабатываемого указателя будут показаны основные мотивы и их комплексы, связанные с именованием сакральных персонажей в текстах космогонической тематики (сюжеты о сотворении мира, природных объектов и человека).

Как показывает проанализированный материал, значимыми мотивами, присутствующими в текстах «народной космогонии» и в ряде случаев играющими сюжетообразующую роль, являются: имя Бога (*Бог, над богами Бог, Господь, Господь-Батюшка, Господь-Вседержитель, Савеоф, Бог Салаоф* и др.); имя помощника / антагониста (*Бо, Бог, Гоголь-Сатана, Дьявол-Вельзевул, Поплешиник, Савоул, Сатана, Сатанаил, Сатаниил, Сатанил, Сатанило* и др.); изменение сакрального имени (*Сатанаил → Сатана, Миха → Михаил, Мишка / Гришка → Михаил / Гавриил*); побратимство творцов (не называя друг друга по имени, они выступают как братья, побратимы, товарищи, старший и младший; ср. мотив родства творца и антагониста (отец и сын) в болгарских легендах); имянарекание первых людей (этимология имен *Адам* и *Ева*).

При этом мотив имянарекания тесно связан с идеей равновеликости или, наоборот, неравнозначности творцов (Сатанаил нарекает себя сам или имя дает ему «старший товарищ» — Господь Бог). Изменение сакрального имени затрагивает не все имена антагониста, значимым для повествования оказывается лишь имя *Сатанаил*; другие имена

противника Бога, фигурирующие в славянских легендах (*Даница, Деница, Лапцихвир, Люцятар, Luciper*), не включены в орбиту данного сюжета.

Мы рассмотрим также некоторые примеры именования сакральных персонажей, зафиксированные в отдельных локальных текстах и отражающие, по всей видимости, этнокультурные контакты в области библейского фольклора (*Алей — Дух Божий / Илья и Сус Христос / Марич* в карпатских (гуцульских) легендах).

С именами сакральных или антисакральных персонажей связаны также запреты на произнесение отдельных слов или речевых формул (например, запрет говорить «спасибо» у старообрядцев и т. п.).

Белова О. В. Имя в славянских легендах и поверьях (по материалам Архива полесских экспедиций) // Имя: внутренняя структура, семантическая аура, контекст : тезисы междунар. науч. конф. М., 2001. С. 142–143.

Белова О. В. «Народная Библия»: метаморфозы имени собственного // Ономастика в кругу гуманитарных наук : материалы междунар. науч. конф. Екатеринбург, 2005. С. 269–270.

Белова О. В. «Иронические» пересказы Священного Писания в славянском фольклоре (стратегии текстопорождения и структура нарратива) // Нарративные традиции славянских литератур: от Средневековья к Новому времени: к юбилею чл.-корр. РАН Елены Константиновны Ромодановской : материалы Всерос. науч. конф. Новосибирск, 2014. С. 28–33.

Белова О. В., Петрухин В. Я. Трансформированные версии дуалистического сюжета в славянской традиции // Арии степей Евразии: Эпоха бронзы и раннего железа в степях Евразии и на сопредельных территориях : сб. памяти Елены Ефимовны Кузьминой. Барнаул, 2014. С. 512–516.

«Народная Библия»: Восточнославянские этиологические легенды / сост. и коммент. О. В. Беловой. М., 2004.

Е. Л. Березович

Уральский федеральный университет, Екатеринбург
berezovich@yandex.ru

Г. И. Кабакова

Университет Париж-Сорбонна, Париж (Франция)
galina.kabakova@libertysurf.fr

Материальная и духовная культура Франции и России в зеркале языка: взаимные отражения

В результате многолетних контактов Франции и России в двух языках сложились взаимные культурно-языковые образы: француза и «французскости» в русском языке, русского и «русскости» во французском. В докладе эти образы рассматриваются контрастивно. Для анализа выбран тематический фрагмент, связанный с материальной и духовной культурой двух народов. Изучается ядро языковых образов — системно-языковые факты, во внутренней форме которых есть прямое указание на «русскость» или «французскость»: в русском языке — производные от этнонима *француз* (с учетом образований от диалектных или устаревших основ *пранц-, франч-, фрянк-, хранз-, хранц-*) и топонима *Париж*; во французском языке — производные от слов *Russe, Russien* ‘русский’, *Cosaque* ‘казак’ → ‘русский военный’ → ‘русский’, *Moscou* ‘Москва’, устар. *Moscovite* ‘житель Москвы, русский’.

В тематической группе «Материальная культура» представлены обозначения одежды, тканей, обуви (*французский каблук* ‘выгнутый, тонкий каблук’, смол. *парижский сарафан* ‘нарядный сарафан с яркими цветами’; *moscovite* ‘ткань, использовавшаяся для пошива модных платьев’, *pantalon (à la) cosaque* <штаны на казачий лад> ‘широкие штаны, сужающиеся книзу’), косметики, парфюмерии, причесок (*французские духи*; *russes* ‘короткие бакенбарды’), гастрономии (*французская водка* ‘коньяк’, одес. *хранзоль* ‘сдоба’; *salade moscovite* <московский салат> ‘овощной салат с яйцами и майонезом’, *galette russe* <русская лепешка> ‘бисквиты, приготовленные на коричневом сахаре и прослоенные толстым слоем кофейного крема’), элементов бытового окружения

(*французский замок* ‘самозакрывающийся, врезаемый в дверь замок’, *французская кровать* ‘широкая двуспальная кровать’; *casserole russe* <русская кастрюля> ‘кастрюля с вертикальными стенками, длинной ручкой и крышкой’, жарг. *cosaque* ‘вид печи’), т р а н с п о р т н ы х с р е д с т в (вгл. *парижаны* ‘нарядные выездные сани’).

Сопоставление мира бытовых артефактов в отражении русского и французского языков показывает, насколько русская действительность была насыщена «французскими» предметами, окружавшими представителей всех слоев общества, от дворянства до простолюдинов. «Русские» же артефакты во французском языковом пространстве носят преимущественно эпизодический характер. Показательно и то, что во французском языке отсутствует обобщенный образ русского материального мира, в то время как в русском языке фиксируется общая ассоциация Франции и всего французского с модой, роскошью, блеском (ср. сочетания *парижский шик*, *французская роскошь*, *парижская мода* и др.), пусть даже воспринимаемыми иногда как нечто поверхностное (*французские безделушки*, арх. *фрянка* ‘всякая всячина’).

В отношении реального знакомства с чужим предметом ситуация в России и Франции различна: «французские» предметы одежды, блюда, выпечка действительно изначально прибывали из Франции или входили в русский быт благодаря французским мастерам и ремесленникам, порой десятилетиями трудившимся в России. «Русские» же предметы за редким исключением, когда они действительно импортировались из России (*cuir russe* <русская кожа> ‘юфть’, *laine de Moscovie* <московская шерсть> ‘фетр из подшерстка бобра’), были результатом недолгого наблюдения, как правило, в период военных столкновений.

В некоторых случаях происходит своего рода «конструирование» чужого продукта на основе национальных стереотипов. Так, во французском языке есть многочисленные «русские» названия блюд, семантическим признаком которых является жирность (присутствие большого количества крема, майонеза) или наличие «русского» ингредиента вроде икры (ср. *côtelette de saumon à la russe* <стейк из лосося по-русски>, т. е. под майонезным соусом с икрой, кусочками омара или лангуста). «Русские» ингредиенты могут быть вымышленными: к примеру, «русскому» чаю (*thé russe*) приписывается цитрусовый привкус.

Во многих русскоязычных обозначениях реалий материальной культуры определение *французский* означает прежде всего

«европейский», «западный», отсюда наличие вариантов с «английской», «немецкой», «испанской» и т. п. атрибуцией (*французское платье* = *немецкое платье*, *французская булавка* = *английская булавка*, *французский ветер* = *испанский ветер* ‘пирожное из взбитых белков’), часто с дополнительной оценочной семой «хороший» (модный, дорогой, попуной, престижный, нарядный, красивый и т. п.). Во французском языке сам факт «иностранных» номинаций в области моды или кулинарии является знаком уважения к чужой традиции. Сема «плохой» (примитивный, бедный, убогий, грубый или даже отсутствующий) в этом тематическом блоке встречается редко: *французское масло* ‘коровье масло со значительной примесью сала’; *chaussettes russes* <русские носки> ‘портянки’, ‘отсутствие обуви на ногах’.

Что касается тематической группы «Д о с у г , д у х о в н а я к у л ь т у р а», то она представлена гораздо меньшим количеством лексических единиц, чем предыдущая группа, но при этом отличается завидной симметрией. К примеру, и русские, и французы выделяют в чужой культуре т а н ц ы, которые под своими «иностранными» названиями в обеих странах царили как на светских балах, театральных сценах, так и на простонародных танцульках: *французская кадрили* ‘танец, исполнявшийся четным количеством пар, стоящих в две линии на расстоянии 5–6 шагов’, свердл. *парижáнка* ‘танец с песнями’; *la moscovite* ‘старое название французского контрданса, попури из разных фигур, позаимствованных из других танцев’, *danse russe* <русский танец> ‘фольклорный танец вприсядку’, *pas russe* <русское па> ‘па де баск’, ‘грубый танец русских крестьян’ и др. Русский балет, уходящий корнями в традиции французского балета, вернулся на свою историческую родину (в первую очередь под влиянием «Русских сезонов» Дягилева) и стал отдельным понятием (*ballet russe*).

Не менее важным чужим топосом стала п р о з а — с психологической доминантой, как в русских романах (ср. устойчивое сочетание *romans russes*, под которыми подразумеваются романы Толстого, Достоевского, Тургенева), или с любовной, как во французских (в России *французскими романами* назывались главным образом сентиментальные произведения, написанные, как правило, в XVIII–XIX вв.). С русским психологическим романом в сознание французской элиты вошел и концепт «русской (славянской) души» (*âme russe, âme slave*) и,

возможно, «русского шарма» (*charme russe*), «русской красоты» (*beauté russe*) – или, точнее, красоты русской женщины.

Преобладание обозначений «французских» предметов быта в русском языке до некоторой степени уравнивается наличием названий «русских» и г р и з а з в л е ч е н и й во французском. Они были либо привезены из России (*poupée russe* <русская кукла> ‘матрешка’, *billard russe* <русский бильярд> ‘разновидность бильярда’), либо названы «русскими» как дань царившей в определенный период русофилии (ср. обозначение аттракциона *montagnes russes* <русские горки>, построенного в Париже в 1816 или 1817 г., когда Россия была в моде), либо приписывались русским офицерам (*roulette russe* <русская рулетка>). Можно, однако, увидеть и некоторую внутреннюю логику в последних двух терминах: в обоих случаях речь идет об экстремальных ощущениях, а стереотип русского характера включает в себя порыв к сильным переживаниям.

Е. Д. Бондаренко

Уральский федеральный университет, Екатеринбург
jelena.kazakowa@gmail.com

Параметры любительского диалектного словаря и личность автора

Любительские диалектные словари — это списки «местных» или «старинных» слов, составленные непрофессиональными лексикографами. В настоящем докладе будут обозначены некоторые социокультурные и лингвистические характеристики наивных лексикографов, в наибольшей степени определяющие особенности составления словарей. Материалом для доклада стали различные русские любительские словари — как рукописные, так и опубликованные лингвистами-профессионалами.

1. **В о з р а с т.** Диалектные слова могут записывать школьники по заданию учителя — с установкой на сбор «старинных слов» у своих бабушек и дедушек. Словарики, получившиеся в результате такой деятельности, представляют собой плод собирательской деятельности

носителей (в большей или меньшей степени) литературного языка (ср. «Словарь народного говора села Заостровья», подготовленный школьниками Виноградовского района Архангельской области). Списки, составленные библиотекарями или учителями, обычно деревенскими жителями среднего возраста, создаются уже несколько иначе: в них попадают как слова, у с л ы ш а н н ы е лексикографами от старожилов, так и те слова, которые авторы наивных словарей хорошо знают и у п о т р е б л я ю т с а м и (ср. словари, составленные библиотекарями с. Боговарово Октябрьского района Костромской области, словарь из библиотеки с. Троицкое Шарьинского района Костромской области). И, наконец, на другом полюсе находятся словари, составленные самими старожилами, которые вспоминают «свои» старинные слова и записывают их (ср. словарики Л. Н. Ждановой, жительницы с. Тохта Ленского района Архангельской области, М. С. Устиновой из д. Летняя Золотица Приморского района Архангельской области и др.).

2. П р о ф е с с и я, р о д д е я т е л ь н о с т и. Авторами «наивных» словарей чаще всего становятся деревенские жители, по роду своей деятельности с необходимостью имеющие дело с литературным языком и городской культурой: школьные учителя, владеющие как наивным, так и научным представлением о языке; библиотекари, которые нередко перемещаются по всему кусту деревень и выезжают за его пределы (например, рукописный словарь А. А. Дьяченко из с. Ухта Каргопольского района Архангельской области); местные краеведы, как в конце XIX — начале XX в. (ср. «Словарь живого поморского языка в его бытовом и этнографическом применении» И. М. Дурова), так и сейчас (ср. проекты современных краеведов по созданию описаний языка «особого этноса» — «Кацкий словарь», «Сибирская вольгота», «Поморская говоря»). Лексикографией занимаются также люди с «непрофильным» образованием, родившиеся в сельской местности, выезжавшие в город учиться и вернувшиеся в деревню: такая степень знакомства с двумя различными идиомами также может активизировать метаязыковое сознание.

Любительские диалектные словари могут создавать также авторы, имеющие высшее образование (ученые, писатели, журналисты и др.), прекрасно владеющие литературным языком, однако не являющиеся профессиональными лингвистами, ср., к примеру, «Слово за слово: особенности речи сургутян в 1940–1950-е гг.: словарь-воспоминание» В. К. Белобородова.

Наконец, любительские словари могут создавать профессиональные лингвисты, ср. словарь говора д. Уличелы Зарасайского уезда Литвы, составленный известным славистом Г. К. Венедиктовым [Венедиктов, 2011]. Лексика, отраженная в словаре, — это не результат собирательской деятельности профессионального лексикографа, а плод воспоминаний детства уроженца литовской деревни.

3. М е с т о ж и т е л ь с т в а. Импульсом к созданию словаря для диалектоносителя может служить переезд из одной диалектной зоны в другую, проживание на контактной территории, где сталкиваются разные говоры или языки, и т. д. К примеру, Н. П. Десятериков, родившийся в с. Соловецкое Октябрьского района Костромской области, долгое время работал в Омской области, а затем вернулся на родину. Желание составить словарь появилось у него из-за ощущения различий между костромскими и сибирскими говорами.

4. С е м е й н о е п о л о ж е н и е. Активизировать метаязыковую рефлексию наивных лексикографов может, к примеру, наличие в семье носителей другого языкового идиома (супруг из другой области, уехавший в город ребенок и т. д.), ср. словарь В. П. Криулиной, жительницы с. Боговарово Октябрьского района Костромской области. Ее муж родился в одной из деревень того же района, находящихся на границе с Кировской областью. В словаре В. П. Криулиной для отдельных реалий приводится как костромское, так и вятское слово.

Выделенные особенности предопределяют различия т о ч е к з р е н и я, п о з и ц и й авторов по отношению к описываемому ими лексикону.

В словариках, составляемых учеными, путешественниками и пр., представлен в н е ш н и й в з г л я д наивного лексикографа, зачастую великолепно владеющего литературным языком, на «чужую» диалектную систему (любительские диалектные словари XVIII–XIX вв.). Внешняя точка зрения представлена также в словариках, составленных носителями говора, переехавшими на новое место жительства и осваивающими новый языковой идиом. В этом случае положение лексикографа, однако, осложняется тем, что он вынужден осуществлять «перевод» слов одного чужого идиома (нового для себя диалекта) на другой (общенародный язык).

В з г л я д и з н у т р и наблюдается в диалектных словарях, составленных самими носителями описываемого диалекта, при этом

наиболее «чистая» внутренняя позиция — у старожилов, записывающих «старинные слова» для памяти и для внуков. Такие лексикографы хорошо владеют описываемым ими идиомом, однако могут допускать ошибки в «переводе» его на литературный язык. Внутреннюю точку зрения сохраняют и словари, составленные библиотекарями и работниками культуры, краеведами, местными писателями — в качестве примечания к своим произведениям (ср. словарик к поэме С. Веснина «Вани-вятчане» [Веснин, 2012]), школьниками («Словарь народного говора села Заостровья») и др. Однако в данном случае «внутренняя» позиция авторов словаря не сохраняется «в чистом виде»: лексикографы, как правило, в той или иной степени являются как носителями говора, так и носителями литературного языка. Это, с одной стороны, позволяет им точнее разграничивать диалектные и общенародные слова, а с другой — усиливает стереотип нормативности литературного языка и ненормативности диалекта, что сказывается как на формировании словника, так и на особенностях дефинирования.

Венедиктов Г. К. Незабываемая лексика из далекого детства // Слова. Концепты. Мифы. К 60-летию А. Ф. Журавлева. М., 2011. С. 61–73.

Веснин С. А. Вани-вятчане. Рассказы бабушки. Киров, 2012.

Е. О. Борисова

Уральский федеральный университет, Екатеринбург
liska5@yandex.ru

Мотив затрудненного восприятия в обозначениях медленных действий и медлительных людей

Метафорические обозначения медленных действий и медлительных людей характеризуются разнообразием мотивов номинации, среди которых выделяется мотив затрудненного восприятия (перцептивного, ментального, а также возникающего в процессе коммуникации), неразборчивости. В докладе представлены особенности реализации этого мотива в диалектной и литературной лексике и фразеологии русского языка.

Медлительность соотносится с низкой степенью осещенности, переходными состояниями между светом и тьмой, ср. костр., перм., свердл., краснаяр. *потѣма* ‘медлительный, словно сонный, глуповатый человек’, вост.-сиб., свердл. *сумѣря* ‘нерасторопный человек’, перм. *сумѣря голѹхинская* ‘о медлительном, вялом человеке’. В ряде говоров в «скоростных» значениях фиксируются лексемы, входящие в гнездо праслав. **tьrk-//*merk-//*mork-*: смол. *мóркoватъ* ‘делать что-либо медленно, понемногу’, терск. *моркóтный* ‘медлительный, нерасторопный’, вят. *морoвáтъ* ‘делать что-либо медленно, нерасторопно’, смол., арх. *морoковáтъ* ‘делать что-либо медленно, понемногу’, свердл. *промерѣкaтъ* ‘промедлить, промешкать’, тул. *замерѣкaтъ* ‘замедлить, задержаться’ и др.

В «Этимологическом словаре славянских языков» приводится мнение В. Н. Топорова, который считает необходимым реконструировать единое индоевропейское гнездо **ter-*, включив в него четыре праславянских корня, два из которых имеют поляризованную семантику: ‘появление и нарастание световой энергии и соответственно усиление способностей зрительного восприятия’ и ‘уменьшение световой энергии вплоть до ее исчезновения и соответственно сокращение возможностей зрительного восприятия вплоть до полного его прекращения’. Слова, входящие в гнездо **tьrk-//*merk-//*mork-*, обозначают «промежуточные» световые состояния — мерцание, полумрак, затрудненную видимость или, напротив, проблески света, ср. без указ. м. *óбмерк* ‘время между сумерками и потемками, поздние сумерки’, *мѣркoтъ* ‘сумерки, полумрак, полусвет’ и ‘ночь, тьма’ и т. п., *мерцaтъ* ‘слабо сверкать, сиять бледным либо дрожащим светом; поблескивать, просвечивать, играть искорками, переливом, перемежком’, диал. шир. распр. *морoчáтъ* ‘становиться пасмурным, ненастным (о погоде)’. Неясный свет вызывает ассоциации с трудным, долгим, медленным делом (ср. без указ. м. *морóка* ‘мрак, сумрак, мрачность, темнота и густота воздуха’ и простореч. *морóка* ‘что-либо путаное, канительное, хлопотное; неразбериха’). То же можно сказать о восприятии неоднородного цвета, ср. иван. *пѣжитъ* ‘быть медлительным в работе, делах’, которое родственно прилагательному *пегий* (ср. также *пѣжить* сев.-двин., зап., южн. сиб., свердл., вят. ‘пятнать; делать пегим’, южн. сиб., якут., камч. ‘давить, душить’, олон. ‘с усилием, трудом идти, нести, тянуть что-либо’).

Деятельность, характеризующуюся низкой скоростью, описывают дериваты глаголов, называющих создание сложных сплетений, комбинаций, которые воспринимаются как нарушение исходного порядка и, как следствие, ясности (ср. литер. *путаница* ‘неясность, запутанность’): пск. *как (что) пұтаний* ‘о неповоротливом, нерасторопном и неумелом работнике’, яросл. *пұто* ‘о медлительном, неповоротливом человеке’, волог. *пұтаник* ‘о медлительном человеке’, перм. *пұтка* ‘медлительный, нерасторопный человек’, тамб. *пұтлишка* ‘медлительный человек’. Отметим, что приведенным фактам близки свердл. *сплетёной* ‘вялый, неповоротливый, неловкий’ и свердл. *в́язанка* ‘медлительный, небойкий, нерасторопный, тихий’: нерасторопный человек сравнивается с объектами, полученными путем перевития, переплетения, т. е. в результате действий, которые по типу производимых движений напоминают перепутывание.

Медлительность ассоциируется с невнятной, неразборчивой речью, бормотанием, ср. простореч. *мямлить* ‘вяло и невнятно говорить; бормотать’ → простореч. *мямлить* ‘слишком медленно делать что-либо; медлить с чем-либо’, простореч. *мямля* ‘тот, кто мямлит’ → простореч. *мямля* ‘вялый, нерасторопный, нерешительный человек’, пск. (*делать что*) *как мямля* ‘о чьем-л. нерасторопном, неловком, медленном исполнении чего-л.’, яросл. *ма́мля* ‘вялый, нерасторопный человек, мямля’.

Непонятны непосвященным действия колдуна, знахаря, а потому с промедлением связываются представления о колдовстве — как вербальном, так и манипулятивном: петерб. *колдовать* ‘делать что-либо медленно, возиться, копошиться’ (ср. также петерб. *колдовать* ‘мямлить’); рус. карел. *иишкун* ‘колдун’ → ‘медлительный человек’; без указ. м. *пұхториться* ‘копошиться, медленно делать что-либо’ (ср. костр. *пұхторить* ‘заговаривать, лечить заклинаниями’, вят. *пұхтарить* ‘лечить вообще, лечить нашептыванием’, тобол., волог. сев.-двин., арх. *пұхтать* ‘лечить заговорами, нашептывать, колдовать’¹, и др.).

Ощущение непонятности происходящего возникало у прихожан при процедуре христианского богослужения катавасии (*катав́асия* ‘церковное пение, исполняемое обоими клиросами, сходящимися для

¹ Иллюзия непонятной магической речи усиливается за счет иноязычного (предположительно прибалтийско-финского) происхождения этих слов, ср. фин. *puhua* ‘говорить, беседовать’, ливв. *puhua* ‘разговаривать; читать заклинание, заговор’, вепс. *puhe* ‘заклинание, заговор’.

этого на середину церкви’): при схождении хоров с возвышения на середину церкви создавалось впечатление путаницы, замешательства (ср. простореч. *катав́асия* ‘суматоха, беспорядок, возня’). Беспорядочное разнонаправленное движение в сочетании с непростыми для восприятия песнопениями может восприниматься как промедление, ср. влг. *катав́аситься* ‘делать что либо медленно и бестолково, канителиться’, ср. также влад. *катав́аситься* ‘долго и безнадежно хлопотать о чем-либо’.

Т. Н. Бунчук

Сыктывкарский государственный университет, Сыктывкар
tnbunchuk@mail.ru

***Кила, колодка и спорыня*: этнолингвистическая герменевтика «текста» народной культуры**

Описание и интерпретация народной культуры как текста, устроенного в виде связного целого, реализующего актуальные смыслы, весьма продуктивны для выявления и познания ее своеобразия. «Текст» культуры эксплицирован в знаках разных кодовых систем, которые можно рассматривать как единицы «языка» культуры, организованные системными отношениями и имеющие диалектный (в соответствии с вариативной природой народной культуры) характер распространения. Такой подход к анализу языковых единиц (как единиц, встроенных в систему «культурного текста») позволяет не только выявлять их глубинные, этимологические смыслы, но и интерпретировать те или иные области миропонимания, с ними связанные.

Одним из важнейших понятий традиционной культуры является понятие о начале и конце всего сущего. Древнейшее представление о времени как о непрерывном круговом движении от первого к последнему, которое становится одновременно и началом следующего, ярче всего проявлено в этимологической семантике однокоренных слов *начало* и *конец*, а также, например, в современном диалектном употреблении слова *конец* в значении ‘начало, край’. При таком понимании

конец в традиционных представлениях уже содержит «ростки» начала, из которых растет, множится / «набухает» будущее (ср. карнавальные символы «беременной смерти»). Эта идея нашла выражение в народном поверье, что конец любого периода необходимо обеспечить приростом будущего, «снабдить» его знаками-символами плодородия.

В качестве таких символов можно интерпретировать *килу*, *колоду* и *спорынья*. Несмотря на то, что почти повсеместно в современных говорах лексемы *кила* и *спорынья* являются именованиями болезней, прежде всего опухолей в теле человека и животных, наростов на стеблях и стволах растений, а лексема *колода* употребляется в предметном значении (‘деревянный обрубок, ствол дерева, который используется в широких хозяйственных целях’), эти слова обнаруживают в своей семантической структуре, синтагматических свойствах, обрядовом дискурсе общие смысловые элементы, связанные с выражением идеи «беременной смерти». Это семы «последний / смерть», «опухоль / увеличение», «дето-, плодородный».

1. «П о с л е д н и й / с м е р т ь». Лексема *кила* и ее производные используются для именования человека, оставшегося последним в каком-либо деле — в работе, игре, обрядовом действии. Ему достаются насмешки и даже шутовское избиение. Именование *кила* человек получает в обрядово значимой ситуации — в конце уборки жита, на сенокосе, в Петров день, на свадьбе, т. е. в дни, знаково отмеченные как переломные: конец одного периода и начало другого. *Колодку* ‘небольшой обрубок дерева, чурку’ у западных и некоторых южных славян во время масленичных гуляний привязывали к ноге парня, не вступившего в брак в ушедшем году, т. е. последнему, отставшему от других (известно, что масленица в народных представлениях — это в том числе и последний этап свадебного обряда). *Колодой* в некоторых говорах называлась последняя, за которую нельзя было переходить, черта в игре. Кроме того, слова *колода* и *колодка* в русском языке использовались для именования последнего пристанища человека — гроба, а также для именования свечи, горящей в доме покойного сорок дней. Ассоциативно с идеей смерти связываются в народной культуре *кила* и *спорынья* — болезни, которые ведут к уничтожению, смерти (ср. приговорку *кила-могила*).

2. «О п у х о л ь / у в е л и ч е н и е». *Кила* и *спорынья* в русской народной культуре понимаются как болезни в виде опухоли, нароста, грибка, т. е. того, что увеличивает объем тела или растения. Чаще всего

такой нарост мыслится как результат неких обрядовых действий, влияния сверхъестественных сил, в том числе посредством магических действий колдуна, изначально, возможно, имевших продуцирующий характер. Лексема *колода* обнаруживает сему 'множество, большая величина' в таких семантических производных: 'самое большое число', 'толпа', 'крестьянская община, мир', 'большой грузный человек'.

3. «Д е т о -, п л о д о р о д н ы й». *Килой* в русских говорах называют мужской половой орган, который народная культура ассоциировала с утолщением или «наростом» на теле человека, а также половые органы борова (*килача, килуна, киляка* и т. п.), оставленного для обеспечения приплода. Попутно можно вспомнить, что этот орган в русском языке может иносказательно именоваться *концом* (ср. также *кила* 'конец мотни невода'). Эротическая символика просматривается и в предметах, именуемых *килой*: это палка с пучком сена или круглым овощем на конце, лошадиная голова, сноп, который прибивали к воротам новобрачных. *Килой* называли и человекообразное чучело, ставившееся на полосу последнему убирающему урожай. Как кажется, здесь очевидна параллель и с огородным, и с масленичным чучелом, символика которых включала в том числе идею роста нового, будущего, плодородного. В таком символическом контексте прозрачным является значение диалектного слова *килатый* 'богатый'. *Колодку* в виде палки, украшенной красным кушаком или разноцветными лоскутками, во время масленичных развлечений привязывали к ноге холостого парня как бы в наказание за то, что он не женился. Колодка в этом случае выступает средством продуцирующей магии. *Спорынья* (от *спор* 'избыток, прибыль') в народной культуре — знак благополучия, скорого (спорого) созревания плодов, богатства. Известны благопожелания *спорынья в крынку, спорынья в лукошко, спорынья в тесто*, восходящие к святочным песням.

Наконец, надо указать и на некоторые языковые сближения *килы, колоды* и *спорыньи*. У слова *кила* в пермских говорах отмечается значение, близкое к значению слова *спорынья* — 'ость у пшеницы'. Кроме того, лексемы *кила* и *спорынья* имеют много общего и в историческом развитии семантики: оба слова в современном употреблении называют болезни, проявляющиеся в увеличении объема — в наросте, опухоли. *Кила* и *колода* сближаются этимологически (и.-е. **kel-* / **kol-* со значением 'бить, колоть' [см.: ЭССЯ, 10, 155; 13, 262–263]), лексически (ср. *кила* и *колодка* 'палка с украшенным концом', *килка* 'деревянный

обрубок, которым играют дети'), синтаксически (колодку / килу *вешают, носят, таскают*).

Спорынья, колодка и кила как продуцирующие символы появляются в обрядовом карнавальном дискурсе — святочном, масленичном, ивано-петровском; они являются элементами древнейшей смеховой культуры, связанной с идеей обновления жизни и возрождения.

ЭССЯ — Этимологический словарь славянских языков: праславянский лексический фонд. М., 1974—. Вып. 1—.

М. М. Валенцова

Институт славяноведения РАН, Москва
mvalent@mail.ru

Этнолингвистический комментарий к этимологии слав. **vľkodlak*

Мифологическая лексика довольно часто привлекает к себе внимание лингвистов. Одним из таких слов является слав. **vľko-dľakъ* 'волк-оборотень; вампир'.

Этимологии этого слова и связанным с ним культурным реалиям много внимания уделили В. Н. Топоров и В. В. Иванов. Их этимологическая гипотеза была впервые сформулирована в 1963 г. на V съезде славистов и в последующие годы развивалась в целом ряде работ. Отдельные положения гипотезы уточнялись, дополнялись новыми данными, в том числе этнокультурными, и к настоящему времени для слав. **vľkodlak* практически всеми мифологами принимается этимология, возводящая части этого слова к древним корням со значениями 'волк' и 'медведь'.

Результаты многолетних исследований в этом направлении кратко можно подытожить так. На основе анализа славянских названий оборотня (рус. *волкодлак*, *волколак*, *вурдалак*, укр. *вовкулак(a)*, *волкулак*, блр. *вавкулак*, *ваўкалак(a)*, *воўколак(a)*, польск. *wilkolak*, *wilkolap*, *wilkotek*, чеш. *vľkodlak*, словац. *vľkodlak*, *vľkolak*, *vrkolak*, словен. *kodlak*,

okodlak, verkodlak, volkodlak, с.-х. *вукодлак*, болг. *врѣколак*), балтийских (*vilkalokas, vilkalotas, vilklakis, vilkolakis, vilkotakis, vilktakys* и др. — при прус. **ilokis / *klokis*, лит. *lokys*, лтш. *lācis*, латг. *lōcš* ‘медведь’), румынских (*svîrcolak, vîrcolak*, аромун. *vurcolác*), греческих (*βρικόλακας*) и албанских (*vurvullák, wurvollák*), а также германских личных имен (др.-исл. *Ulf-bigrn, Bigrn-olfr*, др.-в.-нем. *Wulf-bero, Bero-ulf*, вестгот. *Ber-ulfus*) восстанавливается исходная общеславянская форма **ǫlk- & *dlakŭ*, в которой первый компонент отождествляется с названием волка, а второй является реликтом слова, сохранившегося в южнославянских названиях шерсти, волос (словен. *dláka*, с.-х. *длѧка*), хотя для более древнего периода в этом компоненте предлагается видеть следы древнего индоевропейского названия медведя (хеттск. *ḫartagga-*, греч. *ἄρκτος* и т. п.). Возможной причиной преобразования древней формы и значения последнего было исчезновение в славянских языках индоевропейского корня названия медведя.

В плане этнокультурных параллелей к этой этимологии отмечалось, что мотив превращения человека в волка и медведя широко распространен в славянской и — шире — европейской народной и древнеевропейской ритуальной культуре. Привлекались германские данные о «воинах-волках», надевавших на битву волчьи шкуры и кричавших «как собаки», о древнегреческих «медвежьих людях» (*Ἀρκάδες*) и медвежьих шкурах жриц Артемиды браурониях, а также хеттские свидетельства о «людях-медведях», «людях-волках», «людях-львах» и «людях-собаках», о человеке в бараньей шкуре, кричащем по-волчьи. В целом подобные факты позволили видеть в слав. **vilkodlak-* отражение древних тотемических представлений, связанных с медведем и волком.

Развитие этой мысли привело исследователей к предположению о том, что в отдельных традициях «волчье» и «медвежье» каким-то образом соединились, что могло существовать «гибридное» мифологическое существо, имевшее черты волка и медведя, или оборотень, обладающий способностью обращаться как в волка, так и в медведя.

Предпосылки к таким заключениям были в целом верными: у индоевропейцев, у северо-кавказских народов и тюркских народов «евразийского ареала вплоть до айнов» были развиты культы волка и медведя, использовались личные имена со значением ‘волк’ и ‘медведь’ и т. п.; в традиционной духовной культуре и фольклоре славян,

литовцев, германцев имеются свидетельства о сакральных и магических превращениях как в волка, так и в медведя.

Вместе с тем представляется, что наличие культов животных, пусть даже и перекрывающихся, не может свидетельствовать о существовании гибридных мифологических существ. Этнолингвистический славянский материал (а также хеттские и древнегреческие данные) указывает на параллельное существование превращения либо в волка, либо в медведя, никогда не смешиваемое. В целом логично предположить, что и в древние века служитель культа, оборачиваясь в шкуру тотемного животного, «оборачивался» именно этим тотемным животным, а не другим. Настораживает также отсутствие следов гибридного «волко-медведя» в поверьях, легендах и иных фольклорных жанрах в славянской и других индоевропейских традициях (при наличии поверий о людях-великанах, псоглавцах и пр.). В поверьях о волколаке, которые сосредоточены в основном в германо-балто-славянском ареале, речь идет исключительно о волчьих чертах образа. Поверья об оборотничестве в медведя представлены реже, чем о превращениях в волка, в фольклоре и мифологии балтов, лужичан, у поляков в Силезии, у восточных славян (далее — у коми, башкир и др.), но при обозначении этого персонажа слово *волкодлак* не используется. При значительном сходстве символические образы волка и медведя в традиционных народных воззрениях во многом различаются.

Объединение с и м в о л к и этих животных могло происходить в магических текстах (особенно в заговорах, ср. грыжу загрызает «бабка с *медвежьим* ртом, *волчьими* зубами»), а также в антропонимии, как у германцев: др.-исл. *Ulf-biörn*, *Biörn-olfr* и т. п. ‘волк-медведь’ или ‘медведь-волк’. Эти имена возникли, видимо, в период формирования отдельных индоевропейских праязыков (ср. «германское» имя медведя, нестабильное место частей сложного имени). Их функциями были вербальная защита человека, носящего имя, покровительство тотема рода, магическое наделение человека качествами названных животных. В прабалтославянских диалектах такие имена, скорее всего, не сформировались, поскольку к этому периоду слово **dlak-* уже означало ‘шерсть, шкура’, а форма и семантика славянского слова, называющего медведя («медоед»), не позволяли образовать такие сложения. Семантическое развитие слова **vlnodlak-* пошло по пути демонологизации

сакрального имени, что привело к появлению персонажа «оборотень», т. е. человек-волк, человек «в волчьей шерсти».

Объяснение балтийских названий медведя требует отдельного изучения. Прабалтийские диалекты могли сохранить древнее индоевропейское значение корня **dlak-* / **tlak-* (например, в связи с их периферийным положением среди мигрирующих индоевропейских племен). Значение 'медведь' могло развиваться вторично, в связи со значением **dlak-* 'длинная шерсть, шерсть как у медведя' (ср. чеш. *dlaka* 'длинная шерсть', *dlakoš* 'ондатра', *dlakoun* 'млекопитающее из семейства бобровых') и под влиянием субстратных финно-угорских представлений о медведе и превращении в медведя в новом ареале расселения.

Этимологию слав. **dlaka* / **tlaka* следовало бы рассматривать отдельно от более нового сложного названия мифологического персонажа **vlkodlak*, возводить второй компонент которого к слову со значением 'медведь' нет оснований и по хронологическим причинам.

Ж. Ж. Варбот

Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН, Москва
zhannavarbot@yandex.ru

Уже не гапаксы

Единичность фиксации какого-либо слова (так называемый гапакс) в одном из существующих диалектных или исторических лексикографических источников часто является основанием для сомнений в правильности записи слова и даже в компетентности и добросовестности автора-лексикографа. Опыт показывает, однако, что подобные сомнения нередко впоследствии опровергаются появлением новых фиксаций, так что неизбежен вывод о необходимости закрепления в диалектных словарях всех единичных записей, имея в виду вероятную перспективу их позднейших подтверждений, тем более что соответствующие лексемы могут оказаться весьма ценными для истории языка. Ниже рассматриваются два подобных случая.

Эта основа, зафиксированная впервые в [Элиасов, 1980, 235, 287] в составе двух слов — *наскарѹжник* ‘пересмешник’ и *наскарѹжник* ‘зубоскал’, долгое время не находила подтверждения в других лексикографических публикациях. Однако она определенно представляет этимологический интерес: была обоснована производность *-скарѹж-* как праславянского диалектизма **skar-ug-* от праславянского глагола **skarati*, продолжениями которого являются в.-луж. *škarac* и н.-луж. *škaras* ‘ковырять, мешать, размешивать (угли); подстрекать, возмущать’ [Варбот, 1984, 15]. Реальность основы *-скарѹж-* в русском языке позднее подтверждена фиксацией в южно-прикамских говорах слова *бескарѹжность* ‘безобразие, распущенность нравов’ [СРГЮП, 1, 54]. В этом слове примечательна функция префикса *без-*: если регулярной его функцией является обозначение отсутствия чего-либо, названного корнем / производящей основой, то в данном случае функция префикса усилительная. Подобное употребление приставки *без-* отмечено еще в случаях: рус. диал. смол. *безѹк* ‘хороший плотник’ [СРНГ, 2, 201] и др.-рус., рус. ц.-слав. *безѡѡкъ*, рус. диал. перм. *безѡѡкий* ‘вечный, бесконечный’, укр. *безѡѡчний* ‘вековечный, бесконечный’ — и истолковано О. Н. Трубачевым как одно из оснований для отнесения соответствующих образований к праславянскому периоду [ЭССЯ, 2, 48–49, 51].

Представляется необходимым возвратиться также к вопросу о происхождении праслав. **skarati*, продолжением которого, помимо упомянутых выше в.-луж. *škarac* и н.-луж. *škaras* ‘ковырять, мешать, размешивать (угли); подстрекать, возмущать’, является еще и словен. *skárati* ‘отчитывать, бранить’ [Pleteršnik, 2, 484]. При всей вероятности принадлежности рассматриваемого глагола к гнезду праслав. **(š)čer-* / **(s)kor-* < и.-е. **(s)ker-* ‘резать’ [Куркина, 1980, 35–36; Schuster-Šewc, 19, 1440; Варбот, 1984, 15], его вокализм, семантика и несомненное родство с праслав. **karati* и **koriti* побуждают предпочесть версию непосредственной связи этой праславянской глагольной группы с индоевропейским этимологическим гнездом **kar-*: ср. греч. *κάρνη ζημία*, лат. *carināre* ‘насмехаться, издеваться’, корн. *cara* ‘хула’ [Фасмер, 2, 320–321; ЭССЯ, 11, 74–75; 9, 152–153 с литературой]. Примечательна непосредственная семантическая преемственность от индоевропейского состояния к праславянскому диалектному словенско-лужицко-русскому соответствию. Вместе с тем этот ряд

соответствий побуждает предполагать для исходного индоевропейского корня вариант с *s-mobile*.

Корень *-jēz-* ‘вязать’

Производным от и.-е. корня **angh-* ‘узкий; стягивать, связывать’ (греч. ἄνω, лат. *angō*) в праславянском языке являются не только закономерные по огласовке корня **qza*, **qziti*, но также и **vēzti* / **vēzati* [Pokorny, 1, 42].

Две структурные характеристики этого последнего глагола всегда считались требующими объяснения: корневой вокализм и начальное *v*. Корневое *ē* толковалось как вторичное славянское новообразование [Vaillant, 3, 197] или результат контаминаций [см. литературу: Фасмер, 3, 374], но недавно предложено объяснение на праиндоевропейском уровне — как праиндоевропейская ступень редукции **H₂mg^h-* [Фурлан, 2015].

Начальное *v* наиболее уверенно толковалось как средство предотвращения зияния в синтагмах [Pokorny, 1, 42], в последнее время — с уточнением вероятной структуры: **nu* **H₂mg^h-énti* ‘и (они) вяжут’ [Ibid.].

При этом исследователи редко обращали внимание на отсутствие фиксаций славянского глагола с закономерной протезой *j* — **jēz-* (ср. **jēzъkъ*). В доказательности рус. диал. *язать* ‘обещать’ и *язаться* ‘обязаться’ усомнился Фасмер, поскольку здесь можно предполагать декомпозицию *об-язать* [Фасмер, 4, 549]. Позднее был обнаружен достаточно убедительный случай — рус. диал. дон. *суязно* ‘дружно’ (*суязно живут*) как праслав. **sq-jēz-* [Варбот, 1991, 169–170], однако это все-таки был гапакс. Еще одним подтверждением реальности формы **jēz-* является не замеченное ранее рус. диал. *паязь* ж. р. ‘чиненное, зашитое или заштопанное место в одежде’ [Даль, 3, 27], ‘починенное место в одежде’ [СРНГ, 25, 309]. Предположение Даля о производности этого слова от *паять* маловероятно, поскольку глагол обозначает только соединение металлов, а суффикс *-язь* неизвестен.

Следует отметить реализацию варианта корня с протетическим *j* — **jēz-* в образованиях с архаичными префиксами **sq-* и **pa-* (в первом случае подобная структура возможна только после монофтонгизации дифтонгов).

Варбот Ж. Ж. Заметки по этимологии русской диалектной лексики (забайкальские говоры) // Этимологические исследования. Вып. 3. Свердловск, 1984. С. 14–20.

Варбот Ж. Ж. Словообразовательно-этимологические комментарии к некоторым русским диалектизмам (на материале «Словаря русских донских говоров») // Современные русские говоры. М., 1991. С. 169–171.

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. 2-е изд. СПб. ; М., 1880–1882 (1955).

Куркина Л. В. Славянские этимологии // Этимология 1978. М., 1980. С. 32–37.

СРГЮП — *Подюков И. А., Поздеева С. М., Свалова Е. Н., Хоробрых С. В., Черных А. В.* Словарь русских говоров Южного Прикамья : в 3 т. Пермь, 2010–2012.

СРНГ — Словарь русских народных говоров. Л. ; СПб., 1965–. Вып. 1–.

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка : в 4 т. М., 1964–1973.

Фурлан М. Праиндоевропейский корень **H₂emǵʰ* ‘вязать’ в славянских языках. К проблеме происхождения в плане относительной хронологии славянского отношения **ǫz-* : *(*u*)*ęz-* ‘вязать’ // Тр. Ин-та рус. яз. им. В. В. Виноградова. V. 2015. В печати.

Элиасов Л. Е. Словарь русских говоров Забайкалья. М., 1980.

ЭССЯ — Этимологический словарь славянских языков: праславянский лексический фонд. М., 1974–. Вып. 1–.

Pleteršnik M. Slovensko-nemški slovar. Ljubiljana, 1974. D. I–II.

Pokorny J. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern, 1949–1959. Bd. I–II.

Schuster-Sewc H. Historisch-etymologisches Wörterbuch der ober- und niedersorbischen Sprachen. Bautzen, 1978–1989. H. 1–24.

Vaillant A. Grammaire comparée des langues slaves. Paris, 1966. T. III.

Е. Н. Варникова

Вологодский государственный университет, Вологда
e-varnikova@yandex.ru

Зоонимикон родословной книги охотничьих собак Московского общества охоты имени императора Александра II

Русские клички собак (кинонимы) неоднократно привлекали внимание ученых, но, как правило, они подвергались анализу вместе с зоонимами других видов и/или сопоставлялись с онимами других классов (В. М. Мокиенко, П. Т. Поротников, Н. Г. Рядченко, А. В. Суперанская,

Н. И. Толстой, О. И. Фоякова и др.). Специальные исследования русской кинологии, насколько нам известно, единичны (Н. Г. Дубова).

Богатый материал для рассмотрения лексико-семантического и структурно-грамматического своеобразия кинологии, обусловленного породным составом животных, представлен в родословной книге охотничьих собак Московского общества охоты имени императора Александра II (РК МОО), которая была учреждена в 1890 г. и издавалась с 1902 по 1914 г. В каждом из пяти вышедших томов РК МОО содержатся правила записи в родословную книгу, правила полевых испытаний подружейных собак, правила полевой пробы и экспертизы гончих, алфавитные перечни и родословные записи собак по породам и др. Опубликованные данные касаются примерно 4 000 собак. Важно подчеркнуть, что эти данные относятся к периоду породообразования в охотничьем собаководстве в России.

Предметом нашего описания являются клички охотничьих собак основных для начала XX в. пород — гончих, борзых и легавых (пойнтеров и сеттеров). Для выявления видовой специфики кинологии рассмотрим их в соответствии с породами собак.

По данным кинологии, гончие и борзые — группы пород охотничьих собак древнего происхождения. Они используются для охоты на зайцев, лисиц, волков и других зверей лесостепной и лесной зоны. Первые описания русских гончих и охот с ними известны с конца XVIII в., русских борзых — с XVII в. Назначение собак этих пород во время охоты различно. Гончих традиционно использовали в составе комплексных псовых охот для подъема зверя в лесу и выставления его на чистое место к охотникам с борзыми. Борзые «добирали» — преследовали зверя. Различны и охотничьи качества гончих и борзых. Гончие обладают хорошим чутьем, звучным голосом, большой резвостью в преследовании зверя. По запаху следа они находят зверя в лесу и с лаем гонят его — отсюда название пород данной группы. Борзые характеризуются хорошим зрением, агрессивностью по отношению к животным, силой, быстротой бега (особенно на коротких дистанциях) — отсюда их название.

В отличие от гончих и борзых, пойнтеры и сеттеры, представители легавых, используемых в охоте на болотных, степных и лесных птиц, появились в России позднее — в XIX в. Обе эти породы были выведены в Англии в XVIII в. Пойнтеры, короткошерстные легавые, были

завезены в начале XIX в. Сеттеры, длинношерстные легавые, попали в Россию еще до разделения их на определенные породы — в 40–60 гг. XIX в. В дальнейшем российские охотники разводили сеттеров разных пород и отдавали им предпочтение в сравнении с пойнтерами. Слова *пойнтер* и *сеттер* — английские по происхождению — имеют буквальное значение ‘делать стойку’ и отражают особенности поведения легавых во время охоты.

Рассмотрим последовательно клички гончих, борзых и легавых.

Как показывает лексико-семантический анализ кличек гончих и борзых, их имена находятся в зависимости от указанных характеристик собак этих пород.

Самую большую группу кличек гончих составляют зоонимы, связанные с голосовыми качествами собак, отражающие так называемую «музыку гона». Этот мотив номинации реализуется в разных структурно-семантических типах. Прежде всего, выделяется подгруппа зоонимов, соотносительных с различными глаголами звучания: *Басило*, *Вопило*, *Гаркало*, *Звонило*, *Шумило*; *Бушуй*, *Заиграй*, *Заливай*, *Рыдай* и др. Особую подгруппу образуют клички, в основе которых лежат существительные (чаще отглагольные) с общей семой ‘шум’ (чаще производимый каким-либо действием): *Говор*, *Грохот*, *Гул*, *Звон*, *Рокот*, *Хохот* и др. Многочисленны клички, образованные от названий музыкальных инструментов и приспособлений, с помощью которых производится или усиливается звук: *Баян*, *Бунчук*, *Жалейка*, *Зурна*, *Камертон*, *Лютня*, *Орган*, *Рупор*, *Флейта* и др. Следующая подгруппа — зоонимы, производные от агентивов — названий певцов, музыкантов и лиц, выполняющих действия, в результате которых возникает звук: *Балагурка*, *Баритон*, *Галда*, *Гусляр*, *Звонарь*, *Крикун*, *Певец*, *Плакса*, *Скрипач*, *Сневак*, *Тараторка*, *Тенор*, *Трубач* и др. Семантически близки к этой подгруппе зоонимические новообразования: *Журишка*, *Заигра*, *Заливка*, *Шумишка* и др.

Вторая группа кличек гончих — зоонимы, связанные с резвостью собак во время гона: *Догоняй*, *Порецкий*, *Зажигай*, *Помчило*, *Помчишка*, *Строчишка*, *Трунило* и др.

Третья группа — клички, связанные с охотничьими функциями гончих, их активностью, сметливостью во время работы: *Ворошило*, *Ворошишка*, *Добывай*, *Добывка*, *Задирай*, *Задор*, *Затевай*, *Затейка*, *Лазун*, *Пугало*, *Решило*.

Немногочисленны зоонимы, выражающие отношение человека к животному: *Докука Порецкая, Докучай, Забавляй, Милка 3-я, Потешка, Товарка*.

Клички борзых так же, как и клички гончих, в большинстве своем прямо или косвенно связаны с их охотничьими качествами, но при этом выделяются иные семантические типы.

Прежде всего, отметим клички, образованные от различных глаголов, связанных с движением, и их производных, которые отражают быстроту бега борзых: *Бросай, Доезжай, Жги, Налёт, Пройда, Прыжок, Сорва* и др. С этим же качеством борзых могут быть связаны зоонимы, образованные от названий предметов и явлений, характеризующихся быстротой движения: *Вихра, Вьюга, Искра, Стрела, Ураган*.

Большую группу образуют клички, отражающие особенности нрава и поведения борзых: *Грубиян, Жеман, Заноза, Зарез, Злобиян, Злобный, Злорад, Игрунья, Каприза, Ласкай, Нагла, Пагуба, Раскидка, Резвушка, Свиреп, Шалость*. Как видно, основная часть этих кличек может быть связана с агрессивностью собак во время охоты. Близки к этим зоонимам и образования от агентивной лексики: *Абрек, Атаман, Варвар, Ведьма, Мамлюк, Палач, Янычар*.

Многочисленны клички, образованные от оценочной лексики и отражающие отношение хозяев к своим собакам: *Дорогая, Желанный, Любезный, Любка, Милый, Подружка, Сердечный, Славна, Ценная, Чародей, Щеголяй*. К этой же группе, по-видимому, нужно отнести зоонимы *Дружба, Мечта, Наградка, Нега, Отрада, Победа, Подар, Прелесть, Утешка, Хвала*. Положительная оценочность кличек во многом объясняется особенностями экстерьера борзых — это очень красивые, элегантные собаки.

Единичны антропозоонимы: *Диана, Наина*, — а также зоонимы, образованные от топонимов: *Алупка, Арагонка, Заирка*.

Клички пойнтеров и сеттеров во многом сходны по своему составу, но принципиально отличаются от кличек гончих и борзых.

Абсолютное большинство кличек легавых в РК МОО составляют антропозоонимы: *Ада, Аза, Артур, Аскольд, Берта, Бетси, Бланиш, Бруно, Джек, Джим, Джо, Джон, Диана, Дюк, Жано, Лора, Люк, Марго, Ник, Оскар, Ральф, Рональд, Франк, Фред* и мн. др. В качестве зоонимов используются иноязычные имена в полных и преимущественно звательных формах. Русские по употреблению имена в этой функции

крайне редки: *Галька, Гора, Тришка, Фока*. В роли кличек активно употребляются различные прецедентные имена: *Авель, Адам, Аида, Атос, Бова-Королевич II, Брут, Галлей, Гамлет, Гектор, Дон Жуан, Жизель, Золушка, Каин, Кармен, Леди Макбет, Манон, Нерон, Плутарх, Роланд, Руслан, Садко, Фарлаф, Феб, Цезарь, Эол* и др.

Многочисленны также кинонимы, образованные от нарицательных агентов: *Бек, Варяг, Гейша, Гурман, Денди, Жулик, Имам, Ирокез, Кадет, Королевич, Кум, Кунак, Леди, Лорд, Мамзель, Маркиз, Мисс, Мистер, Паж, Пани, Пилот, Пират, Принц, Самурай, Сибарит, Факир, Фат, Шах, Янки*.

Остальные группы кличек легавых значительно уступают по количеству рассмотренным множествам, но выделяются последовательно во всех томах РК МОО. Это зоонимы, образованные от названий флоры и фауны (*Астра, Бекас, Букашка, Грач, Жук, Коза, Мимоза, Орел, Пес, Сокол, Фазан*), от географических названий и терминов (*Амур, Бор, Валдай, Гай, Дон, Дор, Кама, Неро*), от названий карточных игр и мастей (*Бридж, Король Треф, Туз, Туз Треф, Треф*), от спортивной лексики (*Бокс, Бокс II, Самбо, Спорт*), от междометий и звукоподражательных слов (*Ах, Бим, Бом, Bravo, Скок, Стоп, Топ, Трах, Тук-Тук, Чок* и др.).

Клички собак всех пород, как правило, однословны. Зоонимы, состоящие из двух и более слов, образуются не только вследствие зоонимизации многокомпонентных прецедентных имен (*Шерлок Холмс*). Они возникают, во-первых, при образовании зоонимов по антропонимическим моделям: *Бесси Порецкая, Кора Дарлинг* (возможно, таким путем фиксируются родословные собак); во-вторых, при объединении в кличке этикетной формы обращения или титульного наименования и антропонима: *Мисс Дези, Мисс Джелли Дарлинг, Принц Барри* и др.; в-третьих, при создании кличек-благопожеланий: *Дези-Успех*; в-четвертых, при включении в состав клички локативного компонента: *Вотишка Порецкая, Джуно Царскосельская, Дива-оф-Киев*. При неоднократном использовании одной и той же клички в структуру зоонима вводится цифровой индекс: *Галка 2-я, Затевай 3-й Порецкий*.

Родовые характеристики зоонимов, за редким исключением (выжлец *Хайло*, выжловка *Фагот*), соответствуют половым признакам собак. Единичны феминные образования: *Вихра*.

Специфика кличек гончих, борзых и легавых отчетливо проявляется на уровне их морфемного состава и словообразовательных

особенностей. Общими способами образования кличек собак всех пород являются онимизация апеллятивов (*Набат, Скрипка, Сокол*) и трансонимизация на базе антропонимов и топонимов (*Лель, Том, Арагва*). Однако трансонимизация на базе антропонимов для кличек легавых является основным способом их образования. Специфику словообразования кличек гончих (выжлецов) составляют зоонимы на *-ло* (*Орало, Трубило*) и на *-ай* (*Болтай, Шугай*), образованные по моделям старорусских антропонимов. Среди кличек выжловков многочисленны образования с суффиксами *-к-, -ишк-, -ушк-*: *Доборка, Помчишка, Помыкушка* и т. п. Для кличек борзых характерны разнообразные производные от прилагательных: *Дивна, Жеман, Крылатка, Любезный, Нагла, Свиреп*.

Сложившиеся к началу XX в. структурно-семантические типы кличек гончих, борзых и легавых, как свидетельствуют материалы выставок и испытаний охотничьих собак начала XXI в., в определенной мере актуальны до настоящего времени. Однако в каждом видовом подмножестве кинонимов за истекшее столетие произошли существенные изменения.

В. Л. Васильев

Новгородский государственный университет, Великий Новгород
vihnn@mail.ru

Методика микросистемной реконструкции регионального топонимического ландшафта*

К числу главнейших процессов топонимообразования относится транstopонимизация — возникновение новых географических названий путем переноса (осложненного или не осложненного морфологической трансформацией) готовых топонимов на иные географические объекты. Для изучения того, как складывается региональный топонимический ландшафт, наиболее интересны многочисленные узколокальные

* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (грант № 12-04-00173).
© Васильев В. Л., 2015

факты транстопонимизации, приводящие к появлению топонимических микросистем (ТМС), в которых возникновение одного географического названия или его варианта может быть достоверно объяснено на базе другого, фонетически сходного и территориально близкого. Методика микросистемной реконструкции региональной топонимии заключается в целенаправленном поиске ТМС благодаря привлечению картографических и письменных источников, современных и исторических, в оценке пространственно-денотативных конфигураций ТМС, в восстановлении топонимических форм как недостающих, но предполагаемых элементов микросистем.

Особенно велико значение ТМС для реконструкции исторического топонимического ландшафта, представленного в исторических источниках главным образом тремя узловыми и активно взаимодействующими классами топонимов — названиями живых и заброшенных селений (сел, деревень, урочищ, пустошей), названиями водотоков (рек, речек, ручьев) и названиями стоячих вод (озер, прудов). Под реконструкцией исторического топонимического ландшафта понимается не только восстановление исчезнувших тополексем, сопряженное с их локализацией и хронологизацией, но — в еще большей степени — уточнение пространственно-временных координат исторически прослеживаемых топонимов. Реконструктивный потенциал ТМС в первую очередь может быть задействован при решении нескольких главных задач: 1) локализация исторической ойконимии; 2) локализация исторической гидронимии; 3) формальная реконструкция исчезнувшей гидронимии; 4) формальная реконструкция исчезнувшей ойконимии. Результаты такого исследования не ограничиваются областью ономотологии, они существенны для изучения культурно-исторической топографии региона.

Коснемся специфики использования ТМС в целях реконструкции историко-топонимического ландшафта на Русском Северо-Западе. Поиск ТМС наиболее плодотворен по источникам массового историко-топонимического материала, которыми в данном регионе являются, во-первых, писцовые, переписные, дозорные, изгонные книги конца XV — XVII в. (наиболее ранние из них изданы и поэтому легкодоступны); во-вторых, рукописные и картографические материалы генерального (екатерининского) межевания конца XVIII в.; в-третьих, подробные карты и списки селений 2-й половины XIX — начала XX в.

При локализации исторической ойконимии ономастика особенно очевидным образом выходит на культурно-историческую топографию, поскольку учет микросистемности топонимов позволяет конкретизировать местоположение древнего населенного пункта, упомянутого в исторической документации, но позднее исчезнувшего. Локализация, благодаря ТМС, наиболее эффективна применительно к средневековым селениям, исчезнувшим, судя по материалу источников, до последней четверти XVIII в. — именно тогда впервые были составлены сравнительно точные и подробные уездные планы масштаба 1 : 84 000, а также планы конкретных дач, с подробнейшим нанесением сохранявшейся малоизвестной сельской топонимии и микротопонимии (названия сел, деревень, пустошей, ручьев, озер и др.). Так, местоположение издревле забытой д. *Паруша*, указанной под 1551 г. («стала до писцовъ 6 лѣтъ») при описании обширной волости Удомля [НПК, VI, 647], вполне уточняется гидронимом *Паруша*, которым на карте Менде 1853 г. подписано верхнее течение речки Липенки (не ниже впадения руч. Сенюшенского) в Удомельском р-не Тверской обл. Исчезнувшая до эпохи межевания 1780-х гг. д. *Надгоницѣ*, которая числилась под 1495 г. в Великопорожском погостском округе [НПК, I, 485], безусловно, стояла на берегу небольшой речки, левого притока Мсты у д. Великий Порог выше г. Боровичи, которая с конца XVIII в. фигурирует как *Гонница* / *Гоница* / *Ганица*.

Локализация исторической гидронимии по ТМС не предполагает обычно, в отличие от ойконимии, локализации исчезнувших объектов топографии, поскольку водоемы, в отличие от селений, редко пропадают или существенно меняются в историческое время. Здесь главная цель — локализовать неопределенно отмеченные и не подвергнутые картографированию давно утраченные гидронимы, которые были окончательно вытеснены иными гидронимами. Использование ТМС для гидронимической локализации во многих случаях необходимо дополнять более широким контекстуальным анализом ойконимии. Так, оз. *Тутаковское* конца XV в. идентифицируется с современным озером *Пестовское* на том основании, что деревня с близким названием *Тутакович* перечислена в НПК вместе с д. *Борок* и *Гористица* (= совр. д. *Борок*, ур. *Гористица*, которые находятся в 1,5–2 км южнее оз. *Пестовское* в Окуловском р-не Новгородской обл.). Эти и другие перечисленные вместе с ними деревни составляли волостку Ивана

Васильева сына Захарыча Лядского, которому принадлежала половина угодий в оз. *Тутаковское* [НПК, II, 276–279]. Название р. *Сушанка* XVI–XVII вв. в погостском округе Петровском Борисоглебском в Боровичах [АИСМ; НПК, VI, 929, 945], похоже, относилось к реке под г. Боровичи, называемой сегодня *Вельгия*, — именно при впадении р. Вельгия в р. Мста расположена д. *Сушани* (> р. *Сушанка*). К этой же реке, безусловно, отнесен гидроним *Редыля* в Книге Большому Чертежу 1629 г.: «пала во Мсту река Редыля; а на устье Редыли Боровичи» [КБЧ, 155] (г. Боровичи, как известно, стоит на устье р. Вельгия).

Реконструкция исчезнувшей, не зафиксированной письменностью гидронимии, учитывающая ТМС, исходит из презумпции регулярного переноса названий водоемов на прилегающие селения. Гидронимический облик ойконима, гидронимическая этимология его основы позволяют в отдельных случаях уверенно предполагать утраченный элемент ТМС — исходный смежный гидроним. Например, Писцовые книги Деревской пятины 1495 г. описывают д. *Накорытне* и *Корытница* [НПК, II, 257, 271], которые, судя по картографическим данным, стояли на разных берегах сравнительно крупного оз. *Заозерье* в бассейне р. Перетна. Структура и семантика ойконимов намекают на появление их путем переноса озерного названия **Корытно* (< **Корытьно*), которое позднее заместилось озерным названием *Заозерье* явно вторичного характера (оно было получено по смежной с озером д. *Заозерье*). Д. *Недно* 1495 г. во Влажинском погосте локализуется при речке, притоке Ильменя, с современным именем *Неденка*, производным от ойконима; сам же ойконим произведен от старой забытой формы гидронима — **Недна* (< **Недьна*).

Восстановление исчезнувшей ойконимии исходит из того, что немалое количество ТМС показывает именно названия селений дери-вационно первичными относительно названий небольших водоемов и прочих топообъектов (д. *Машковичи* > оз. *Машковичи*). Но при решении данной задачи микросистемный топонимический анализ должен, пожалуй, в наибольшей степени сопровождаться поисками культурно-исторической информации о поселенческой структуре и народонаселении региона.

Микросистемная локализация и реконструкция форм ойконимии и гидронимии всегда сопрягается с возможностью хронологизации, позволяя уточнить относительную хронологию анализируемых фактов историко-топонимического ландшафта.

АИСМ — Акты Иверского Святоозерского монастыря (1582–1706), собранные Архимандритом Леонидом // Русская историческая библиотека, изд. Археографическою комиссиею. Т. 5. СПб., 1878.

КБЧ — Книга Большому Чертежу. М., 1950.

НПК — Новгородские писцовые книги, изд. имп. Археограф. комиссией. СПб., 1859–1910.

Н. В. Васильева

Институт языкознания РАН, Москва
vasileva-natalia@yandex.ru

Нужен ли ономастике новый терминологический словарь?

Терминологическая рефлексия — необходимая составляющая развивающегося научного направления, и ономастика не является исключением. Известно, какое значение придавал терминологии А. К. Матвеев. «Размышлением над ономастической терминологией» назвал одну из своих недавних статей В. И. Супрун, призывая к созданию обновленного терминологического словаря.

Действительно, со времени выхода «Словаря русской ономастической терминологии» Н. В. Подольской прошло уже довольно много времени (первое издание вышло в 1978 г., второе — в 1988 г.). Однако данный словарь по-прежнему остается терминографическим лицом отечественной ономастики. Об этом свидетельствуют как множественные отдельные цитаты, так и указания (особенно в диссертациях) на то, что терминология, приведенная в словаре Н. В. Подольской, используется целиком и лишь в ряде случаев автор уточняет определения отдельных терминов. Получается, с одной стороны, что в распоряжении ономатологов XXI в. всегда есть проверенный терминологический источник и опора. С другой стороны, за лексикографическим «бортом» оказываются термины, возникшие и распространившиеся уже после выхода словаря. Вопрос, однако, в том, какие это термины в категориальном отношении.

Ономастика, как это хорошо известно, представляет собой во многом классификативную дисциплину, и системность ее терминологии проявляется в соподчиненности / иерархичности терминов — в предисловии к словарю Н. В. Подольской наглядно представлены схемы с гиперо-гипонимическими отношениями. Однако терминологическую систему (и/или подсистемы) можно представить, используя идущие от прототипического подхода Э. Рош уровни категоризации — базовый, суперординатный и субординатный. Для топонимической терминологической подсистемы термин *топоним* в этом случае репрезентирует категорию базового уровня. На суперординатном уровне выступает *абионим* (общий термин для имени собственного неживого объекта), а на субординатном уровне появляются различные спецификации, ср. *астионим*, *ойконим*, *урбаноним* и др. При таком представлении терминологической системы видно, что новации затрагивают именно субординатный уровень. Назовем это явление, характерное для ономастики XXI в., *денотатной диверсификацией* онима.

Для терминографии весьма существенным является вопрос, до какого уровня разумно доводить терминологизацию. Достаточно ли, например, термин базового уровня *зооним* или следует переходить на субординатный уровень и фиксировать термины для имен собственных каждого вида животных (**гатоним* для котов, **порконим* для свиней)? Здравый смысл подсказывает, что часто достаточным является базовый уровень.

Существуют две возможности обновления терминологических систем: либо вводятся новые термины для новых объектов, либо переосмысляются старые понятия, при этом остаются их традиционные терминологические обозначения. В отечественной ономастике, как показало прошедшее после выхода словаря Н. В. Подольской время, реализовались обе эти возможности. Есть бесспорные новации на субординатном уровне (термины-наименования объектов) при сохранении базовых терминов (ср. *топоним*). Но если мы обратимся к топонимической терминосистеме, где термин *топоним* остался прежним, равно как и термин *микротопоним*, то увидим, что количество знания об этих объектах существенно увеличилось, изменился также угол зрения. Соответственно, появились другие сопряженные с этими обозначениями термины и понятия, бытующие в «апеллятивной» лингвистике (*концепт*, *языковая картина мира*, *личная сфера говорящего*, *прецедентный*

феномен и др.). Кроме того, в современной ономастике существенно изменился понятийный аппарат и, соответственно, термины, которые относятся к способам описания и представления объектов. А именно такие термины несут в себе теоретический инновационный заряд. Поэтому терминографический выход видится в создании не просто обновленного терминологического словаря, а научной ономастической энциклопедии, которая вместила бы в себя не только дефиниции старых и новых терминов, но и то их «дальнейшее» значение, без которого невозможно представить, как устроено знание.

Т. В. Володина

Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы
Национальной академии наук Белоруссии, Минск (Белоруссия)
tanja_volodina@tut.by

Еще раз о *жабе во рту* (белорусские представления о стоматите в европейском контексте)*

В докладе идет речь о языковой репрезентации представлений о грибковом заболевании полости рта, которое чаще всего встречается в младенческом возрасте и обычно обозначается как *стоматит* или *молочница*. На уровне народной номенклатуры этому заболеванию соответствует подробно разработанное лексическое поле, причем белорусская традиция обнаруживает ряд пересечений с традициями восточных и западных соседей.

Болезнь вызывается грибом, который прежде причислялся к плесневым (*Oidium albicans*), теперь же его считают одним из видов дрожжевых грибов (*Saccharomyces albicans*), — на уровне языковых обозначений ср. чеш. *hubky v ústech*, словен. *gobice usta*, *góbica*, блр. *грыб*, нем. *Schwämchen*. В синонимах этих наименований, образованных от *плес(е)н-*, объединяются два признака номинации: причина болезни и ее внешнее проявление, ср. блр. *плесенка*, *плесьня*, *плясьнівіца*,

* Работа выполнена в рамках проекта БРФФИ № Г14МС-001 «Беларуска-нямецкія паралелі ў сферы этнамедыцыны і замоўнай традыцыі».

© Володина Т. В., 2015

плясьніўка, полес. плеснеўка, плесн(е,о)яўка, плеснавіца, плесніца, плісноўка, рус. курск. плеснявка, польск. *pleśniawka*, словац. *pleseň*, нем. *Kahm(en)*, *Maul*, *Mund-Schwaemchen*.

В качестве семантической доминанты целого блока наименований стоматита выступает молоко, ср. блр. минск. *малако дзецкае*, *малачай*, *малачайка*, полес. *молоча*, *молочака*, *молочник*, *молочнікі*, *молочніца*, *молочняк*, рус. твер. *молочник*, новг. *молошонка*, пск. *малошник*, морав. *mlěsnica*, помор. *mlěńnica*, *mlóćnica*, болг. *млечница*. «Молочная» тема проявляет себя и на уровне народной этиологии болезни: согласно поверьям, ребенок заболевает молочницей в том случае, если женщина во время беременности нарушала правила питания и ела пенки. При этом использование именно молока в ритуальной терапии молочницы фиксируется независимо от актуального в данной местности наименования.

Кроме отмеченных мотивов номинации, встречаются и другие. Так, белый цвет налета во рту отражают белорусские названия *пад-бел*, *падбела*, полес. *подбіл*, *скула-бяліца*. Этот же цветовой признак и признак «рассыпанности» во рту обусловили ассоциации молочницы с мукой, откуда некоторые западнославянские и немецкие наименования болезни: словац. *moučnivka*, *múčnica*, нем. *Mehlgrand*, *Mehlhund*, *Mehlsand*, *Weisser Hund*.

В ряде языковых обозначениях сыпь во рту соотносится с цветением, ср. рус. диал. *цвет* ‘молочница’, *цвести* ‘покрываться сыпью’, *зацвёл рот*. Подобные номинации отражают архаическое верование, согласно которому младенец в определенном возрасте должен «цвети» («*Цветёт* ребёнок. Не бывать без этого»). В языке и поверьях у младенца «цветут» как тело, так и полость рта.

В польском языке короста на поднебенье малыша при грудном вскармливании (одно из проявлений стоматита) имеет название *skalka*, этой же лексемой называются заноза, бельмо на глазу и глазки жира на поверхности жидкости, т. е. инородные тела на ровной поверхности чего-либо. У белорусов (преимущественно Вилейский р-н Минской обл.) известно подобное наименование *школка*. Отмеченное в Полесье название молочницы *грэбеніца* (*грэбёнка*, *грэблёнка*) находит акциональную параллель в запрете у поляков брать младенцу в рот гребешок.

Самым разработанным комплексом наименований и верований, связанных со стоматитом, является комплекс с семантической

доминантой «жаба»: блр., рус. *жабка*, польск. *żaba*, словац. *žabka* (*u dzeci*), морав. *žabka*, серб. *žabice* и др.

Связь «жаба — рот» фиксируется в советах по исцелению болезней, сконструированных не без влияния так называемой этимологической магии, когда *жабку* врачевали с помощью жабы: к больному месту прикладывали зеленую жабку, которую потом относили на то же место, откуда взяли; в рукописи из Сербии 1749 г. упоминается, что больному ребенку клали под язык разорванную живой жабу. Народная этимология увязывает *жабку* во рту с неосмотрительным отношением ребенка или его матери к лягушке.

В таких наименованиях отражена мифосемантика рта, которая проявляется в разных концептуальных кодах, при этом рот в соматическом коде соответствует болоту в коде пространственном. Подобные соответствия являются сюжетообразующими в заговорах от стоматита: «Паганка ў роце — жабка ў балоце, не будзь, паганка, ў роце, а будзь ў балоце». Эти же мотивы известны в чешских и немецких заговорах. Ближе к наименованию *жаба* упоминание еще одного земноводного — *ящура*, ср. полес. *йешчур*, *яшчар*.

Отдельный и любопытный блок составляет «кошачья» тема в этнокультурном тексте стоматита. «*Каціна малако*. Бывае, ката дзе нагой падкінеш. Выціралі трапачкай шарсыцянай, на палец возьмуць». Даже если в названии не упоминается кот, именно к нему отправляет народная этимология: «Малочніца. Есьлі жанчына бярэменна і пераступіць цераз ката, у дзіцятка на языку будзе белае». В разных местах Европы для магического лечения стоматита во рту протирали хвостом черного кота. Соотнесение в мифопоэтических, символических контекстах кота с молоком обыденно, но «молочная тема» оказывается широко представленной и в комплексе народных представлений о жабе.

Пейоративные наименования заболеваний слизистой рта более редки: блр. *паганка*. Глубокий мифологический подтекст имеют обозначения, продолжающие слав. **nežiti*/ь: блр. минск. *нежык*, *нежасць*.

К изучению мотивации композитов, образованных от глаголов с семантикой поедания (на материале русской лексики и антропонимии)

В докладе рассматриваются особенности мотивационных моделей, лежащих в основе сложных слов, в состав которых входят глагольные корни *-ед* 'есть', *-грыз* 'грызть', *-глод* 'глодать', *-глот* 'глотать', *-жор* 'есть с жадностью, «жрать»', *-зоб* 'есть' (диал. шир. распр. *зобать*), *-хлеб* 'хлепать'. Материалом служит лексика русского общенародного языка, говоров, просторечия, а также данные антропонимии (как установлено, данная модель более всего распространена в сфере коллективных прозвищ).

Изучаемые композиты образованы от глагольных конструкций — с у б с т а н т и в н ы х: гл. + сущ. в вин. пад. (простореч. *хлебожор* 'тот, кто ест много хлеба', *лукоеды* 'жители г. Арзамас Нижегородской обл.', *мукозобы* 'жители д. Хавино Кичменгско-Городецкого района Вологодской обл.', кубан. *костогрыз* 'ломота в костях'); гл. + сущ. в им. (тв.) пад. (моск. *мышеед* 'сено, изъеденное мышами'); а д ъ е к т и в н ы х: гл. + (субстантивированное) прил. в вин. пад. (литер. *сладкоежка*, ворон. *солноёд* 'любитель соленого'); гл. + прил. в тв. пад. (литер. *сыроежка* 'вид грибов, которые, как считается, можно есть сырыми или же вскоре после засолки'); а д в е р б и а л ь н ы х: гл. + нареч. (литер. *малоежка* 'человек, который мало ест', омск., томск. *скороёжка* 'гриб сыроежка'). В указанных конструкциях проявляются различные субъектно-объектные отношения: так, литер. *куроед* 'тот, кто поедает кур', тул. *куроédка* 'хорь, норка' — объектные композиты (именной компонент указывает на объект поедания), в то время как нижегор. *куроёд* 'растение гусяная трава' — субъектный композит (отражено указание на субъекта поедания).

В подавляющем большинстве случаев композиты являются объективными, именной компонент в их составе восходит к существительному или прилагательному в винительном падеже, а значение реализует

формулу «тот, кто ест / будто бы ест что-либо». В редких случаях эта формула подвергается модификациям, при этом указание на объект поедания сохраняется, а в значении актуализируются дополнительные темпоральные или инструментальные смыслы, например: «время, когда можно есть что-либо» (литер. *мясоед*), «служащий для поедания чего-либо» (арх. *кашеёд* ‘горшок для каши’).

По способу номинации изучаемые композиты распадаются на две большие группы. Слова, реализующие прямой способ, имеют различные мотивационные значения, например:

- «тот, кто ест / любит определенную пищу» — смол. *молокоёжничек* ‘тот, кто питается молоком’ (в ряде случаев в таких композитах отмечаются особенности питания животных: литер. *осоед* ‘хищная птица из семейства ястребиных, питающаяся личинками ос’, пск. *листоёд* ‘жук из семейства Chisomelidae’, тобол. *мясоедка* ‘птица синица большая’ и др.);

- «тот, кто ест / любит пищу с определенными вкусовыми характеристиками» — литер. *сладкоежка*;

- «тот, кто ест / любит пищу в определенном виде» — иркут. *сыроедка* ‘о том, кто ест сырую, невареную пищу’, киров. *сухоёжка* ‘человек, питающийся всухомятку’;

- «тот, кто ест много / мало» — перм. *худоёд* ‘человек с плохим аппетитом’;

- «тот, кто ест специфическую, бедную или некачественную пищу» — пск., твер. *мышеёд* ‘о том, кто ест отбросы, отходы, падаль’, *крошкоёды* ‘жители д. Шижня Беломорского района Карелии’, *кишкоёды* ‘жители побережья Белого моря’ и др.

Активность и популярность рассматриваемой модели приводит к тому, что она осваивает «непищевые» лексические сферы. Возникают опосредованные (часто метафорические) наименования, которые характеризуют:

- особенности ландшафта, флоры и фауны — *камнеёды* ‘жители д. Паршино Вашкинского р-на Вологодской обл.’ (считается, что на полях вокруг деревни было много камней), *вичкоёдники* ‘жители д. Засулье Лешуконского р-на Архангельской обл.’ (в окрестностях деревни растет ива);

- занятия — смол. *землеёд* ‘о человеке, любящем землю, не щадящем себя при обработке ее и т. п.’, литер. *буквоед*, *книгоед* ‘о всяком,

кто работает над книгами и отличается точным знанием текстов', урал. *клочкоёд* 'шерстобит';

- поведение и привычки — урал. *табакоёд* 'ярый курильщик', литер. *сердцеёд* 'мужчина, пользующийся большим успехом у женщин; покоритель женских сердец' и др. Другой вариант расширения модели состоит в том, что способность к поеданию приписывается тем, кто ею не обладает: р. Урал *пероёд* 'болезнь кур, при которой у них выпадают перья', литер. *снегоед* 'о теплом ветре, тумане и т. п., под действием которых снежный покров становится рыхлым, тает' и др.

Рассмотренный материал предоставляет возможности для этнолингвистических наблюдений. Так, композиты могут использоваться для характеристики групп людей, имеющих определенный род занятий, социальный статус: костр. *кутехлёб*, смол. *кутьехлёб* 'о лице духовного звания', ярсл. *водохлёб* 'бедный человек, особенно причетник', онеж., новг. *крупоёд* 'о солдате', простореч. *куроед* 'о мелком чиновнике-взяточнике' и др. Тем самым пищевые привычки становятся маркером социального положения (как правило, отличного от крестьянского). Популярность «пищевых» композитов в сфере коллективных прозвищ свидетельствует о значимости различий в рационе и для территориальной дифференциации людей, ср.: *борщеёды* — жители с. Ижма Приморского р-на Архангельской обл. (рассказывают, что они ели борщевик вместо капусты), *гущеёды* — жители г. Великий Новгород (якобы любили *гушу* — кушанье из сваренной в воде ячменной крупы), *жёлноёды* — жители д. Максимов Починок Мамадышского уезда Казанской губ. (якобы едят птицу желну) и др. Прозвища-композиты могут дополнительно характеризовать ландшафт той или иной местности (например, прозвища типа *водохлёбы*, *ершеёды* обычно получают те, кто живут по берегам рек). Представления о пищевых привычках — реальных или легендарных — могут порождать народно-этимологические переосмысления наименований лиц по конфессии или национальности, при этом результаты таких переосмыслений оказываются втянутыми в поле действия изучаемой модели, ср. перм. *мухоедан* 'магометанин', литер. *самоеды* 'самодийцы'.

В докладе осуществляется мотивационная интерпретация некоторых «темных» слов, реализующих изучаемую модель. Так, для тамб. *мухоёдка* 'лицо' можно предложить такую логику формирования семантики: первоначально это слово было шутливым обозначением рта

(ср. «Закрой рот, а то муха залетит!»), а современное значение возникло благодаря метонимическому переносу. Рассматриваются также литер. разг.-сниж. *оглоёд* ‘ненасытный, жадный человек’, арх. *ноткоёдливый* ‘надоедливый, утомительный’ и др.

О. В. Врублевская

Волгоградский государственный социально-педагогический университет,
Волгоград
Gesse-wolf2009@yandex.ru

Антропонимы и мода: современные тенденции имянаращения*

Мода — одна из форм коммуникации, передачи информации от одних людей другим. В процессе коммуникации ее участникам необходимо узнавать друг друга и быть узнаваемыми, видеть и быть увиденными, представляться другим и знакомиться с ними. С этой точки зрения большое значение имеет такая атрибутивная ценность моды, как демонстративность: она, по мнению А. Б. Гофмана, «существенно способствует коммуникации в условиях, когда последняя носит непродолжительный и неглубокий характер. А такой тип коммуникации занимает значительное место в современную эпоху с ее динамизмом и множеством поверхностных контактов. Отсюда потребность в быстрой и адекватной оценке субъектов общения, с одной стороны, и быстрой экспрессивной демонстрации своего Я — с другой» [Гофман, 1994, 21].

Имена собственные разных типов пронизывают все сферы человеческой жизни и деятельности, живо реагируют на общественные изменения и чрезвычайно подвержены влиянию моды.

Чтобы проследить некоторые современные тенденции имянаращения, мы проанализировали статистику личных имен за последние десять лет (2005–2014). Материалом послужили данные с сайтов управлений ЗАГС Москвы, Белгородской, Воронежской, Кемеровской,

* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (грант № 15-34-01008).

© Врублевская О. В., 2015

Самарской, областей, Хабаровского края, Комитетов по делам ЗАГС Санкт-Петербурга, Тульской и Челябинской областей, департамента ЗАГС Томской области, службы ЗАГС Астраханской области, раздела Комитет Ивановской области ЗАГС на сайте органа исполнительной власти Ивановской области, официального интернет-портала Республики Карелия, данные отделов ЗАГС с сайта Smart news, раздел «Регионы». Согласно статистическим данным, в десятку самых популярных женских имен вошли *София, Анастасия, Дарья, Мария, Виктория, Полина, Анна, Елизавета, Ксения, Екатерина*. Десятка самых популярных мужских имен представлена именами *Артём, Александр, Дмитрий, Максим, Даниил, Иван, Кирилл, Никита, Егор, Михаил*.

Исследование демонстративности как признака модных имен предполагает исследование редких и необычных имен с целью выявления модных тенденций. Анализ показал, что мода на редкие и необычные имена неоднородна: в отдельных регионах прослеживаются свои модные тенденции. Например, в Москве в 2014 г. зарегистрированы такие имена, как *Луна, Рассвет*, а в Центральном районе Сочи в январе того же года родители назвали свою дочь *Олимпиадой* в честь Олимпиады 2014 г.

Анализ именника Волгограда показал, что необычными именами чаще называют девочек, чем мальчиков. При этом наблюдаются следующие модные тенденции:

— наречение новорожденных экзотическими именами, которые не входят в традиционный русский именник, часто не зафиксированы в святцах: так, отделами ЗАГС Волгограда в 2011–2013 гг. были зарегистрированы девочки с именами *Есения, Ириса, Мирра* и др.;

— использование для имянаречения зафиксированных в святцах старинных имен, которые на протяжении длительного времени не давались новорожденным. Например, отделами ЗАГС Волгограда зарегистрированы нечастые в прошлом женские имена *Злата, Ульяна*, мужские имена *Лука, Макар, Фрол*.

— по данным отделов ЗАГС Волгограда, участились случаи присвоения личных имен, образованных от нарицательных существительных, — это, например, такие женские имена, как *Звездочка, Луна, Принцесса* и т. п. (ср.: в 2013 г. в Брянске появилась девочка по имени *Богиня*, а в Перми — мальчик *Князь* и девочки *Весна, Ёлка*).

За рубежом родители в стремлении к оригинальности дошли до крайностей. В феврале 2012 г. египтянин Дж. Ибрагим назвал свою

дочь *Фейсбук* (*Facebook*) в честь начавшейся в стране 25 января революции, организаторы которой активно использовали эту социальную сеть. В мае 2011 г. пара из Израиля назвала свою новорожденную дочь *Лайк* (*Like*) — аналогично популярной кнопке «Мне нравится» (*Like*) в соцсети Facebook. А пара из США назвала свою новорожденную дочь именем *Хэштег* (*Hashtag*) в честь специальной метки в социальных сетях, которая позволяет находить записи с упоминанием конкретного слова.

В целом, на основе изучения данных о редких именах, присваиваемых в различных регионах, нам удалось выделить в современном имяназвании следующие модные тенденции: возвращение древних славянских (дохристианских) имен; возвращение забытых имен из святцев (христианских имен); заимствование имен; наречение двойным именем (удвоение одного и того же имени; именование двумя разными именами; именование двойным именем, одна часть которого является антропонимом, а другая нарицательным существительным); образование имен от нарицательных слов; наречение сокращенными формами имен в качестве паспортного имени.

Мода на личные имена проявляется либо в частотности, либо, наоборот, в редкости тех или иных имен. Полученные статистическим методом данные можно подтвердить анализом рефлексивов современных носителей русского языка на употребляемые в настоящее время антропонимы.

Гофман А. Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения. М., 1994.

Фразеопаремическая картина старости человека в славянских языках

Рассмотрение фразеологического и паремиологического состава славянских языков позволяет выделить несколько понятийных фрагментов картины старости.

Номинируется промежуток времени между молодостью и старостью, ср. польск. *wiek dojrzaly*, словен. *Abrahamova leta*. Указывается на конечность молодости и неизбежность старости, ср. рус. «Молодость не без старости», а также на то, что молодость временна, а старость продолжается до конца жизни, ср. болг. «Младост до време, старост до гроба». Еще до наступления старости человек склонен думать о ней, ср. польск. *myśleć o swojej starości*; чеш. *pamatovat na zadní kola*; блр. «Не заракайся цёнгле багатым быць, бо чы не прыдзецца пад старасць торбу насіць»; хорв. *štedi za starost i nevolju*; серб. *umедети за старе дане*.

Языком отмечается наступление старости, ср. польск. *dożyć starości*; словац. *staroba doľahla naňho*; укр. *до сивини дожити*. В старости можно выделить определенные стадии: ранняя старость, ср. польск. *wczesna starość*, словац. *skorá staroba*; старость, ср. польск. *schylek życia*, чеш. *pokročilý věk*; поздняя старость, ср. польск. *późna starość*, словац. *hlboká staroba*, *matuzalemove lata*, чеш. *pokročilé stáří*, в.-луж. *wysoka / bibliska staroba*, укр. *у глибокиї старості*, хорв. *duboka starost*, словен. *visoka starost*, *metuzalemska starost*, макед. *олабока старост*.

В старости тяжело оказаться без поддержки детей, ср. блр. «Без дзяцей ціха, ды на старасці ліха». Дети — опора в старости, ср. польск. *znaleźć na starość oparcie w dzieciach*, словац. *oprieť sa v starobe o deti*, рус. «Сын — в подпор старости».

Старому человеку приходится нелегко, ср. польск. «*Starość nie radość, śmierć nie wesele*»; чеш. «*Stáří nepřináší radost*»; рус. «Старость не радость, смерть / гроб не корысть / не находка»; блр. «Старасць не радасць, а гроб не карысць»; «Старасць не радасць, а смерць не пацеха».

С наступлением старости не гибнут пороки человека, ср. польск. «Nierychło w starości chcieć porzestać złości»; сильно ограничена возможность выполнения работы, ср. укр. *руки не слухаются*; перестают исполняться пожелания, ср. рус. «На старость поступать — желания не получить».

О наступлении старости «сигнализируют» кости человека, ср. польск. «Ku starości bolą kości»; словац. *citiť niečo v kostiach*. Вместе со старостью приходят хилость, слабость, ср. словац. «So starobou ubývalo i sil»; рус. «Придёт старость — будет слабость»; блр. «Прыйдзе старасць — будзе слабасць»; укр. *ледве волочиту ноги*; хорв. *jedva se držati na nogama*. Старый человек изображается в языке ветхим, приклоненным к земле, ср. польск. «Ktoś trzęsący się ze starości»; словац. «Staroba ho zošúverlila / nachýlila». Вследствие старости человек становится подверженным психическим и умственным расстройствам, ср. польск. «Starość w progi, rozum w nogi», в.-луж. *slaba staroba*, укр. *вижити з розуму / з ума*; забывчивым, ср. рус. *выживать из памяти*, укр. *виживати з пам'яті*. Старость обременена болезнями, ср. польск. «Sama starość stoi za chorobę»; словац. «Staroba — hotová choroba»; рус. «Старость пришла — хворь принесла». Неотъемлемый признак старого человека — седина, ср. польск. «Siwizna nie mądrości znak jest, ale starości»; словац. «Šediny sú hrobové kvetiny»; рус. «Цвет старости — седина».

Языком отмечается отношение человека к старости, ср. польск. «Starość doskwiera»; словац. «Staroba naňho dolieha». Старый человек с трудом выносит тягости преклонных лет, ср. польск. *ugięty pod brzemieniem lat*; хорв. *(biti) pod bremenom godina*.

Ряд выражений указывает на отсутствие средства против наступления старости, ср. польск. «Od starości i śmierci nie ma lekarstwa»; рус. «От старости зелье — могила». После старости можно ждать только смерти, ср. польск. «Starość w grób zamyka»; рус. «Цветёт старость сединою, а овощ ему смерть»; укр. *свою смертю помирати*; хорв. *na rubu groba*. Однако обучение в старости не должно прекращаться, ср. рус. «Не учися разуму до старости, а до смерти».

С наступлением старости возникает необходимость материального содержания, обеспечения учреждениями опеки для людей в преклонном возрасте, ср. польск. *zabezpieczenie materialne na starość, dom spokojnej starości*; словац. *zabezpecena staroba; hmotné zaopatrenie v starobe*.

Фразеологические и паремические единицы содержат полярную оценку старости — отрицательную и положительную. Подчеркивается, что старость нельзя «вылечить», ср. польск. «Na starość nie ma lekarstwa»; чеш. «Proti věku není léku»; блр. «Ад старасці і смерці няма лекаў на свеце». Старость не отмечена радостью, ср. польск. «Starość nie radość»; чеш. «Mladost — radost, starost — žalost»; рус. «Старость не радость»; блр. «Старасць не радасць»; укр. «Старість не радість»; серб. «Старост није радост»; болг. «Старост — нерадост»; макед. «Староста не ет радосна како младоста». И все же старость может быть лишеной забот, ср. польск. *spokojna starość*, словац. *pokojna staroba*; она бывает также крепкой, здоровой, ср. польск. *czerstwa starość*, болг. *крепка старост*.

Польская поговорка гласит: «Biedna starości, wszyscy cię żądamy, a kiedy przyjdiesz, to zaś narzekamy» <Бедная старость, мы все тебя требуем, а когда ты приходишь, тогда жалуемся>. Тем не менее, любая старость достойна почтения, уважения, ср. словацкое устойчивое сочетание *úctyhodna staroba*.

Р. В. Гайдамашко

Институт лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург
gaidamashko@gmail.com

К вопросу о топонимических кальках: «собачьи» названия в Прикамье*

В бассейне р. Берёзовая, притока камской Колвы, отмечен случай калькирования: по предположению Т. Н. Шкляевой, название реки *Собачья* (там же *Верхняя Собачья*, *Левая Собачья*, *Малая Собачья*, *Правая Собачья*), притока р. Берёзовая, «может являться калькой коми-пермяцкого гидронима, произошедшего, скорее всего, от антропонима» [Шкляева, 2009, 278]. Это предположение подтверждается названием

* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научного проекта № 13-34-01018(а1) («Финно-угорский субстрат в топонимии и русских говорах Верхнего и Среднего Прикамья»).

р. *Кычанка*, которая также является притоком р. Берёзовая и находится примерно в 10 км от р. *Собачья*.

Подобный случай отмечался ранее А. С. Кривошековой-Гантман: «в местном русском говоре (д. *Кичаново* Сивинского р-на. — Р. Г.) заимствованное *кычан* употребляется в значении ‘собака’. Отсюда разговорный вариант ойконима — *Собачья* или *Собакина*» [Кривошекова-Гантман, 1983, 102]. О связи коми *кычан* ‘собака’, рус. диал. *кычан*, *кычка* ‘собака’ и производной от них топонимии и антропонимии Прикамья см. также [Кривошекова-Гантман, 1981, 51–52].

Нами засвидетельствованы аналогичные топонимические факты: бывш. н. п. *Собакино* в 7 км от бывш. н. п. *Киченята* в Карагайском р-не; гора *Собачья* в 13 км от д. *Кичаново* в Пермском р-не. Калькированными, возможно, являются также названия д. *Собачкина* Гайнской волости (с показательным комментарием: «жители селения инородцы-пермяки») [Кривошеков, 1914, 693] и р. *Собачья*, приток р. Яйва в Александровском р-не. С меньшей вероятностью кальками с коми-пермяцкого языка могут быть топонимы Южного Прикамья: р. *Собачка*, приток р. Шуртан в Октябрьском р-не и р. *Собачья Речка*, приток р. Емашка в Чернушинском р-не.

Кроме того, в прикамской топонимии зафиксированы д. *Кичаново* и д. *Кычанова* в Сивинском р-не [Кривошекова-Гантман, 1983, 102, 113]; ур. *Кичановское*, разв. *Кичановские Исады*, н. п. *Кичановское лесничество* в Верхнекамском р-не Кировской обл.; поле *Кичаношное* у н. п. Кузнецова Соликамского р-на [Чагин, 2004, 91]. Также отмечено явно коми название: р. *Кычаняшор*, правый приток р. Урья в Кочевском р-не (при коми *шор* ‘ручей’).

Не все указанные выше топонимы гомогенны, поскольку наряду с некалендарным коми-пермяцким именем *Кычан* в прикамских письменных памятниках XVI — начала XVIII в. зарегистрирована производная от него фамилия *Кычанов*, а также ее русифицированный вариант *Кичанов* [Полякова, 2010, 91–92] (субституция коми-пермяцкого *кы-* русским *ки-* регулярна).

Очевидно, перечисленные выше прикамские географические названия можно включить в соответствующий ряд топонимов Республики Коми, которые преимущественно являются пермскими по происхождению — судя по таким детерминантам, как *эль* ‘ручей в лесу, лесная речка’, *ыб* ‘поле’, *ю* ‘река, речка’. Этот ряд представлен следующими

названиями: р. *Кычан* (*Кычан ю*), приток р. Вишера в Княжпогостском р-не; р. *Кычана*, приток р. Войвож, бол. *Кычана* и ур. *Кычана-Прилук*, р. *Кычаняэль*, приток р. Большая Сыня в р-не Печора; д. *Кычаньб* в Сысольском р-не.

Все указанные данные необходимо рассматривать в совокупности с широко распространенными в прикамских (и севернорусских) говорах словами *кичан* / *кычан* ‘собака’, их вариантами и производными.

В докладе предпринимается попытка историко-этимологического и лингвогеографического анализа приведенных лексем и топонимов. Отдельно комментируются и дополняются существующие этимологические решения Р. Мекеляйна, Я. Калимы, М. Фасмера, А. С. Кривошековой-Гантман, А. К. Матвеева, Е. Н. Поляковой, Я. Саарикиви. Для нескольких топонимов предлагается альтернативная этимология.

Кривошеков И. Я. Словарь географическо-статистический Чердынского уезда Пермской губернии: с приложением карты бассейна р. Камы и иллюстрациями. Пермь, 1914.

Кривошекова-Гантман А. С. Коми-пермяцкие заимствования в русских говорах Верхнего Прикамья // Этимологические исследования. Вып. 2. Свердловск, 1981. С. 46–62.

Кривошекова-Гантман А. С. Географические названия Верхнего Прикамья : с крат. топоним. словарем. Пермь, 1983.

Полякова Е. Н. История имен жителей Пермского края в XVI–XVIII веках. Пермь, 2010.

Чагин Г. Н. Пермь Великая в топонимических доказательствах. Пермь, 2004.

Шкляева Т. Ю. Гидронимы, образованные от названий животных, в гидронимии р. Берёзовая Чердынского района Пермского края // Живая речь Пермского края в синхронии и диахронии: материалы и исследования. Пермь, 2009. Вып. 3. С. 277–281.

К вопросу о диапазоне хремотонимии

Одним из важнейших классов имен собственных (помимо антропонимии и топонимии) является множество проприальных единиц, номинирующих различные материальные и нематериальные культурные объекты, в особенности — значимые для современной цивилизации (например, предметы быта, торговли, искусства, общественные структуры, созданные для конкретных целей, проекты, фестивали и пр.).

Принято считать, что такие онимы и их референтное поле охватывает хремотонимия, которую составляют три базовые номинативные группы: маркетинговая, общественная и идейная. В рамках маркетинговой хремотонимии рассматриваются наименования, обозначающие продукты, марки, фирмы, общественные и хозяйственные учреждения. Общественная хремотонимия включает обозначения формальных и неформальных групп, которые *de facto* трактуются как имена собственные, граничащие с коллективной антропонимией и широко понимаемой хремотонимией. К идейной хремотонимии относятся названия предприятий, которые, в самом общем виде, осмысляются на фоне разного рода событий (формальных и тематических) и в дальнейшем реализуются в художественной, медийной, образовательной, научной, благотворительной, религиозной, развлекательной, военной и других перспективах.

Представленная классификация основана на соединении разных взглядов на статус хремотонимии, утвердившихся как в славянских, так и в европейских (и шире) ономастических кругах. Целью доклада является анализ существующих научных подходов к хремотонимии как категории или классу имен. Исследование учитывает не только польские терминологические наработки в этой области, но и русские, чешские, словацкие, немецкие, а в дальнейшем — англоязычные и романские разыскания.

Хремотономастика, несомненно, требует обсуждения на международном уровне и дальнейшей систематизации, хотя нужно согласиться

и с тем, что богатство и разнообразие имен собственных, которые прежде обозначались как «другие», «дополнительные», «остальные», соответствует естественной полифонии ономастических подходов, среди которых, например, представление о том, что хрематоним — это лишь название вещи (пищевого продукта, средства передвижения, медали) или концепция, согласно которой «вещь» понимается шире, чем элемент физической или сугубо экономической действительности.

Пер. с польск. Ю. А. Кривошаповой

К. А. Гейн

Уральский федеральный университет, Екатеринбург
kosgein@yandex.ru

Идеографические дублеты в микропонимии: проблема лексикографической обработки

В докладе рассматривается одна из частных проблем, возникающих при составлении идеографического словаря микропонимов (о проекте словаря подробнее см.: [Гейн, 2014а, б]), — проблема варьирования при воплощении одной и той же идеограммы, частной или общей, базирующейся на едином признаке номинации.

При лексикографической обработке топонимов в идеографическом аспекте обнаруживаются стойкие вариативные формы вербализации того или иного представления, лежащего в основе номинации. Если считать отражающими одну идеограмму топонимы, производные от одной основы, то идеографическими дублетами будут топонимы, которые представляют собой фонетические и словообразовательные (нелексические) различия, возникающие при вербализации одного и того же представления. Такое варьирование в воплощении идеограммы наблюдается во всех группах микропонимов: как в названиях, образованных от конкретно-предметной лексики (например, лексики групп «Флора», «Фауна», «Одежда», «Человек как биологическое существо» и т. п.), так и в топонимах, образованных от непредметной лексики («Эмоциональное состояние», «Возрастная характеристика»,

«Свойства объекта» и т. п.). Так, только в Бабаевском районе Вологодской области более десятка топонимов демонстрируют варианты отражения идеограммы «б е р е з а»: *Березино*, поле; *Березуга*, покос, поле; *Берёзка*, ур.; *Берёзовая*, ур.; *Берёзовик*, покос; *Берёзовка*, покос; *Берёзовое*, ур.; *Берёзовый Мост*, покос; *Большая Берёза*, поле. Словообразовательные и фонетические дублиеты в идеографическом словаре микротопонимии представлены в одной словарной статье, которая является отражением конкретного семантического типа топонимов, и иллюстрируют словообразовательный и фонетический потенциал процесса топонимации.

Другим случаем является лексическое варьирование, при котором наблюдается различие топонимопроизводящих лексем. Это может быть варьирование внутри идеографической группы — к нему, например, приводит использование в топонимии синонимов, ср. *ветла* — *ива* (*Ветла*, покос — *Ивницы*, поле; *Ивняги*, поле), *портки* — *штаны* (*В Портках*, покос; *Портки*, покос — *Штаны*, лог; *Штаны*, мыс; и т. п.). В словаре подобные факты также подаются в рамках одной словарной статьи, демонстрируя лексический потенциал вербализации одного понятия.

Наконец, в микротопонимии представлено варьирование при воплощении определенного признака, присущего географической реальности, своеобразное варьирование макроидеограммы. Так, для вербализации признака круглой формы объекта задействуются лексемы, идеографически относящиеся к разным понятийным макросферам: к р у г (*Круган*, покос; *Круглая*, покос; *Кругленький Островок*, лес; *Круглица*, пожня; *Круглицы*, покос, *Круглуша*, покос), г о л о в а (*Маленькая Головка*, пожня), с к о в о р о д а (*Сковородка*, ур.). Такие топонимы помещаются в разные словарные статьи (поскольку мотивационная сторона имени не является аргументом для идеографического сближения топонимов), однако для демонстрации их связи в статье даются отсылки. Выявление идеографических дублиетов представляет интерес при определении спектра ономаσιологических моделей в микротопонимии, а также для исследования этнокультурной составляющей плана содержания имени собственного.

Гейн К. А. О некоторых проблемах идеографического описания топонимического материала // Вопр. ономастики. 2014а. № 2 (18). С. 68–77.

Гейн К. А. О проекте идеографического топонимического словаря // Современная русская лексикология, лексикография и лингвогеография. 2014. СПб., 2014б. С. 82–87.

Д. М. Голикова

Уральский федеральный университет, Екатеринбург
d.golikova@gmail.com

Рус. *катька* и фр. *catin* ‘кукла’: пути деривации

Дериваты одного и того же имени, принимающие сходные значения в родственных языках, — довольно распространенный феномен. Однако бывают случаи, когда подобное явление в разных языках нельзя объяснить действием одинаковых моделей деривации. Один из таких случаев — дериваты личных имен *Екатерина* и *Catherine* в русском и французском языках, имеющие значение ‘кукла’, ср. рус. диал. *катька* ‘детская кукла’ [СРНГ, 13, 137], ‘кукла, сшитая из тряпок’ [ЛК ТЭ], *катюшечки* ‘деревянные брусочки, приготовленные маленьким детям для игры, забавы вместо игрушек’ [СРГС, 2, 48] — фр. *catin*, *catou* (деминутивы от *Catherine*) ‘кукла’, ‘конверт из тряпок, примитивная кукла’, ‘кукла в плохом состоянии’ [Peterson, 174], *kate*, *catin* ‘кукла’ [Dottin, 281]. Необходимо отметить, что в русском языке, насколько нам известно, не существует производных от других антропонимов в схожих значениях.

Появление «кукольных» дериватов женских личных имен *Катерина* и *Catherine* в русском и французском языках можно объяснить несколькими способами. Так, эти имена могли развить значение ‘кукла’ независимо друг от друга и пройти, таким образом, совершенно самостоятельными путями деривации.

При анализе русских данных вполне вероятной кажется контактизация диал. *катька* (< *Катька* < *Екатерина*) с продолжениями праслав. **katъkъ(jь)*: ср. др.-рус. *катъкъ* ‘сверток’, ‘комок’, диал. *каток* ‘деревянный валик для разглаживания белья или теста, скалка’, ‘катушка ниток’, ‘кусок бревна — орудие для молотбы на конной тяге или бревно, которое подкладывают под тяжести при транспортировке’

[ЭССЯ, 9, 164–165]. Действительно, слово *катъкъ* ‘сверток’, ‘комок’ близко к *катъка* ‘тряпичная кукла’ (куклу эту с к а т ы в а л и, сворачивали из тряпок). Дialeктизм *катюшечки* ‘деревянные брусочки, приготовленные маленьким детям для игры, забавы вместо игрушек’, в свою очередь, может быть результатом притяжения к *каток* ‘деревянный валик’, ‘кусок бревна’.

Что касается французского языка, то уже в среднефранцузском (XIV–XVII вв.) деминутив *catin* употреблялся в качестве ласкового обращения к женщине [DMF]. Позже *Catin* стало популярным именем куклы, которое давалось игрушкам маленькими девочками [Littré], что, вероятно, связано с предыдущим употреблением.

Таким образом, в русском языке на основании фонетического сходства могло произойти «смешение» форм личного имени *Катерина* и дериватов праслав. **katъkъ(jь)*, а во французском — деонимизация антропонима с последующим развитием полисемии.

В то же время есть факты, которые позволяют предполагать, что интересующее нас русское слово подверглось в прошлом «французскому» влиянию.

Так, на одном из эстампов 2-й половины XVIII в. изображена механическая кукла с подписью *Charmante Catin* <прелестная Катерина> [Gallica]. Напомним в связи с этим широко известную версию происхождения слова *шарманка* — от начальных слов немецкой песни «Scharmante Katharine» <Прелестная Екатерина> [Фасмер, 4, 410]. Эту версию подтверждает, в частности, слово *шарманкатерина*, которым называет шарманку Н. А. Демидов [Демидов, 56]. Стоит также вспомнить, что шарманщик чаще всего путешествовал не один: шарманка сопровождала выступления бродячих кукольных театров, а сам инструмент нередко украшался изображениями игрушечных актеров. Механические куклы тоже часто были музыкальными и работали по принципу шарманки. В словаре братьев Гримм приводится контекст, позволяющий предположить, что в некоторых версиях немецких спектаклей жену или любовницу Касперля (аналог русского Петрушки) звали *Kami* [DWB].

Это, возможно, является следствием употребления имени *Catin* в значении ‘кукла, марионетка’ во французском языке. Таким образом, прослеживается вероятный путь *Catin* из Франции, родины шарманки и механических кукол, через ярмарки и бродячие кукольные театры до русской деревни.

Демидов — Журнал путешествия Никиты Акинфиевича Демидова. Екатеринбург, 2005.

ЛК ТЭ — лексическая картотека Топонимической экспедиции Уральского университета (кафедра русского языка и общего языкознания УрФУ, Екатеринбург).

СРГС — Словарь русских говоров Сибири : в 5 т. Новосибирск, 1999–2006.

СРНГ — Словарь русских народных говоров. Л. ; СПб, 1965–. Вып. 1–.

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка : в 4 т. М., 1964–1973.

ЭССЯ — Этимологический словарь славянских языков: праславянский лексический фонд. М., 1974–. Вып. 1–.

DMF — Dictionnaire du Moyen Français [Электронный ресурс]. URL: <http://www.cnrtl.fr/definition/dmf/catin>.

Dottin G. Glossaire des parlers du Bas-Maine. Paris, 1899.

DWB — Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm [Электронный ресурс]. URL: <http://woerterbuchnetz.de/DWB/>.

Gallica — Gallica: bibliothèque numérique. Bibliothèque nationale de France [Электронный ресурс]. URL: <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8410006t>.

Littre — Dictionnaire Littré [Электронный ресурс]. URL: <http://www.littre.org/definition/catin>.

Peterson A. Le passage populaire des noms de personnes à l'état de noms communs dans les langues romanes et particulièrement en français. Etude de sémantique. Uppsala, 1929.

С. О. Горяев

Уральский федеральный университет, Екатеринбург
gorajev@yandex.ru

К вопросу о прагматимических парадигмах

Торговые марки советского периода представляют собой достаточно специфический разряд прагматимов, в частности потому, что в условиях советской правовой и экономической системы две функции, юридическая и рекламная, во многом определяющие специфику прагматимов как ономастического разряда, оказались наименее важными. Юридическая функция (указание на принадлежность интеллектуальной собственности, охрану авторского права и т. п.) становилась неактуальной, поскольку, в конечном счете, право собственности оказывалось

у государства, а рекламная функция «стиралась», поскольку в условиях плановой экономики ситуация конкуренции между однотипными товарами была исключена.

Многие советские торговые марки стали историзмами, приметамы своего времени, кроме всего прочего потому, что весь уклад общественной жизни, включая экономический режим, существенно изменился. Но в ряде случаев рекламный потенциал советского прагматонима оказывается сейчас весьма высоким, даже большим, чем во время его создания. В качестве примера укажем названия недорогих суррогатных портвейнов — «Агдам», «777», «333», — которые в советское время были символом низкокачественного алкогольного напитка, а сейчас возрождаются в качестве респектабельных торговых марок. При этом нынешний правовой статус советских торговых марок, их принадлежность, право на использование являются дискуссионными вопросами, и споры вплоть до законотворческого уровня не утихают до сих пор. Важно также отметить, что право на использование товарной марки и право на выпуск соответствующей ей продукции могут быть напрямую не связаны между собой. Поэтому традиционные (с советского времени) производители продукции в любом случае могут продолжать производить товар, но под другим названием.

С ономастической же точки зрения в случае использования прагматонимов советского периода сегодня имеет место полная синонимия, поскольку ряд имен относится к одному и тому же товару, точнее, к определенному понятию об этом товаре. Это не является чем-то исключительным: подобная ситуация типична, например, для торговых названий лекарств: один препарат может иметь до нескольких десятков так называемых «дженериков». Но с ономастической точки зрения цель прагматонимической номинации в этом случае оказывается совершенно противоположной «нормальному» неймингу, при котором основная задача — придание некоему товару индивидуальности, исключительности и непохожести на ряд однородных. Наоборот, в задаче номинатора входит создание торговой марки, максимально приближенной к старому, традиционному названию.

Основных путей в этом случае три: 1) г р а м м а т и ч е с к и й (в широком смысле термина) заключающийся в сохранении одного, желательно главного, грамматического компонента названия с добавлением / изменением некоторых других; 2) с е м а н т и ч е с к и й — сохранение

коннотативных и ассоциативных значений базового прагмонима; 3) ф о н е т и ч е с к и й — сохранение звукового облика исходного названия.

Приведем в качестве примеров две системы таких похожих названий. Первая представляет модификации названия советских конфет «Белочка»; в настоящее время права на него принадлежат крупному московскому холдингу, хотя, как уже отмечалось, вопрос о пересмотре прав на советские бренды периодически поднимается: последний раз соответствующая законодательная инициатива была высказана в начале текущего года. Вторая — названия вина «Монастырская изба»; этот бренд в советское время относился к известному болгарскому вину, но по разным юридическим причинам права на него в постсоветское время оказались у одной из российских компаний. Прочие же производители (включая представителей ближнего зарубежья — для конфет это фабрики Казахстана и Украины, для вин, прежде всего, фирмы Молдавии) вынуждены модифицировать бренд, дабы избежать юридически неправомерного сходства:

«Белочка» > «Белочка Лакомка», «Белочка лесная», «Белочка-чудесница», «Белочка Шалунья», «Королева Белочка», «Орешки для белочки», «Белка-озорница», «В гостях у белки», «Лесной пир».

«Монастырская изба» > «Монастырская трапеза», «Монастырская доля», «Монастырский очаг», «Монастырский сад», «Монастырские вечера», «Древнемонастырское», «Старомонастырское», «Горный монастырь», «Старая часовня».

Укажем также варианты фонетических модификаций, которые не представлены в приведенных парадигмах. Для конфет это, например, исходное «Ромашка» и модифицированное «Рома + Машка»; для вина — «Душа монаха» и «Душа монарха».

При этом мы должны оговорить, что в ряде случаев подобные сходства брендов объясняются попытками недобросовестной конкуренции. Но это вопрос, скорее, юридический. В языковедческом плане перед нами система названий, связанных между собой в формальном и содержательном отношениях. Изменения основного, исходного прагмонима имеют определенную закономерность и, до определенной степени, предсказуемость. Поэтому мы полагаем, что система связанных между собой формально-содержательной связью названий одного вида продукции может быть названа прагмонимической парадигмой.

Ложноэтимологические эвристики детской речи как ресурс языковой игры: экспериментальные данные

Ложноэтимологические (а точнее сказать, произвольные) сближения слов как основа их интерпретации — одна из ярких примет детского языкового сознания. Как известно, дети «не терпят пустых форм» (А. М. Шахнарович) и стремятся установить объяснимую связь между названием и тем, что оно обозначает. Мотивационные эвристики детской речи (ДР), связанные с «прояснением» внутренней формы слова, имеют прогностическую, уточняющую и игровую функции.

В первом случае, основываясь на ассоциациях по созвучию, ребенок выдвигает собственную гипотезу («догадку») о значении незнакомого слова, уподобляя его известному, знакомому. Вторая функция обусловлена рефлексией над мотивированностью наименования, референт (денотат) которого ребенку известен. Введение нового корня в модельную сетку готового слова (А. А. Реформатский) — механизм, уточняющий актуальные для ребенка аспекты обозначаемого. Третья функция проявляет интенцию ребенка к ремотивации и/или реноминации как форме языковой игры (ЯИ). Такая мотивация может иметь ситуативный характер. Например, в парке, стоя в длинной очереди на «чертово колесо», где уставшие люди перебрасываются раздраженными репликами, четырехлетний Даня разочарованно констатирует: «Это какое-то колесо обозления, а не обозрения!» (сказал и смеется — поправилось собственное определение). Ср. также ложноэтимологический характер шутливой мотивации имен и прозвищ: *Домна* (отфамильное прозвище от *Маша Домшак*ова — имя девочки, которая все время болеет и сидит дома); *Нина Выгановна* — строгая воспитательница Нина Вагановна; старуха *Шляпака*к — ложноэтимологическое «прояснение» мотивации имени известного литературного персонажа (старухи Шапокляк) с использованием метатезы.

Игровая составляющая ложноэтимологических сближений в сфере ДР требует экспериментальной верификации ввиду известной субъективности суждений о преднамеренности / непреднамеренности таких явлений с позиций взрослой логики. Методом верификации может стать процедура прямого толкования, предполагающая возможность объяснения стимульного слова любым удобным для респондента способом при установке на произвольное (условное) толкование заданного стимула. Осознание значений мотивационных инноваций детской речи респондентами того же возраста, что и их авторы, должно проявить, во-первых, релевантность самой техники прояснения внутренней формы слова для создания эффекта ЯИ; во-вторых, обнаружить вариативный потенциал реализуемой ребенком игровой интенции. Ср., например, *гребетух* (петух с гребнем): кто на лодке едет, гребет веслами; расческа; грибник; *домна*: домовый; большой дом; бабушка; *голень*: человек без одежды, нет ни штанишек, ни рубашки; гол; ленивый тюлень; *альдыпын* (квазислово, употребляемое ребенком в значении «птичка»): альпинист-неудачник (хотел покорить Альпы, но не смог); следопыт; и т. п.

Кроме того, одним из методов, стимулирующих рефлексию над структурой слова-модификата, является его реконструкция в опоре на мотивационный перифраз. Ср., например, кубики, на которых написаны буквы (перифраз к слову *буквубики*); компьютер, на котором играют в игры (*игрутер*); малина, которая растет на полянке (*маянка*); синяк красного цвета (*красняк*); человек-иностранец, живущий в другой стране (*другостранец*); глупый дракон (*дуракон*); укольчик, причиняющий боль (*больчик*); полотенце, которым вытирают руки (*рукотенце*) и т. п.

Для тренинга способности к использованию принципа ложноэтимологической мотивации как кода ЯИ может быть использована также методика заполнения текстовых лакун (вставки пропущенного слова по заданному описанию с предъявлением слова-прототипа и нового мотиватора или самостоятельно выведенному ребенком алгоритму). Ср., например, рассказ Ф. Кривина «Король Годяй», в котором реализован принцип обратного словообразования: королева *Ряха* и подданные короля *Годяя* — *вежды*. Придуманные детьми-школьниками слова — *учи*, *дотёпы*, *лепицы* и т. п. — не только вполне релевантны заданному игровому коду, но и значительно расширяют представленный в тексте диапазон.

Сопоставление ложноэтимологических эвристик в спонтанной ДР и в ситуации эксперимента позволяет сделать некоторые выводы относительно специфики данного процесса как одной из стратегий усвоения языка и ее роли в развитии способности ребенка к ЯИ. К этим особенностям относятся: 1) тесная взаимосвязь ложноэтимологической мотивации с процессами компенсаторного словотворчества, ориентированного на потребности выражения ситуативного и личностного смысла при дефиците (отсутствии в языке и/или лексиконе ребенка необходимых средств номинации); ср. следующий диалог: «“А мы в школе считаем до миллиона”. — “А мы в садике — до всеона!”» (К. Чуковский); 2) корреляция результатов ложной мотивации с парадоксальными сближениями родственных слов, разошедшихся в значениях: *животное* ‘о том, у кого большой живот’; *начальник* ‘тот, кто учится в начальной школе’; 3) корреляция ложноэтимологических сближений с новообразованиями в результате «ослышки» и омофонического переразложения слова в потоке речи; ср. *кактус* — *как туз*; 4) тиражирование отрефлексированного механизма ложноэтимологической мотивации и реноминации в процессах ЯИ, ср.: «Антрекот — любимая еда котов»; «Эта змея ядовитая, потому что она едовитая»; «Йоги — мужья бабы Яги».

Различие между результатами ложной этимологизации как проявлениями мотивационной рефлексии и фактами ЯИ лежит в области отрефлексированной (осознанной или неосознанной) условности (в том числе парадоксальности) устанавливаемой смысловой связи между сближаемыми по случайному созвучию словами. Освоение этого операционального механизма — одно из проявлений экспериментальной доминанты детского языкового сознания и база для формирования будущей игровой компетенции личности.

А. И. Грищенко

Московский педагогический государственный университет, Москва
alexander@grishchenko.ru

Прямые лексические заимствования из древнееврейского языка в средневековой славяно-русской книжности*

О существовании в средневековой славяно-русской книжности прямых, не опосредованных греческим языком и греческими текстами, семитизмов (в основном гебраизмов) палеославистам известно давно — начиная с восточковского «Описания русских и словенских рукописей Румянцевского Музеума» (1842) и статьи прот. Александра Горского «О славянском переводе Пятюкнижия Моисеева, исправленном в XV в. по еврейскому тексту» (1860). Тогда же было сделано предположение о том, что сверка славянского Пятикнижия с Масоретским текстом была вызвана деятельностью жидовствующих, однако в последнее время А. А. Алексеев склоняется к тому, что глоссирование, осуществлявшееся по крайней мере дважды, не связано с жидовствующими и относится к более ранней эпохе. В работах Б. А. Успенского, посвященных именам Бога в этих списках Пятикнижия, высказана версия, что славянский перевод Торы использовался славяноязычными евреями Восточной Славии в качестве таргума. Особое место в изучении славяно-еврейских контактов в эпоху Средневековья отводится древнерусскому переводу Книги Есфирь (датируемому разными исследователями в диапазоне от конца X до конца XIV в.), которому посвящено огромное количество работ. Вышло также несколько научных изданий, последнее — И. Люсен (2001), где приводится типология лингвистических фактов, свидетельствующих и/или не свидетельствующих о прямом переводе с семитских языков. Наконец, совсем особняком стоят переводы с древнееврейского языка на западнорусский («прóсту мову») восьми ветхозаветных книг Виленского Библейского свода 1-й трети XVI в. (пять из них изданы в 1992 г. М. Альтбауэром и сопровождаены конкордансом

* Работа выполнена в рамках гранта Президента РФ по государственной поддержке молодых российских ученых — кандидатов наук МК-4528.2015.6, проект «Языковые и литературные контакты славян и евреев в средневековой Slavia Orthodoxa».

© Грищенко А. И., 2015

М. Таубе), которые, по недавней гипотезе С. Ю. Темчина (2006), были выполнены иудейским книжником Захарией бен Аароном ġa-Коґеном во 2-й половине XV в. в Киеве. А. А. Архиповым (1995) специально рассматривались (прежде всего на примере имен собственных) способы адаптации семитских лингвистических форм в славянских текстах первого перевода Есфири и Виленского свода.

С учетом того что круг соответствующих памятников в целом очерчен, хотя и не все из них основательно изучены (к ним следует добавить произведения, в которых упоминается наименование иудейского мессии, а также несколько апокрифов Соломонова цикла), давно назрела необходимость обобщить собственно лингвистические признаки, которые с той или иной степенью очевидности свидетельствуют о непосредственном заимствовании лексических единиц из древнееврейского языка в славянский текст.

1. Передача семитского *š* славянским *ш*. Древнейшее свидетельство этому («Речи к Жидовину о вочеловечении Сына Божия») относится к XIII в. и содержится в Изборнике РНБ Q.п.I.18: *маши-ка, машиаакъ*; в дальнейшем это наименование иудейского мессии (в христианской интерпретации — антихриста) попало в Толковую Палею (старший список конца XIV в.) в форме *машлахъ* (здесь оно представлено в толкованиях на апокрифическое «Благословение Иаковле сыном своим», которое, будучи постоянным текстологическим конвоем «Заветов двенадцати патриархов», встречается и отдельно от Палеи); в качестве промежуточной формы следует считать упомянутое А. А. Шахматовым слово *машьякъ / машьяхъ* из утраченной киевской рукописи Толковых пророков 1483 г.; в дальнейшем оно попадает в западнорусское «Особное мовене до Жидов» из сборника Супрасльского монастыря 1580 г. (ОРК РНБ: I, 1 № 29), где выглядит как *машиаѣкъ*, а также в алфавитный стих из «Жемчужной матицы» (РНБ Погод. 1615) 1632 г., изданный А. Пересветовым-Муратом (2006). Древнейшими семитизмами, относящимися к эпохе до «жидовствующих», являются еще два слова из апокрифов Соломонова цикла (в составе Палеи) — *шамиръ* ‘алмаз’ и *Малкаташва* ‘царица Савская’. В первом славянском переводе Есфири первичными считаются формы с *с* на месте *š*, например, *Хоусъ* < *kūš* ‘Эфиопия’, *Вафесъ* < *wa-tereš* ‘и Фарра (царский евнух)’ (А. А. Алексеев предполагает большую древность форм *Коушь* и *Терешъ* в ряде списков). В упомянутых списках Пятикнижия

и в Виленском Библейском своде формы с *ш* на месте *š* встречаются в огромном количестве.

2. Передача семитских *schwah* при помощи еров, отмеченная впервые А. А. Архиповым: *Ахасьверось* < 'āḥaš(ə)wērōš, *Визъсанъ* < *bizātā*' (Есфирь); *Белтышаїрь* < *baṭṭāša 'sar*, мнмне *тыкель* < *təpē 'təpē 'taqēl* (Виленский свод: здесь *schwah mobile* передается в основном через *ы*); *Цафънатъпане* < *sāp(ə)naṭ-pa 'nē'aḥ* (Пятикнижие РГБ Волок. 7). Упомянутая форма *Малкатошва* могла появиться только в результате прояснения / падения редуцированных в сочетании **малкатъ шьва* < *markat-šəbā*'.

3. Передача семитских *h* и *g* славянскими *г* и *гк* (реже — *к*) соответственно: *Маглавте*(л) < *mahālal 'ēl* (гlossa в Пятикнижии РГБ Рум. 27, греч. *Μαλελεηλ*), *Гоше* < *hōšē'*, *Гку*(ə)*гко*(ə) < *gidgad* (в тексте Пятикнижия РГБ Волок. 8, греч. *Αυση, Γαδγαδ*), *Игуда* < *yəhūdā*, *Гаманъ* < *haman*, *Гекаи* / *Гекъи* < *hēgay* (Виленский свод, греч. *Ιουδα, Αμαν, Γαι*).

4. Передача семитских *b* взрывного и *š* (в исторически зафиксированных системах произношения — аффрикаты *tš*) славянскими *б* и *ц* соответственно — обе фонемы, не свойственные греческому языку ранних переводов с древнееврейского, в принципе могли передаваться на письме в византийское время, однако в канонических текстах не зафиксированы: *Бихванъ* / *Бихфанъ* < *bigtān* (Есфирь, греч. *Γαβαθα*), *Циппора* < *šipporā*, *Бальцефонъ* < *ba 'al-šəron* (Волок. 8, греч. *Σεπφωρα, Βεελσεφων*), *Боазъ* < *bo 'az*, *Циwnъ* < *šīyūōn* (Виленский свод, греч. *Βοος, Σιων*).

5. Передача семитского *h* славянским *х* при отсутствии в параллельных греческих формах (признак, показательный лишь при наличии предыдущих четырех, так как в греческом также в принципе возможна передача *h* через *χ*): *Сихонъ* < *siḥon*, *Хиротъ* < *hirot* (Волок. 8, греч. *Σηων, Εϊρωθ*), *Хеиронъ* < *hešrōn*, *Нахшонъ* < *naḥšōn* (Виленский свод, *Εσρων, Ναασων*). В редчайших случаях *h* передается при помощи *г*: всего один известен из Пятикнижия (*taḥaš* передается при помощи прилагательных с корнем *тагаш*-, Числ. 4) и три имени собственных — из Виленского свода (*Бетлегемъ* < *bēyṭ-leḥem*, ср. греч. *Βαιθλεμ* и лат. *Bethleem*; *Маглонъ* < *mahlōn*, ср. греч. *Μααλων* и лат. *Maalon*; *Рагель* < *rāḥēl*, ср. греч. *Ραχηλ* и лат. *Rachel*), в передаче которых М. Альтбауэр усмотрел влияние принципов польской и чешской транслитерации, что представляется сомнительным.

При первостепенной важности приведенных лингвистических свидетельств средневековых языковых контактов между славянами и евреями до сих пор нет исчерпывающего списка такого рода гебраизмов. Так, в списках Пятикнижия, правленного по Масоретскому тексту, они могут исчисляться сотнями, и лишь после всестороннего их анализа вкупе с данными других памятников можно делать надежные выводы о хронологии и ареале данных контактов.

А. В. Гура

Институт славяноведения РАН, Москва
avgura@mail.ru

Семантика и функции круга в тексте свадебного обряда

К кругу как элементарному символу в его обобщенном виде могут быть сведены его разнообразные конкретные воплощения в свадебном обряде, представленные в разных обрядовых кодах: предметном, акциональном и хореографическом, вербальном. Их символические значения формируются на основе свойств круга. Линия круга очерчивает замкнутую границу, делящую пространство на внутреннее и внешнее.

Замыкание во внутреннем круговом пространстве определяет символику оберега (обегание свадебного поезда, опоясывание сетью, венки как апотропеи), символику соединения, сближения, породнения (обход вокруг молодых, прохождение их через обруч, смотрение друг на друга через отверстие калача, целование невесты со свекровью через калач на пороге дома жениха), символику приобщения (пляска женщин вокруг невесты или кручение ими невесты в кругу в знак включения в свое сообщество, обход молодой вокруг очага или катание хлеба вокруг стола по прибытии в дом мужа для приобщения к новой семье), символику подчинения, овладения и присвоения (обход невестой вокруг навоза в хозяйстве новобрачного, чтобы ее признавала домашняя птица, смотрение невесты на жениха для власти над ним и обеспечения его супружеской верности), значение фиксации какого-то события, его

закрепления и невозможности отмены (описывание кругов горячей головней в местах, где сваты совершали рукобитье, чтобы «жених не отказался»). Замкнутая линия круга, не имеющая ни начала, ни конца, мотивирует также символику вечности и неразрывности брачных уз у обручального кольца и венка. Круглая, кольцевидная форма лежит в основе женской генитальной символики (надевание калача на руку невесты, на свадебное знамя, на голову петуху, надевание хомута на голову «нечестной» невесте), символики девственности и девичества (мотив потери венка девушкой, венки как девичий головной убор) и — отчасти — символики плодородия и деторождения (выпрыгивание невесты одним махом из дежи для легких родов, обегание невестой с хлебом вокруг стола в доме жениха, чтобы иметь детей). Круглая форма и траектория кругового движения определяют символическую связь с солнцем (круговые действия по солнцу, придающие брачному обряду космическое измерение).

У некоторых круговых ритуальных действий нет ясной мотивировки, хотя имеется вполне конкретное символическое значение, например, семантика заключения брака (обход вокруг аналая, церкви, дома, бочонка с медом, колодца, озера, сохи и т. д.; кручение иконы над головой невесты при благословении на брак; ср. в поверьях крутящийся вихрь как женитьба нечистой силы) или символика окончания («объезд») кругами по избе верхом на ряженном «попе» или кружение свахи со свадебным хлебом на голове в знак окончания свадьбы).

На окончательное формирование конкретных значений рассматриваемых свадебных действий и предметов влияют и другие особенности. Их символические значения могут быть обусловлены цельностью или полостью круга (сплошной круг или сквозной, в виде кольца), статикой или динамикой (круглый, кольцеобразный, спиралевидный, цилиндрический или шарообразный предмет, движение внутрь круга или по кругу в определенном направлении — по солнцу или против него), орудием действия (нож, икона, горящая головня), материалом круглого или закручиваемого предмета (рыболовная сеть для опоясывания; растительность, из которой сплетен венок; волосы невесты), окружаемым объектом (движение вокруг невесты, печи, дерева, колодца и т. д. либо вокруг собственной оси), исполнителем действия (дружка-знахарь, молодая со свекровью), способом действия (круговой бег, езда, танец, скакание верхом на ком-либо, витье, качение по чему-либо, смотрение,

целование сквозь), дополнительными предметами, участвующими в круговом действии (топор в руке, брачная сорочка, хлеб), сопутствующими действиями (дележ каравай, бросание кусков на детей), местом и временем действия (церковь; порог дома жениха; место, где сидели сваты; «пад зялёным дубком»; полночь), количественными характеристиками (троекратное или однократное действие, число используемых предметов) и т. д.

Еще одна, последняя, группа круговых действий и предметов свадебного обряда вообще не имеет определенного «номинативного» значения и семантической мотивировки. Мы не можем приписать какое-либо конкретное и полноценное символическое значение свадебному хороводу, круглой или витой форме хлебных изделий (калач, рус. *витушки*, серб. *витица*, укр. *верч*, словац. *vrtánu*), кручению или витью приданого (рус. *крутить коробью* ‘готовить приданое’), свадебного деревца, каравай, солнца, облака, винограда, травы в свадебной терминологии и фольклорных текстах (*вьют ёлку, кр́асоту, вильце, квитки*, «*ви́ся каравай клубком*», «*изви се* слънце на коло», «*вила се* лоза винена»). Они воспроизводят внешнюю форму круга, но лишены «внутренней формы»: конкретная семантика у них либо отсутствует изначально, либо была выхолощена. Подобные круговые действия имеют значение, принадлежащее другому уровню языка культуры. При этом у них есть вполне определенная функция: они маркируют моменты, связанные с переходом в новый статус (расставание невесты с родным домом, изготовление и дележ каравай, замкнутый кольцевой обрядовый путь из дома жениха и обратно, сведение жениха с невестой и ритуал бракосочетания, вступление новобрачной в дом мужа, перемена невесте головного убора, принятие молодой в общество замужних женщин, супружеский акт в брачную ночь, окончание всей свадьбы), и выделяют важнейшие атрибуты свадебного обряда (венки, свадебное деревце, жезл, «квитки», каравай, головной убор, приданое и наряд невесты). Но такую же функцию выполняют и те предметные и акциональные воплощения круга, которые имеют конкретное, «номинативное» значение. Это обобщенное функциональное значение выступает в обряде как общее для них, инвариантное. Для конкретных символов круга оно является добавочным к «номинативному» и соотносится с ним как грамматические значения и лексические в естественном языке.

Постоянно воспроизводимые круговые действия в их обобщенном, «грамматическом» значении выполняют структурирующую функцию в обрядовом тексте. Они упорядочивают обряд, вычленяют, маркируют и объединяют целые семантические блоки (например, выделяют с помощью символики витя и кручения в особый изофункциональный ряд важнейшие обрядовые ритуальные действия и атрибуты).

Символ круга играет ключевую роль в свадьбе как обряде «перехода». Многократно повторяясь в разных своих воплощениях, идея круга пронизывает весь обряд, организуя его содержательную структуру в целом, акцентируя его узловые, наиболее важные в смысловом отношении моменты.

Х. Дейкова

Институт болгарского языка Болгарской академии наук, София (Болгария)
hristina.deykova@gmail.com

О некоторых проблемах этимологизации болгарской лексики в «Болгарском этимологическом словаре»

Одной из специфических черт «Болгарского этимологического словаря» («Българския етимологичен речник», далее БЕР) является включение в него широких пластов диалектной лексики, засвидетельствованной на всей территории бытования болгарского языка. Эта лексика не только сохраняет большое количество праславянских и субстратных по происхождению слов, но также изобилует заимствованиями из соседних балканских языков, возникших в результате интенсивных межъязыковых и межнациональных контактов на Балканах.

При изучении конкретного диалекта необходимо учитывать как его собственно языковые особенности, так и экстралингвистические условия его развития. Среди лингвистических проблем, которые требуется решить при этимологизации болгарской лексики в рамках БЕР, важное место занимают вопросы, связанные со славяно-балканской языковой интерференцией. Возникает, в частности, вопрос о взаимодействии между болгарским языком, славянским по происхождению,

и контактирующими с ним балканскими языками — греческим, румынским, албанским и турецким. Это взаимодействие проявляется на всех уровнях болгарского языка. Основные способы фонетической и морфологической адаптации балканских иноязычных элементов в болгарском языке, прежде всего греческих и турецких, изучены достаточно подробно. В докладе будут рассматриваться некоторые конкретные примеры, иллюстрирующие более специфичные случаи славяно-балканской интерференции и связанные с этим этимологические проблемы.

Особый случай болгарско-турецкой ф о н е т и ч е с к о й интерференции — появление неисконного гласного *ì* в родопских диалектных словах турецкого происхождения: *kìbulám* ‘принимать, соглашаться’, *kìyretám* ‘прилагать усилия, трудиться, положить начало’, *tìvlám* ‘откармливать’, *tìvla* ‘конюшня’ и др. На основе системно-структурного анализа Т. А. Тодоров установил закономерный характер этого явления в родопских говорах и объяснил его внутриязыковые причины [см.: Тодоров, 1993, 281–284]. Результаты этого исследования имеют большое значение для определения исконного славянского или неславянского (турецкого) происхождения подобных слов.

Одно из типичных проявлений славяно-балканской л е к с и ч е с к о й интерференции связано с возникновением омонимических отношений в лексической системе болгарского языка, при которых формально совпадают славянские и неславянские по происхождению единицы. Примером болгарско-греческой интерференции такого типа является славянское по происхождению слово *(x)áro*, употребляемое обычно в сочетании *стáро (x)áro* ‘старый и противный человек, старый хрыч’, и заимствование из греческого *(x)áro* — название злого духа, демонического существа. Этимологический анализ, подкрепленный богатым фольклорным и этнолингвистическим материалом, показывает, что два этих слова безосновательно идентифицируются в болгарских и славянских лексикографических источниках как слова либо греческого, либо славянского происхождения [см.: Дейкова, Борисова, 2015].

Как результаты интерференции л е к с и к о - с л о в о о б р а з о в а т е л ь н о г о типа могут быть квалифицированы случаи гибридных образований, в которых наблюдается вторичное формальное совпадение финали с болгарским суффиксом, что затрудняет поиск действительного иноязычного этимона. Например, диал. *търйчки* мн. ч.

‘вид крупной рыбы’ (с. Съчанли района Гюмюрджинско¹) образовано с помощью уменьшительного суффикса *-ка*, мн. ч. *-ки*, от тур. диал. *tiriça* ‘рыба сардинка’ с изменением безударного *и* (*i*) в первом слоге на *ъ* и с вероятным переосмыслением финали как уменьшительного суффикса *-içk(a)*.

Еще одна проблема этимологизации болгарских слов связана со случаями лексико-семантической интерференции, при которой болгарские лексемы расширяют объем своей семантики и развивают новые значения под влиянием семантической структуры соответствующих иноязычных эквивалентов. В качестве примера приведем болг. *тегля* ‘тянуть, натягивать’ и т. п., но также и ‘взвешивать на весах’ (< праслав. **teġliti*), также и синонимичное диал. *тіргам* ‘мерить, измерять, тянуть’ (Битолско; Геров; Костурско; Кукуш; Църско), *тіргам се* ‘мериться, тянуться’ (Геров; Охрид; Прилепско), которое совпадает с болгарским, славянским по происхождению *тіргам* ‘тянуть, натягивать, дергать’ (< праслав. **tyrgati*). Эти глаголы калькируют тур. *çekmek* в значении ‘тянуть, дергать, волочить’ и ‘поставить на весы, взвешивать, мерить’, что ставит вопрос об их представлении в самостоятельных словарных статьях. Во многих случаях трудно решить, идет ли речь о семантическом калькировании или о развитии значения на болгарской почве и о синонимическом параллелизме.

Дейкова Х., Борисова Д. Бълг. *xàro* ‘стар и противен човек, дъртак’ — гръцка заемка или домашна дума? // Съвременните измерения на едно научно прозрение. Доклади от Международната научна конференция в чест на 150-тата годишнина от рождението на Ватрослав Облак (1864–1896). София, 2015. С. 174–180.

Тодоров Т. А. Славянского ли происхождения болг. диал. *tivlām* ‘откармливать’? // Балканско езикознание. 1993. № (3) 36. С. 281–284.

Пер. с болг. С. О. Горяева

¹ Ныне село уже не существует; район относится к территории современной Греции. — Прим. перев.

Т. Н. Дмитриева

Уральский федеральный университет, Екатеринбург
profidmitan@yandex.ru

Топонимия реки Пелым на рукописных картах А. Регули 1844–1845 гг.

Известным венгерским ученым Анталом Регули, одним из первых исследователей языка и топонимии манси и других народов Северного Урала, в 1844–1845 гг., во время его длительной экспедиции на Северный Урал, было составлено несколько рукописных карт, на которые нанесены многочисленные топонимы, записанные им у местных жителей. В 1846 г. на основе этих карт (пять из них хранятся в архиве Венгерской академии наук) А. Регули составил «Этнографическо-географическую карту Северного Урала» [см.: Reguly, 1846; Архипова, Ястребов, 1990, 112–117; Карелин, 1996; Секей, 2012].

Рукописные карты А. Регули, содержащие обширную топонимическую информацию — более подробную, чем на итоговой карте, — представляют большую ценность как уникальный источник XIX в. по мансийской, ненецкой и хантыйской топонимии Северного, Приполярного и Полярного Урала и Зауралья.

Топонимы карты № 1 (район верхней Лозьвы и прилегающих территорий) проанализированы Г. Секеем [Секей, 2012]. Предметом нашего внимания является топонимия бассейна р. Пелым, левого притока р. Тавда, нанесенная на карты № 1–4 [Reguly, 1844a, b, c; 1845]. Это территория, на которой коренное мансийское население в течение более чем трех столетий испытывало сильное русское влияние и окончательно обрусело к 1960-м гг.

В целом на рукописных картах Регули № 1–4 зафиксированы названия более чем 70 географических объектов, расположенных в бассейне р. Пелым, в том числе рек (40), селений (20), гор (6), озер (4), одного мыса. В исследованиях по топонимии Пельма этот материал еще не использовался, однако сведения, собранные Регули, могут служить подтверждением достоверности уже имеющихся этимологий пелымских топонимов (Г. П. Вуоно, Г. В. Глинских, А. К. Матвеев), способствовать их уточнению, помочь в интерпретации тех названий, которые пока не удалось этимологизировать.

© Дмитриева Т. Н., 2015

В связи с этим приобретает особую значимость сопоставление материалов, записанных А. Регули в середине XIX в., с данными других исторических и современных источников: экспедиционных записей Г. Миллера (1742), Б. Мункачи (1888–1889), А. Каннисто (1901–1906), карт XX–XXI вв., полевых материалов Топонимической экспедиции Уральского университета (1966–1974). Такое сопоставление позволяет проследить процесс формирования и развития топонимической системы региона с XVIII в. до наших дней.

Манси, жившие по нижнему и среднему течению р. Пелым, говорили на пелымском диалекте, относящемся к западной группе мансийских диалектов, которые исчезли вследствие русской ассимиляции мансийского населения; верхнее течение Пелыма осваивали сосвинские и верхнелозьвинские манси — носители говоров донные существующего северного диалекта мансийского языка. На современных картах и в прочих современных источниках адаптированные русским языком пелымские топонимы унифицируются под северно-мансийские. Топонимия Пелыма, записанная Регули, хорошо отражает особенности пелымского диалекта. Лишь в отдельных случаях качество записи не позволяет восстановить исходный мансийский вариант названия.

Продemonстрируем на одном примере возможность по-новому взглянуть на мансийские топонимы Пелыма благодаря материалам карт Регули.

Talimje (карта № 4) — лев. пр. р. Пелым в средн. теч. // Ср.: *Tolm-ja* [Миллер, 228], *Талымья* [ТК ТЭ]. На современных картах это р. *Талым* (также **Толум*: ср. *Толумталяхъянкалма* — болото, из которого вытекает река; р. *Мань-Толум* — левый приток этой реки [см.: Матвеев, 2008, 264]).

Г. В. Глинских связывает формы *Талымья* [ТК ТЭ], *Талымье* [ГАСО, ф. 49, оп. 1, 42] с манс. сев. *tāl*, конд. *toaol*, ср.-конд. *taaol*, ср.-лозьв. *toaol*, сосьв. *tāl* и т. д. ‘хвоя’; -ым ~ *ыу* — суффикс имен обладания, ср. сев. *талыу*, юконд. *та’лэн*, *та’лэн* ‘хвойный’; я (е) — ‘река’; буквальный перевод названия — «Хвойная река» [Глинских, 1978, 166]. Согласно А. К. Матвееву, основа названия *Талым* также соответствует манс. сев. *та́лынг* ‘хвойный’, а *Толум* — пелым. *толынг* ‘то же’. Это толкование предполагает, что географический термин я ‘река’ в топониме утрачен, хотя нельзя исключить, что *Талым* (**Толум*) — домансийское название с топоформантом -ым (-ум), ср. *Пелым* [Матвеев, 2008, 264].

Материалы Регули представляют название в полной двухкомпонентной структуре, с соответствующим детерминантом: пелым. *-je* ‘река’. Что касается этимологии атрибутива, приведем манс. сев. *tol* (с кратким *o!*), ср.-лозъв. *tal* ‘тающий (талый), сырой, свежий’ и глагол в значении ‘таять’: сев. манс. *toli* (~ *tâli*) [*toli*], ср.-лозъв., н.-лозъв. *tâli* ~ *tali*, пелым. *tali* и др. [МуК, 651]. Из этого следует, что варьирование гласных *a* / *o* в топониме действительно отражает диалектный вокализм, при этом *Талым* — форма пельмского диалекта, *Толым* — сосьвинского. В основе топонима используется образованное по существующей в мансийском языке модели причастие прошедшего времени в значении ‘растаявший, талый’. Таким образом, возможно восстановить пелым. **taləm je* «Талая река», т. е. река, которая плохо замерзает зимой. Аналогичная основа представлена в субстратном топониме *Толчош* «Талый ручей» (басс. р. Южная Сосьва) [Глинских, 1972, 227; 1978, 169; Смирнов, 1997, 189]. Фиксируется эта основа и в живой мансийской топонимии: в басс. р. Лозьва — *Тол я* «Талая река» (три объекта, один из них на карте назван по-русски: *Талица*); в бассейне Северной Сосьвы (верх. теч.) — *Тол кёрас* «Талая скала» (здесь не застывает полынья); *Тол лох* «Талый залив (лог)»; *Тол я* (два объекта) «Талая река» [Матвеев, 2011, 74, 194].

Архипова Н. П., Ястребов Е. В. Как были открыты Уральские горы. Свердловск, 1990.

ГАСО — Государственный архив Свердловской области (Екатеринбург).

Глинских Г. В. Русская топонимия мансийского происхождения в бассейне реки Тавды : дис. ... канд. филол. наук. Свердловск, 1972.

Глинских Г. В. Мансийские субстратные топонимы в русских говорах по р. Тавде // Этимология русских диалектных слов. Свердловск, 1978. С. 109–179.

Карелин В. Г. Географические открытия венгра на Урале // Уральское краеведение (Уральский областник. № 5). Екатеринбург, 1996. С. 52–56.

Матвеев А. К. Географические названия Урала : топоним. словарь. Екатеринбург, 2008.

Матвеев А. К. Материалы по мансийской топонимии Северного Урала. Екатеринбург, 2011.

Миллер Г. Ф. Путешествия 1742 года // Северо-Западная Сибирь в экспедиционных трудах и материалах Г. Ф. Миллера. Екатеринбург, 2006. С. 221–229.

Секей Г. Топонимия верхнего течения р. Лозьва и прилегающих территорий на рукописном плане карты Антала Регули (Karte Nro. 1. 1844) // Вопр. ономастики. 2012. № 2 (13). С. 18–42.

Смирнов О. В. Русская топонимия северной части горнозаводского Урала : дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 1997.

ТК ТЭ — топонимическая картотека ТЭ УрФУ (кафедра русского языка и общего языкознания УрФУ, Екатеринбург).

MuK — *Munkácsi B.* Wogulisches Wörterbuch (Wogulisches Wörterbuch gesammelt von Bernát Munkácsi, geordnet, bearbeitet und herausgegeben von Béla Kálmán). Budapest, 1986.

Reguly A. Karte Nro I. Das gebiet der oberen Lozva. Vsevolodskoi. 1844. Jan., MTAK Kézirattár, M. Nyelvtud. 2drét 4. r., 5. sz., Budapest, 1844a.

Reguly A. Karte Nro II. Karte des Flussgebietes der nördl. Sossva. nach Alexei Kasimovs Nachrichten. Vsevolodskoi. 1844 Januar., MTAK Kézirattár, M. Nyelvtud. 2drét 4. r., 5. sz., Budapest, 1844b.

Reguly A. Karte Nro III. Manysi oder Wogulen. das Flussgebiet der Tavda und Konda mit einheimischen und russischen Namen. in Pelim 1844, im Mai, MTAK Kézirattár, M. Nyelvtud. 2drét 4. r., 5. sz. Budapest, 1844c.

Reguly A. Karte Nro IV. Quellengebiet der nördl. Sossva, des Pelim und der Tapsija. Zusammengestellt in Beresov, MTAK Kézirattár, M. Nyelvtud. 2drét 4. r., 5. sz. Budapest, 1845.

Reguly, 1846 — Ethnographisch-geographische Karte des Nördlichen Ural Gebietes entworfen auf einer reise in den jahren 1844–1845 von Anton Reguly. St. Petersburg, 1846.

В. Е. Добровольская

Государственный республиканский центр русского фольклора, Москва
dobrovolkska@inbox.ru

«Кого как звать, только Бог знает, а человек и ошибиться может»:

запреты и предписания, связанные с имянаречением

Имянаречение является одним из главных инициационных актов, которые переводят новорожденного из состояния не-человека в состояние человека и придают ему определенный социальный статус. Хорошо известно, что до получения имени ребенок не считается человеком, а иногда рассматривается как демоническое существо, опасное для окружающих. Если такие дети умирают, то одним из способов

успокоить их души является их имянаречение в ответ на просьбу «дать им имя».

Правила выбора имени хорошо исследованы. Самым распространенным является наречение по имени христианского святого, которому посвящен ближайший к рождению ребенка день. Другие правила действовали в тех случаях, когда ребенок рождался слабым, больным, если в семье умирали дети, и в случаях, когда родители хотели изменить пол следующего младенца.

В фольклорной традиции Центральной России широко распространено представление о том, что, как назвать человека, решают не его родители, а Бог. Довольно часто встречаются рассказы о том, что ребенка хотели назвать одним именем, а по некой необъяснимой случайности назвали другим. Так, многие исполнители вспоминали, что в их семьях до революции и в первые годы Советской власти при крещении ребенка священник мог по ошибке назвать ребенка не тем именем: «Вот мой брат, он Софрон. Ну, вот, прям, что за имя. Его Иваном должны были назвать. Он как раз в апреле <родился>, ну Иваном, все знали, что Иваном. И священник сказал. А крестить начал и нарек Софроном. И сам говорил, что не знает, почему так сказал. Бог так распорядился» (Ивановская обл.). Подобные случаи известны и в более позднее время.

Считается, что человек не может знать будущего имени ребенка, но существует ряд правил, согласно которым всегда можно «правильно» назвать младенца и тем самым выбрать ему судьбу и определить дальнейшую жизнь.

Прежде всего, ребенка нельзя называть именем только что умершего родственника из предыдущего поколения. Если назвать младенца именем умершего отца, дяди или других родственников — ровесников его родителей, то ребенок рано умрет. Однако если кто-то из этих людей умер не от болезней или несчастного случая, а во время войны, то наиболее правильным считалось назвать новорожденного именно по убитому. Этим объясняется наличие у военных и послевоенных детей имен, распространенных в 1920-е гг. Наши исполнители уверенно говорили о том, что в этом случае Бог к сроку жизни ребенка прибавляет еще и недожитые годы убитого: «такие долго живут, за себя и за того, кто погиб» (Тверская обл.).

Существует предписание называть ребенка именем умершего родственника из поколения дедушек и бабушек. С одной стороны, считают,

что в этом случае ребенок получает дополнительную защиту: «Вот имя дали, у человека ангел-хранитель есть, а если именем бабушки назвали или деда, то его ангел-хранитель заступится, поможет» (Ярославская обл.). С другой стороны, в роли помощников выступают и сами умершие родственники. Помимо этого, верят, что в этом случае «Бог имени пропасть не даст» (Владимирская обл.) или «имя не заветрится» (Тверская обл.). Данное представление связано с тем, что Бог придумал некое определенное количество имен, которые люди должны использовать. Если какое-то имя перестает употребляться, уходит из обихода, то «ангелы плачут», потому что людей, некогда носивших это имя, «никто не помянет», так как человека поминают не только в церкви, но и называя его имя. Верили, что чем более распространенное имя у человека, тем больше его поминают и тем сильнее божественная и ангельская защита.

При наречении детей именем бабушки или дедушки необходимо было соблюдать определенные правила. Так, первого мальчика в семье нельзя было называть именем отца матери. Его обычно называли в честь деда со стороны отца. Существовали исключения из этого правила. Например, если имя деда совпадало с именем святого, которому был посвящен день, предшествовавший дню рождения ребенка, то ребенка могли назвать либо именем другого деда, либо любым другим именем, так как считалось, что «назад называть нельзя» (Тверская обл.), потому что ребенок не будет расти или не начнет говорить.

Особое отношение было к наречению ребенка именами родителей: первого сына нельзя называть именем отца, а первую дочь — именем матери. Считалось, что если нарушить данный запрет, то умрет либо взрослый, либо ребенок. Поэтому именами родителей обычно называли второго или третьего ребенка. В то же время существовал запрет на одинаковые имена, поэтому в рамках населенного пункта старались не называть детей одного возраста одинаковыми именами, так как верили, что в этом случае дети жить не будут.

Итак, для Центральной России характерно представление о том, что имя выбирает не человек, а Бог, что только он знает «правильное» имя. На данной территории широко распространены запреты и предписания, регулирующие правила имянаречения и способствующие выбору имени, которое защитит человека от негативных воздействий.

Энантioseмия производных слав. **krějati*

Энантioseмией принято называть развитие противоположных значений в семантической структуре одного и того же слова, что чаще всего связано с возможностью разной оценки одного и того же признака (*гордый* ‘обладающий чувством собственного достоинства’ и ‘высокомерный’). Нас интересует конкретный случай развития противоположных значений не в признаковой, а в акциональной семантике: наличие у производных слав. **krějati* значений ‘выздоровливать, приходить в себя, набираться сил’ (рус. диал. (ряз.) *креять*, укр. *кріяти*, блр. *кряць*, чеш. стар. *křati, křiti*) и ‘слабеть, терять силы; чахнуть’ (болг. *крея, крейъ*, рус. диал. (нижегор.) *хрять*) при болг. *крѣне* ‘слабость, изнеможение’ [Даль, IV, 1240; Дювернуа, 1045; СРНГ, 15, 241; ЭССЯ, 12, 130].

Относительно первичной семантики в этимологическом гнезде слав. **krějati* нет единого мнения: Вайян полагал, что первичным было значение ‘чахнуть’, О. Н. Трубачев видел в данном случае аналогию с развитием семантики у производных слав. **krěsati*, где исходной была семантика порождения, а значение лишения признака, как предполагалось, развилось у глагола **krějati* ‘набираться сил’ в сочетании с привативной приставкой *ot-* (**otkrějati*), сочетание с приставкой *vъz-* привело соответственно к усилению положительного значения **vъzkrěviti se*, т. е. для рассматриваемого случая возникновения противоположных значений у однокорневых слов предполагается первоначальное префиксальное их употребление с последующей депрефиксацией [см.: ЭССЯ, 12, 131]. Представляется, что в данном случае есть и другое решение вопроса о причинах полярности значений однокорневых слов.

Слав. **krějati* с точки зрения формального происхождения рассматривается как собственно славянское преобразование глагольной основы и.-е. **krējā-* в структурно итеративно-дуративный глагол с чередованием **krějati, *krъjati*. Неслоговое *i / j* в и.-е. **krējā-* и, соответственно, в слав. **krějati* определяется как вставное, закрывающее зияние (**krē-ā-*) [ЭССЯ, 12, 131; Walde, I, 286]. В славянских языках

обнаруживаются однокорневые образования с другим согласным расширением корня: слав. **krě-va-ti* / **kriviti*, представленное в с.-хорв. диал. *кревати* ‘набираться сил, поправляться’, словен. *krévati* ‘выздоровливать’, в.-луж. *křewić*, стар. *křawić* ‘оживлять’ и, возможно, болг. *крѣвам* ‘поднимать; просыпаться’ (если это не производное от **kręt-* [БЕР, 728; ЭССЯ, 12, 140; Skok, II, 192]). И среди производных слав. **krě-va-ti* можно, вероятно, обнаружить лексемы с иным, противоположным значением: так, ц.-слав. *крѣвати* (*krěvati*) соотносится по семантике с лат. *quiescere, morāri* (Miklosich) [ЭССЯ, 12, 140], возможно, сюда же и блр. *кревинький* ‘слабенький, малосильный’, *кревносць* ‘ломкость, слабость’ [Носович, 252].

Сравнение семантических структур производных **krējati* / **krĵati* и **krěvati* / **kriviti* показывает, что для лексем со значением ‘выздоровливать, приходить в себя, набираться сил’ обязательна пресуппозиция ‘преодолевать имевшуюся слабость, утрату сил’. Наличие у однокорневых образований реализации значений ‘слабеть, терять силы; чахнуть’ позволяет предположить, что в противоположных значениях производных рассматриваемых этимологических гнезд реализовалась исходная семантика цикличности состояний ‘набираться сил / утрачивать силы’. На эту мысль наводят предполагаемые генетические связи слав. **krējati* / **krĵati*, **krěvati* / **kriviti* с лат. *creo, creāre* ‘творить, создавать, учреждать; порождать’ и *crēsko, crēscere* ‘расти, вырастать, разрастаться, превращаться’ («...In frondem crines, in ramos brachia crescent»). Происхождение лат. *creo* связывают с и.-е. **krējā* ‘рост’ (Остхоф и др.), считая его отыменным каузативом со значением ‘wachsen machen’, ‘Wachstum hervorrufen’ [ЭССЯ, 12, 131; Vaan, 142, 144; Walde, I, 286, 288]. Если семантика лат. *creo* и *crēsko* связана с выражением идеи роста, порождения, то семантическая структура образованного от того же варианта корня лат. *crēber* (<**k'rē-dhro-s*) означает ‘частый, густо растущий’ и ‘часто повторяющийся; следующий друг за другом’ (*pocula crebra* ‘бокалы за бокалами’), *crēbrō* ‘часто, многократно’, т. е. семантика роста сочетается с семантикой чередования (впрочем, это относится и к семантике порождения).

Синкретичность представления семантики роста и семантики чередования просматривается и в имени богини *Ceres, Cereris* (*Cerus*) при учете сфер ее влияния: Церера (Церус) — древнейшая итальянская и римская хтоническая богиня производительных сил земли,

произрастания и созревания злаков, а также подземного мира (ср. *Cerus manus* ‘creator bonus’), впоследствии Церера считалась богиней злаков и урожая. Церера, Либера, Либера — триада богов плебеев, в храме, где Церера заменила богов Сею, Сегетию, Мессию, Тутулину, был подземный алтарь Конса. В III в. до н. э. Церера сближается с Деметрой, культ ее эллинизируется [Мифы народов мира, II, 616–617]. Как известно, объединение функций божества производительных сил земли и подземного мира — мифотворческое представление природной цикличности. Имя *Ceres*, в отличие от *creo* и *crēscō*, образовано от другой, полной ступени корня (**k’er-*) и включается в обширное поле предполагаемых однокорневых образований в целом ряде индоевропейских языков (алб., арм., балт., герм., греч.), связанное с выражением понятий «семя», «сеять», «расти», «корм / кормить, питать», а также «производить, порождать» (арм.) [Pokorny, I, 577].

Таким образом, мы полагаем, что в семантике слав. **krějati* / **krějati*, **krěvati* / **kriviti*, где представлены значения ‘набираться сил’ и ‘утрачивать силы’, можно видеть следы развития семантики и.-е. **krējā* ‘рост’ как ‘производительная сила земли, реализующаяся в чередовании состояний *quiescere* / *crescere*’. Реконструкция такой исходно синкретичной семантики италийско-славянской изоглоссы, производной от **krē-j-* (вариант и.-е. **k’er-* с незакономерным отражением и.-е. **k-*палатального в славянских) поддерживается, на наш взгляд, и семантической «специализацией» производных индоевропейской основы **k’er-dh-* (балт., герм., греч., др.-инд., кельт., слав.), реализующихся в значениях ‘череда, очередность’, ‘род, семейство’, ‘стадо; толпа’ (ср. [ЭССЯ, 12, 130; Walde, I, 288–289]).

БЕР — Български етимологичен речник : в 3 т. / съст. В. И. Георгиев и др. София, 1982–1986.

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. СПб. ; М., 1903–1909 (1994).

Дювернуа А. Словарь болгарского языка по памятникам народной словесности и произведениям новейшей печати : в 2 вып. М., 1885–1889.

Мифы народов мира : энцикл. : в 2 т. М., 1980.

Носович И. И. Словарь белорусского наречия. СПб., 1870.

СРНГ — Словарь русских народных говоров. М. ; Л. ; СПб., 1965–. Вып. 1–.

ЭССЯ — Этимологический словарь славянских языков: праславянский лексический фонд. М., 1974–. Вып. 1–.

- Pokorny J.* Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern, 1959.
- Skok P.* Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Kn. 1–4. Zagreb, 1971–1974.
- Vaan, de M.* Etymological Dictionary of Latin and the other Italic Languages. Leiden ; Boston, 2008.
- Walde A.* Lateinisches etymologisches Wörterbuch. Bd. 1–2. Heidelberg, 1938–1954.

Е. В. Душечкина

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург
dushechkina@yandex.ru

Антропонимическое пространство русской литературы XVIII в. (заметки к теме)

Ономастикон русской литературы XVIII в. поистине уникален. По количеству и разнообразию имен он несравним с именниками ни одного другого столетия. Объяснение этому феномену следует, видимо, искать в предельно интенсивной и разнонаправленной работе писателей, в том числе и в области имятворчества. Количество имен росло в процессе освоения мировой литературы, а стремительная эволюция, сопутствовавшая этому процессу, мобилизовала творческие силы писателей. Представленный нами обзор демонстрирует многообразие ономастических полей в этот период, их принадлежность к различным стилистическим системам, которые сменяли друг друга, а порой сосуществовали одновременно. Этот обзор далеко не полон и требует дальнейшей разработки, классификации и приведения примеров, по необходимости сведенных здесь к минимуму.

1. Классицистический канон требовал включения в тексты имен древнегреческих и римских персонажей. Наряду с мифологическими, использовались имена исторические (поэтов, полководцев, политиков — *Гораций, Персий, Ювенал*), которые нередко выполняли функцию заместителей имен русских деятелей, служа смысловыми параллелями к эпохе и героям античного мира, на который ориентировался

классицизм («Российский только *Марс*, *Потемкин*, / Не ужасается зимы» <Г. Р. Державин>).

2. Восприятие Библии русской культурой XVIII в. отличалось от европейского, просветительского, характеризовавшегося значительным скептицизмом. Традиционное православие, напротив, требовало от литературы постоянной работы с библейским ономастическим полем — отсюда многократные переложения псалмов Давида, имена библейских персонажей в разных контекстах (*Адам*, *Ева*, *Иисус Навин*, *Моисей*, *Самсон*, *Соломон*), частые обращения к Богу («О, *Божже*, что есть человек...») <М. В. Ломоносов>).

3. Возникший интерес к национальному фольклору и мифологии породил желание (или необходимость?) создать пантеон русских богов: *Дажьбог*, *Лада*, *Лель*, *Мокошь*, *Перун*, *Сварог*, *Хорс* — см. «Абевега русских суеверий» М. Д. Чулкова. Имена подобных божеств — нередко псевдорусские — еще с начала века стали использоваться в литературе (например, жрецы в шутотрагедии Ф. Прокоповича «Владимир»: *Жеривол*, *Куroyд*, *Пияр*).

4. Классицистическая трагедия, опиравшаяся на древнерусский материал, обращалась к именам князей (*Владимир*, *Мечислав*, *Мстислав*, *Ольга*, *Святослав*, *Храбрый*, *Ярослав*) и нередко присваивала князьям имена мифологические (*Завлох*, *Кий*, *Оснельда*, *Хорев* <А. П. Сумароков, «Хорев»>).

5. Ономастикон комедий характеризовался значимыми, «говорящими» именами, прежде всего искусственно созданными фамилиями (*Бульбулькин*, *Кривосудов*, *Паролькин*, *Прямиков*, *Хватайко* <В. В. Капнист, «Ябеда»>). Эта традиция фамилиетворчества перешла в комедию XIX в. (Грибоедов, Островский и др.).

6. Традиция торжественной похвальной оды, естественно, нуждалась прежде всего в именах императоров и императриц (*Анна*, *Екатерина*, *Елисавета*, *Павел*, *Пётр*), а также в именах героев русской воинской славы (*Потёмкин*, *Румянцев*, *Суворов*).

7. По словам Кантемира, авторы сатир обычно отдавали предпочтение «вымышленным именам» (*Критон*, *Лука*, *Медор*, *Силван*), что, впрочем, далеко не всегда соответствовало реальности, вторгавшейся в этот жанр из жизни (в комментариях того же Кантемира *Егором* назван известный во времена сатирика сапожник, а *Рексом* — портной).

8. Эклоги, элегии, идиллии заполнялись выдуманными сентиментальными именами, иногда — значимыми («*Дориза* от себя *Дамона* посылала»; «*Клариса* некогда с *Милизой* тут гуляла»; «*Селинте Палемон* меня предпочитает» <А. П. Сумароков>; «Не сожигай меня, *Пламида*», «Приди ко мне, *Пленира*»; «О ты, *Люсинька*, любезна!» <Г. Р. Державин>).

9. Реальные имена (друзей, знакомых, родственников, современников) или их инициалы с указанием рода занятий встречаются в заглавиях стихотворений на смерть, рождение, в посланиях, поздравлениях и пр. («На смерть сестры авторовой *Е. П. Бутурлиной*», «Стихи *Ивану Афанасьевичу Дмитревскому*», «Стихи г. хирургу *Вульф*», «Цидулка к детям покойного профессора *Крашенинникова*», «Письмо ко князю *Александру Михайловичу Голицыну*» <А. П. Сумароков>).

10. Масштабный корпус имен дают романы (переводные, переработанные и оригинальные), «расплодившиеся» во 2-й половине века. При наличии запутанной фабулы и многочисленности персонажей имена присваивались всем участникам действия, даже второстепенным и третьестепенным. Приведем, например, именник романа П. Захарьина «Приключения Клеандра, храброго царевича Лакедемонского, и Ниотильды, королевы Фракийской» (1-е изд. — М., 1788): *Аванизий, Агерон, Алвинизий, Алмий, Антипатилла, Армелина, Арфимир, Аханиза, Галмилуд, Диана, Илиодор, Иракл, Исмин, Карон, Клавдивир, Клавидий, Кладивир, Клеандр, Клор, Ниотильд, Нира, Орфимир, Рамирр, Селифокл, Тиграна, Филомен, Хорибда, Якинф*.

11. Дорога к литературному именнику XIX в. в значительной мере была проложена сентиментальными повестями, и прежде всего — повестями Карамзина, включавшими имена канонические (*Алексей, Евгений, Лиза, Наталья, Юлия*), которые получили в русской прозе широкое распространение. Литература XIX в. существенно изменила предшествовавший ей ономастикон, свидетельством чему является традиция русского реалистического романа.

О некоторых «волжских» заимствованиях в венгерском языке

В венгерском языке есть ряд заимствованных слов, которые обнаруживаются также в языках Волжско-Уральского региона, особенно часто — в чувашском и пермских языках. Традиционно подобные лексемы считаются древнебулгарскими заимствованиями. Уже отмечалось, например, что в удмуртском языке встречаются те же слова болгарского происхождения, что и в венгерском [см.: Кельмаков, 1993].

Данное исследование посвящено тем лексемам, которые известны только в языках Волжско-Уральского региона и в венгерском. В эту группу, например, входят слова со значениями ‘дергач’ (чув. *карйи*, мар. *карш*, морд. *керси*, манс. *харс*, венг. *haris*), ‘свинья’ (чув. *сысна*, венг. *disznó*), ‘серп’ (чув. *супла*, венг. *sarló*) и др. Как считается, эти слова, болгарские по происхождению, попали некогда как в венгерский, так и в древнепермский языки (из тюркских языков они засвидетельствованы только в чувашском [см.: Егоров, 1971, 15]).

Оценивая эту точку зрения, необходимо обратить внимание на то, что почти все интересующие нас лексемы связаны со сферами земледелия и животноводства. Это выглядит несколько парадоксально, поскольку народы (по крайней мере, их часть), якобы заимствовавшие эти слова, были издавна знакомы с сельскохозяйственными традициями — в отличие от болгар, которые были кочевниками и в языке которых вряд ли могла самостоятельно развиться терминология, связанная с земледелием и животноводством.

Отметим, что в удмуртском языке, как и в венгерском, многие сельскохозяйственные термины, например названия овощей, считаются болгарскими по происхождению; в этом языке немало также «булгарской» социально-политической лексики, хотя, с другой стороны, нет терминов, связанных с торговлей и военным делом [см.: Напольских, 2006; Rédei, 1964]. По мнению В. Г. Егорова, все эти слова являются скорее «волжскими» («ареальными»), чем «булгарскими» («этническими»);

возможно, они вовсе не являются тюркскими, и их происхождение неизвестно [см.: Егоров, 1964, 129].

Предположение В. Г. Егорова может быть принято, поскольку в Приволжье, по данным археологии, земледелие было известно еще до прихода булгар благодаря носителям именьковской археологической культуры. Более того, установлено, что булгары унаследовали технологии и традиции сельского хозяйства как раз от «именьковцев» [см.: Фахрутдинов, 1975, 34].

Таким образом, история Волжско-Уральского региона выглядит несколько иначе, чем это представлялось ранее: в ней больше «ареальности» и меньше «этничности». Вышеназванные слова свидетельствуют о «волжско-уральском» характере культуры древних мадьяр.

Егоров В. Г. Этимологический словарь чувашского языка. Чебоксары, 1964.

Егоров В. Г. Современный литературный чувашский язык. Чебоксары, 1971.

Кельмаков В. К. Удмуртский язык // Языки мира. Уральские языки. М., 1993. С. 239–255.

Напольских В. В. Булгарская эпоха в истории финно-угорских народов Поволжья и Предуралья // История татар с древнейших времен : в 7 т. Т. 2 : Великая Булгария и Великая Степь. Казань, 2006. С. 100–115.

Фахрутдинов Р. Г. Археологические памятники Волжско-Камской Булгарии и ее территория. Казань, 1975.

Rédei Károly. Vannak-e az előmagyar-permi érintkezésnek nyelvi nyomai? // Nyelvtudományi Közlemények. 1964. № 66. O. 253–261.

П. Дэмбовяк, Б. Островский, Я. Ванякова

Институт польского языка Польской академии наук, Краков (Польша)
pdebowskiak@ijp-pan.krakow.pl, bogumil@ijp-pan.krakow.pl, wisia@ijp-pan.krakow.pl

Из опыта подготовки этимологических комментариев к «Большому словарю польского языка (онлайн)»

В конце 2004 г. Комитет языкознания ПАН обратился к группе лингвистов и некоторым научным учреждениям с предложением подготовить общую концепцию современного толкового «Большого словаря польского языка»¹, который пришел бы на смену уже значительно устаревшему «Словарю польского языка» под общей редакцией В. Дорошевского [SJP]. На заседании Комитета языкознания ПАН 3-го октября 2005 г. был представлен предварительный проект словаря. С самого начала концептуальная работа проходила под эгидой Института польского языка ПАН, который предоставил ей не только организационную поддержку, но и научное обоснование. Главная идея авторов проекта заключалась в том, что словарь будет доступен в Интернете бесплатно (по адресу <http://www.wsjp.pl>), при этом его бумажная версия не предусматривается.

В ходе дискуссий было решено, что в словарь войдет лексика, отраженная в литературных произведениях и текстах после 1945 г., причем в первую очередь работа сосредоточится на базовом (основном) лексическом составе польского языка, а в дальнейшем словарь будет периодически пополняться.

В соответствии с графиком, к концу 2012 г. были разработаны 15 000 наиболее часто используемых слов польского языка² — их перечень был получен с помощью компьютерного анализа текстовых корпусов, имеющихся к 2007 г.

В 2013 г. словарь получил финансовую поддержку³, которая обеспечит работу в течение 2013–2018 гг. Этого удалось добиться благодаря усилиям руководителя проекта — профессора Петра Жмигродзкого

¹ Далее — БСПЯ, что соответствует польскому сокращению WSJP («Współczesny słownik języka polskiego»).

² Эта часть подготовки БСПЯ состоялась при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Польши в рамках проекта для развития науки R 17 004 03.

³ В рамках средств Национальной программы развития гуманитарных наук <Narodowy Program Rozwoju Humanistyki>.

(директора Института польского языка ПАН), поддержке известных деятелей науки и культуры, различных учреждений и, прежде всего, Сената Польши, который установил над словарем почетный патронат⁴. До 2018 г. словарь должен «вырасти» до объема в 50 000 современных наиболее употребительных единиц.

Чем отличается БСПЯ от других словарей современного польского языка, доступных в сети?

Прежде всего, это первый электронный словарь польского языка, который оснащен широкими возможностями для селективного извлечения данных. В словаре дается полная информация о словоизменении — указываются все формы склоняемых и спрягаемых слов. В БСПЯ кроме примеров-цитат приводятся коллокации (т. е. словосочетания, имеющие признаки синтаксически и семантически целостных единиц). Значения заглавной лексической единицы распределены согласно оригинальным принципам тематической классификации слов. В БСПЯ упорядочен способ представления явлений регулярной полисемии лексических единиц.

БСПЯ — это первый словарь, в котором дается полный лексикографический указатель в хронологическом порядке, а также этимологический комментарий.

Сначала планировалось обеспечить краткими комментариями лишь заимствованные слова. Со временем оказалось, что такой подход недостаточен. В 2013 г. П. Жмигродским была назначена группа лингвистов во главе с Я. Ваняковой (в том числе П. Дэмбовяк, Б. Островски), ответственная за подготовку принципов представления этимологических комментариев в словаре (на основании версии, предварительно подготовленной Б. Серадзкой-Базюр). В январе 2014 г. началась работа этимологической секции БСПЯ.

Ниже приводятся основные принципы обработки лексической единицы в БСПЯ — в закладке ПРОИСХОЖДЕНИЕ <POCHODZENIE>.

Общие сведения. Перед заполнением данного поля специалист должен установить, является ли этимология данного слова общей для всех его лексико-семантических вариантов, или же наблюдается

⁴ В резолюции указано: «Этот словарь имеет исключительное значение для обеспечения национальной и культурной идентичности (самобытности), для обучения молодого поколения поляков, для поддержания статуса польского языка как общенародного в эпоху господства английского языка, а также для укрепления связи с родиной поляков, проживающих за рубежом».

омонимия. Если хотя бы в одном пункте нет единства этимонов, каждый из вариантов (независимо от их количества с точки зрения семантической классификации) лексической единицы нуждается в отдельном этимологическом объяснении. Такие сведения приводятся только для самостоятельных однословных лексем, в том числе для нарицательных существительных, прилагательных, числительных, наречий, глаголов, местоимений, а также предлогов и междометий.

Родственные слова (с праславянским корнем). Для родственных слов этимологические комментарии сводятся обычно к восстановлению позднепраславянской формы, с учетом общепринятых в польской славяноведческой традиции графем и символов⁵. Для этого используются в основном данные этимологических словарей польского языка (Boryś, Ślawski, Brückner, Bańkowski), а также этимологических словарей других славянских языков и материалы словарей общеславянского языкового фонда («Этимологический словарь славянских языков», «Słownik Prasłowiański»).

В случае синхронно мотивированных слов дается лишь отсылка к производящей основе, например: **brodaty** см. *broda*, **chorągiewka** см. *chorągiew*.

Если основная словарная единица не имеет синхронной мотивации, приводятся полные сведения о ее происхождении, наподобие информации для родственных слов.

Приставочные девербальные имена существительные объясняются следующим способом:

przychód — имя существительное от приставочного глагола *przy-chodzić*; см. *chodzić*;

podbój — имя существительное от приставочного глагола *pod-bić*; см. *bić*.

Вышеуказанное правило не применяется в тех случаях, когда данное слово сводимо к общей славянской форме, ср. **pochód** — праслав. **pochoď*, **początek** — праслав. **počęťkъ*.

В случае приставочных словоформ используется отсылка к лексеме, являющейся производящей основой (здесь указываются все нужные данные о происхождении), ср. **podgromada** см. *gromada*, **podgrzybek** см. *grzyb*.

⁵ Звездочкой [*] обозначаются реконструируемые формы; графемами [ɣ], [ɭ] — слоговое [ɣ], [ɭ]; графемой [ɕ] — носовое [ɔ] и т. д.

Для существительных и прилагательных, мотивированных предложно-именным сочетанием, дается объяснение типа:

podbródek — от предложно-именного сочетания *pod brodą*; см. *broda*;

podnózek — от предложно-именного сочетания *pod nogami*; см. *noga*;

przybrzeżny — от предложно-именного сочетания *przy brzegu*; см. *brzeg*.

Единицы, образованные путем словосложения (т. е. с помощью интерфикса), снабжены информацией типа: **muchomor** — см. *much*, *morzyć*; **wodomierz** — см. *woda*, *mierzyć*.

Приставочные глаголы несовершенного вида (дуративные, итеративные формы) не объясняются отдельно; дается лишь отсылка к основной соотносительной форме совершенного вида, ср. **dokonywać** — см. *dokonać*; **przedstawiać** — см. *przedstawić*.

Это правило не применяется в случае, когда в этимологических источниках реконструируется праславянская форма: **rozcinać** — праслав. *orz-tinati; **siedzieć** — праслав. *sědēti; **tłuć** — праслав. *telkti, *tl'kq.

Иностранные слова. Для словаря отбираются такие иностранные слова, словосочетания, обороты и фразы, которые: 1) засвидетельствованы в корпусе БСПЯ; 2) общеупотребительны в польской речи, но имеют фонетическо-фонологические и/или морфологические (структурно-словообразовательные, флексивные), синтаксические или семантические свойства, чуждые польской языковой системе.

Иностранным считается слово:

- полностью заимствованное из другого языка, например, *dach*;
- частично заимствованное из чужого языка, например, *bawelna*;
- имеющее в своей структуре «родные» морфемы, но являющееся семантической калькой эквивалентного иностранного этимона (в таком случае невозможно восстановление общей славянской праформы), например, *światopogląd*, *przewodniczący*, *przymiotnik*.

Источниками таких сведений являются — кроме этимологических — словари иностранных слов, толковые словари польского языка, двуязычные словари и многие научные труды, описывающие связи польского языка с другими.

Латинские слова-этимоны (ср. *subwencja* < ср.-лат. *subventiō* ‘помощь’ < *sub-venīre* ‘приходить с помощью; предотвращать, избежать’)

приводятся в оригинальной графике (с учетом диакритических и акцентных обозначений).

В случае заимствований из языков, пользующихся нелатинской графикой (в том числе и кириллицей), основная форма этимона записывается в латинской транслитерации, например, *wraży* < рус. *vrážy* (ц.-слав. *vragъ*). В греческих формах обозначается долгота гласных: $\omega = \bar{o}$, $\acute{\omega} = \acute{o}$, $\eta = \bar{e}$, $\acute{\eta} = \acute{e}$; краткость опускается).

Основная форма этимона приводится лишь тогда, когда польская адаптация определенной лексемы отражает некоторые фонетические изменения по отношению к базовой форме языка-источника. Значение такого слова отдельно указывается лишь в случае разрушения непосредственной семантической связи между заимствованием и этимоном, ср.:

cicerone итал.;

maltretować фп. **maltraiter**;

filia лат. ‘дочь, дочка’, но в польском языке ‘отделение какого-л. учреждения, предприятия (...)’;

adwent лат. **adventus** ‘пришествие’, но в польском языке ‘в среде христиан католической церкви время ожидания, предшествующее празднику Рождества Христова, во время которого верующие готовятся к празднику’.

Кальки (семантические и словообразовательные) обычно представляются следующим способом: **przedstawić** нем. **vorstellen**; см. *przed* и *stawić*.

Слова-цитаты объясняются аналогично вышеуказанным:

ad rem лат.;

ab ovo лат. ‘от яйца’, польское значение ‘словосочетание, начинающее объяснение чего-н. с самого начала’.

Информация, касающаяся языка-источника и основной семантики чужих по происхождению морфем, обрабатывается специалистом в поле МОРФЕМЫ: греч. *anti* ‘против’; греч. *biotikós* ‘жизненный’; греч. *tēle* ‘далеко’; греч. *skopeín* ‘смотреть’.

Если в структуре заимствованного слова выделяются морфемы из одного или даже разных языков, которые несвойственны словарному составу польского языка, тогда его компоненты не составляют отдельных лексических единиц. Информация о происхождении приводится следующим образом:

patchwork англ. **patch** ‘клочок’ + **work** ‘работа (рукоделие)’;

biszkopt лат. **bis coctus** ‘дважды печеный’, польское значение ‘бисквит или печенье’;

epistemologia греч. **epistēmē** ‘знание’ + **-logia**.

И н т е р н а ц и о н а л и з м ы. Если для иностранного по происхождению слова существуют эквивалентные формы, засвидетельствованные более чем в одном языке (и нет однозначного доказательства непосредственного заимствования только из одного языка), ставится помета «интернац.» и приводятся максимум три параллельные формы с уточнением данных о языках, например: **falsyfikator** интернац., англ. falsificator, фр. falsificateur, нем. Falsifikator.

Для языков-посредников при заимствовании информация приводится следующим способом: сперва дается форма из непосредственного языка-источника, затем — формы из других языков (таким образом, слово-этимон является последним звеном этой цепи — его появлению предшествует помета «из», например: **polityk** нем. Politiker, из лат. politicus.

SJP — Słownik języka polskiego PAN / red. W. Doroszewski. T. I–XI. Warszawa, 1958–1969.

М. А. Еремина

Нижевартовский государственный университет, Нижевартовск
marina_makridina@mail.ru

Проблема корреляции языковых концептов лени и трудолюбия

Этнолингвистический анализ процесса оязыковлени противоположных понятий дает исследователю возможность не ограничивать выявление и описание этнокультурных смыслов рамками соответствующих лексико-семантических полей (ЛСП) и выйти на уровень их взаимосвязи. На этом уровне особого внимания заслуживают семантико-мотивационные модели, за которыми стоит логика именования объекта

действительности. Предметом исследования в этом случае являются факты совпадения / несовпадения восприятия, интерпретации и оценки противоположных явлений.

В докладе анализируются в сопоставительном ракурсе семантико-мотивационные модели ЛСП «Лень / праздность» и «Трудолюбие» в русских народных говорах и общенародном языке. Рассмотрение этих моделей позволяет говорить о существовании следующих видов связи между концептами.

1. Отношения с и м м е т р и и возникают при совпадении аспектов восприятия лентяя и труженика и разведении признаков для оценки по разным полюсам одной шкалы. В качестве примера приведем оппозицию мотивационных признаков, которые выявляются при обращении к лексемам, мотивированным единицами ЛСП «Деятельность».

| «Трудолюбивый человек» | «Лентяй, бездельник» |
|---|--|
| ‘занимается производительной деятельностью’ | ‘не занимается производительной деятельностью’ |
| ‘увлечен делом’ | ‘не имеет желания работать’ |
| ‘склонен углубляться в дело’ | ‘не вникает в существо дела’ |
| ‘заботится о деле’ | ‘не проявляет заботы о деле’ |
| ‘осуществляет контроль над деятельностью’ | ‘нуждается в понукании’ |
| ‘делает быстро’ | ‘делает медленно, мешкает’ |
| ‘приходит на помощь другим работникам’ | ‘не помогает, не поддерживает в работе’ |

Подобное противопоставление свидетельствует о включенности оценочного основания в выработанную общественным сознанием систему ценностных эталонов. С этой позиции можно утверждать, что носитель традиционной трудовой этики одобряет как норму собственно занятость полезным делом, увлеченность делом, высокую скорость выполнения работы, внимание к процессу деятельности, способность к внутреннему контролю действий, взаимопомощь.

2. Т о ж д е с т в о способов концептуализации противоположных явлений связано с нейтрализацией различий на каком-либо этапе словопроизводственного процесса.

Наблюдение номинатора за образом жизни и деятельности лентяя и трудолюбивого человека фиксирует одни и те же черты, запечатлевая их в тождественных мотивационных признаках:

- ‘сидеть’ → ‘работать долго, усердно’ // ‘быть ленивым, нерасторопным, бездельничать’;
- ‘есть много’ → ‘работать много, быстро, усердно’ // ‘быть ленивым’;
- ‘двигаться / работать медленно’ → ‘быть старательным работником’ // ‘быть ленивым, нерасторопным’;
- ‘двигаться беспорядочно, беспокойно’ → ‘усиленно работать’ // ‘болтаться без дела’;
- ‘не иметь сдерживающих моментов в поведении’ → ‘лениться, стать ленивым’ // ‘быть усердным, работающим, мастером на все руки’.

Подобные совпадения нельзя трактовать без учета различия мотивировок, обуславливающих выбор признака. Так, сидящий человек оценивается в положительном ключе только при наличии видимого дела; если же такового нет, сидячее положение становится поводом для порицания.

Важным фактором, нивелирующим различия в обозначении положительного и отрицательного отношения к труду, служит экспрессивность единиц, ср. *охлѡпок* ‘лентяй’, *ѡхлыст* ‘лентяй’, *хлобыстѡть* ‘бродить праздно, шататься, бить баклуши’ // *хлопатьсѡ* ‘интенсивно работать, «пластаться», хлопотать’. Частным случаем этой закономерности является энантиосемия значений: ср. *кехтѡть* ‘лениться’ // ‘усердно работать, не лениться’, *ѡбиходница* ‘ленивая женщина, которая живет в лени и праздности’ // ‘рачительная и расторопная хозяйка’; *ерыкала* ‘долговязый, пустой человек, ведущий праздный образ жизни’ // ‘работающий, трудолюбивый человек’.

3. Отношения а с и м м е т р и и определяют своеобразие логики категоризации каждого из противоположных явлений.

Так, номинатор регулярно обращается к разным участкам семантической сферы «Человек» с целью создания образов лентяя и труженика. В реализации «соматической» модели более продуктивна идея лени / праздности. В качестве мотивирующих основ активно используются наименования рук, ног, бока, шеи, живота, лба, глаз. Идея трудолюбия «задействует» наименования внутренних органов: жил, кости, сердца. За данным различием, очевидно, стоит оппозиция когнитивных категорий «внешнее — внутреннее».

Для характеристики усердного труда и работающего человека используется стереотипное представление об изменениях, происходящих в физическом облике человека в результате тяжелого труда, ср. *вытягивать жилы, горбачок, ломать кости, мозолиться, потовик, сломать пальцы*. В поле лени / праздности мотиву деформации противопоставлен мотив патологии, ср. *обрублены руки по пояс, руки не с того места растут*. Противопоставление здесь осуществляется по линии «следствие — причина».

Интерпретируя эмоциональное состояние лентяя, номинатор отрицает саму возможность «хотения» им чего-либо, ср. *некехтовый, неохота, нехотиха, нехоть*. Для оценки трудолюбивого человека констатации наличия желаний оказывается недостаточно, поэтому номинация строится на основе представлений о формах и степени эмоциональных устремлений, ср. *жестокущий, заполошный, отважный* и др. Таким образом, идея трудолюбия демонстрирует более дифференцированный подход, лень ограничивается общей оценкой.

В целом анализ корреляции понятий лени и трудолюбия приводит к выводу о преобладании фактов асимметрии над симметрией и тождеством, что свидетельствует о преимущественно независимом характере концептуализации понятий лени / праздности и трудолюбия в сознании и языке. Случаи наложения смыслов в большей степени связаны с экспрессивной природой единиц, выражающих оценку по отношению к труду. Формирование языковых концептов «Лень / праздность» и «Трудолюбие» опирается на определенные когнитивные и аксиологические ориентиры, которые можно представить в виде ряда оппозиций, соответственно: «внешнее — внутреннее»; «причина — следствие»; «общее — частное»; «эмоциональное — рациональное»; «поведение — деятельность»; «динамика — статика»; «взаимодействие с людьми — личностное проявление»; «этическое — утилитарное».

Роль образности и внутренней формы фразем в лингвокультурной реконструкции

План выражения фразеологизмов, состоящий из нескольких единиц, принято трактовать как внутреннюю форму, которая и создает некий перцептивный образ. Во фразеологических исследованиях часто наблюдается сближение и даже отождествление понятий «внутренняя форма» и «образность». Так, А. Кунин утверждает, что внутренняя форма фразеологизма — это «мотивирующая образность, основанная на деривационных связях его значения со значением прототипа». В. Телия понимала внутреннюю форму как «способ организации значения идиомы», связанный с мотивацией ее семантики и образной составляющей. Вместе с тем наблюдается и более четкое разграничение понятий «образная составляющая» и «внутренняя форма» применительно к фразеологизмам, ср., в частности, мнение В. Мокиенко и А. Мелерович о том, что внутренняя форма есть и у тех фразем, которые лишены образности, и что внутренняя форма служит только базой для формирования образности. Д. Добровольский отстаивает точку зрения, согласно которой именно образная составляющая вносит вклад в значение фразеологизма и обязательно должна учитываться при описании его семантических особенностей.

Для реконструкции генезиса фразеологической единицы в первую очередь важно не понимание внутренней формы как таковой, а учет тех смыслов, которые вытекают из образной составляющей фраземы. При этом, естественно, сложно обойти такой самоочевидный факт, что информацию об образной составляющей исследователь получает именно из формальной стороны фраземы, т. е. из формы и семантики единиц, которые входят в ее план выражения. Однако практически всегда оказывается, что установление генетических связей между формальной стороной и актуальной семантикой должно опираться не только на собственно лингвистические факторы (в частности,

прагматические), но и на внелингвальные, прежде всего национально-культурные и исторические.

О необходимости учитывать национально-культурную специфику при установлении мотивации сказано и написано уже немало, поэтому обратимся к лингвистическому аспекту. Так, во многих славянских языках известны фраземы с так называемым псевдоонимом: рус. *поехать в Могилевскую губернию* ‘умереть’, укр. *віддатися за Муравського* ‘то же’, *заїхати в Харківську губернію* ‘ударить кого-либо по лицу’, *повернути у Брехунівку* ‘начать обманывать’. В таких выражениях именно псевдооним выступает семантическим центром целого выражения, причем не сам по себе, а как основа соответствующих ассоциаций. Если же внутреннюю форму таких фразем интерпретировать буквально, исходя из семантической нагрузки отдельных компонентов, то окажется невозможным обосновать появление фразеологического значения.

Аналогичная картина наблюдается в группе фразем, которые возникли вследствие иронического переосмысления исходных выражений, таких как *получить на орехи* (*бублики, баранки*) ‘быть наказанным’, рус. *держи карман шире*, укр. *тримай в обидві жмені* ‘не рассчитывай получить ожидаемое’, а также рус. *держаться на честном слове, открыть Америку, скатертью дорога* и некоторые другие. Анализ внутренней формы в таких случаях может оказаться бесполезным приемом, если его не дополнить учетом речевой специфики функционирования выражений, послуживших языковой основой для образования этих идиом, а также прагматических аспектов коммуникации, которые и стали базой для иронического переосмысления исходных выражений.

Как известно, особенно высок процент выражений, в которых наблюдается разрыв между внутренней формой и семантикой, среди так называемых идиом. При анализе их происхождения необходим учет и синтез разных факторов. Например, фразема *гризти з ким горіхи* ‘враждовать, конфликтовать’, известная в украинской традиции с XVII в., наделена прозрачной внутренней формой. Однако этот факт не дает оснований для выведения фразеологического значения: если опираться на народную практику «разгрызания орехов» (легкое и приятное занятие на досуге), то можно ожидать появления у фраземы положительной оценки, т. е. идиома теоретически должна была

унаследовать от базовой ситуации позитивные оценочные смыслы. Причины появления отрицательной оценки нужно искать в иных сферах, возможно, интралингвальных, таких как ироническое переосмысление исходного выражения, семантические аттракции (притяжение к смыслу метафоры *гризтися*), резкое сужение референции или усечение более полной конструкции.

Таким образом, внутренняя форма, формируя в сознании некий представляемый образ, служит отправной точкой в развитии сложного фразеологического значения. Исходный образ, из которого выводятся логические и оценочные импликации, обязательно должен быть погружен в национально-культурный и временной контекст. При генетической реконструкции следует учитывать как ту информацию, которая содержится во внутренней форме, так и разнообразные лингвокультурные факторы.

Е. В. Захарова, И. И. Муллонен, Н. Л. Шибанова

Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН,
Петрозаводск
katja.zaharova@mail.ru, mullonen@sampo.ru, shnl@krc.karelia.ru

«История, положенная на карту»: топонимические модели Карелии*

Термин *модель* традиционно используется в российской топонимике применительно к топонимическому словообразованию, хотя в славянской ономастике содержание его шире и включает также лексико-семантическую составляющую. О необходимости подобного «широкого» понимания в свое время писал Э. Эйхлер, отмечая, что топонимическая модель является единством исходной (именование объектов посредством определенных лексем) и словообразовательной моделей, а Р. Шрабек обращал внимание на временной и пространственный характер бытования топонимических моделей.

* Публикация подготовлена в рамках выполнения проекта РГНФ № 14-04-00243 «Топонимные модели Карелии в пространственно-временном контексте».

© Захарова Е. В., Муллонен И. И., Шибанова Н. Л., 2015

Понятие «модель» является одним из основополагающих и в прибалтийско-финской топонимической науке, которая исходит из того, что вместе с языком человек усваивает также систему окружающих его топонимов. Последняя становится для него своего рода макромоделью, когда он присваивает географическим объектам те или иные имена. Поэтому, как правило, новые топонимы создаются в рамках уже существующих морфологических типов, определенного круга топооснов, семантических классов. Бытование таких моделей чрезвычайно ценно для этнолингвистических изысканий, поскольку многие модели имеют достаточно четко очерченные ареалы, формирование которых может быть соотнесено с экспансией определенных групп населения, историей образования этнических территорий, этноязыковых и диалектных границ и т. д.

В ходе выполнения проекта «Топонимные модели Карелии в пространственно-временном контексте» идея хронологической и географической приуроченности моделей проверяется нами на материале о з е р н о й т о п о н и м и и (озеро, озерный залив, мыс, остров). Такой выбор обусловлен массовостью подобных топонимов в Карелии, а также тем, что для них возможна картографическая проверка топонимической информации (размер объектов, их форма, взаимное расположение и т. д.), что является одним из критериев надежности анализа. Основные источники материала — ГИС «Топонимия Карелии» и научная картотека топонимов ИЯЛИ КарНЦ РАН.

Согласно результатам анализа, значительное этноисторическое содержание заключено в ареальном противостоянии моделей. Так, в карельской топонимии для номинации небольших по размеру круглых озер используется два прилагательных с семантикой ‘круглый’ — с одной стороны, *pyörie* и его производные *pyörykkä* и *pyöryžä*, с другой — *kiehkie*, *kiehker*. Соответствующие модели характеризуются выраженной ареальной дистрибуцией. Первое явно превалирует (*Pyörie/lambi*, *Pyörykkä/lambi*, *Pyöryžy/lambi* «Круглая ламба»), второе отмечено лишь в ряде фиксаций на южной окраине карельского языкового ареала (*Kiehker/lambi* «Круглая ламба»), в зоне активных карело-вепсских контактов. Формирование этого ареала, по всей видимости, является следствием вепсского влияния, причем на топонимическом уровне: лексемы *kiehkie*, *kiehkerä* бытуют в карельских диалектах, но в целом они не приобрели популярности в карельской топонимии, реализовавшись только

на смежной с вепским ареалом территории в результате взаимодействия топонимических систем. Отметим, что свои ареальные «предпочтения» есть у каждой из трех названных моделей: *Pyörie/lambi* продуктивна в Беломорской Карелии, *Pyörykkä/lambi* — в средней Карелии, в ареале бытования южных собственно карельских говоров, *Pyöryžy/lambi* — в южной олонецкой Карелии. Формирование соответствующих ареалов тесно связано с карельской этноязыковой историей.

Как оказывается, наряду с универсальными моделями, используемыми в наименованиях разных типов озерных объектов, часть моделей довольно четко привязана к объектам определенных видов. Например, «широкими», как правило, в карельской топонимии называются озерные заливы (*Levie/laksi* «Широкий залив»), тогда как широкие (т. е. короткие, округлые) мысы именуются «толстыми» (*Paksu/niemi* «Толстый мыс»). При этом последняя модель имеет четкие пространственные границы — она представлена в ареале, который осваивался карелами в XV–XVI вв. Ее отсутствие в других прибалтийско-финских топонимических системах позволяет ставить вопрос о возможном воздействии соответствующей русской модели *Толстый мыс / нос / наволок*, которая могла быть воспринята, например, в результате русского этноязыкового влияния в землях Корельского уезда.

Нами предлагаются некоторые подходы для выявления относительного «возраста» топонимических моделей. Одним из таких критериев, видимо, следует считать размер географических объектов. Так, предварительный анализ указывает на то, что из двух топооснов с семантикой ‘кривой’ — *Viärä-* и *Kovera-*, функционирующих на одной и той же карельской территории, — первая привязана к более крупным, а значит, в принципе названным раньше озерам (модели *Viärä/järvi* «Кривое озеро» и *Kovera/lambi* «Кривая ламба» являются типовыми). Вероятно, в установлении относительного «возраста» модели определенным критерием может служить также расположение объекта относительно исторических поселений, путей освоения территории, границ этнических территорий.

Использование ареального или, иначе, типологическо-географического, метода, основанного на этнолингвистической интерпретации ареалов отдельных топонимических моделей, позволило значительно продвинуться в понимании происходивших на территории Карелии этноисторических процессов.

А. Зелиньска

Институт славистики Польской академии наук, Варшава (Польша)
azielinskaslawistyka@gmail.com

Этнические стереотипы в западной Польше после 1945 г.

В докладе автор представит результаты исследования, проведенного в Любушском регионе, расположенном в западной Польше, на польско-немецком историческом пограничье. Эта территория до 1945 г. полностью входила в состав Германии. В 1945 г. и в течение нескольких последующих лет там произошла почти полная смена населения. Местные жители — граждане Третьего рейха — покинули эту территорию (кроме некоторых строго определенных групп и отдельных лиц), на их место пришли добровольные и вынужденные переселенцы из разных регионов Польши, в том числе из восточных воеводств Второй Речи Посполитой, включенных в 1945 г. в состав Советского Союза. Среди вынужденных переселенцев были также украинцы и лемки. Столкновение в одном месте почти в одно и то же время разных культурных и языковых групп породило многочисленные конфликты. Жители региона давали друг другу прозвища, а их повседневные взаимоотношения были отягощены предубеждениями и этническими стереотипами.

Текущее время: заметки о семантической типологии языкового образа

Хотя вопросам этнолингвистических представлений о времени уделялось пристальное научное внимание (работы Т. И. Вендиной, С. М. Толстой, Е. С. Яковлевой и мн. др.), они принадлежат к неисчерпаемой теме, поскольку время — одна из фундаментальных категорий человеческого бытия.

Главной особенностью этой категории является то, что человеку время не дано в его прямом физическом проявлении. Этим оно отличается от другой фундаментальной категории бытия — пространства, которое в обыденной картине мира предстает ареной видимых вещей и связанных с ними проявлений: звуковых, тактильных, обонятельных¹. Эта арена представляется как нечто постоянное, неизменное. Изменчивость же присуща явлениям: «Род проходит, и род приходит, а земля пребывает во веки», — сказано в Книге Екклесиаста. Эта изменчивость в соединении с постоянством обозримой среды образуют главную категорию человеческого бытия — мир, землю.

Соответственно, время воспринимается как некий промежуток между одним состоянием явления и последующим, измененным его состоянием. Природа подсказывает представления о цикличности времени. Повторяемость круга явлений порождает потребность в индикаторах времени (гномон, клепсидра, песочные часы, циферблат, календарь и под.). Изменение индикации интерпретируется как движение времени. Отрезки индикации в том или ином виде оязыковываются: *время* ('то, что обращается, возвращается к исходной точке' у А. А. Потебни), *час, сутки, неделя, месяц, год* и др. По сути, подобные названия временных отрезков называют контейнеры для событий неизбежных, предполагаемых, ожидаемых, непредвиденных.

¹ В таких особых случаях, как фольклор, мифология, религия, пространство и его атрибутика имеют особый характер, что выходит за рамки нашего рассмотрения.

Представления о циклическом времени сопровождаются представлениями о его линейном телеологическом характере. Как известно, еще Аристотель утверждал, что, подобно тому как деятельность человека имеет цель, предметы природы развиваются в силу «стремления» к потенциальной цели, абсолюту-энтелехии как завершению развития. Эти представления проявляются в историзме, в эсхатологических представлениях о скончании времен и т. п.

И в циклических, и в телеологических представлениях о времени оно *движется*. Одной из констант этого движения является плавность, континуальность. Уже сами метафоры *время идет, течет, бежит, летит, тянется* и др., где компонентный анализ позволяет выявить семы 'равномерно' и 'непрерывно', представляют время как континуум.

Не детализируя матрицу языковых представлений времени, заметим лишь, что, например, с точки зрения общественной значимости временных периодов и позиции внешнего или внутреннего наблюдения времени по характеру оно может означаться как *время бурное, суровое, жестокое, кровавое, беспощадное, смутное, время застоя, деградации* (то же в отношении слов *годы, эпоха, времена*). Кажется, менее разнообразны здесь определения с позитивной оценкой или оценкой нормы (этнолингвистика и аксиология показывают, что это обычное явление для подобных шкал): *золотой век, спокойные, благодатные времена, эпоха процветания*. В плане субъективного переживания времени оно может *ползти, тянуться (медленно, мучительно), лететь (стремительно, неумолимо, безудержно), остановиться*. В сущности, в обоих случаях проявляется метонимическая компрессия, когда характеристика событий или состояний субъекта переносится на характеристику периода².

Оставляя в стороне прочие возможные параметры такой матрицы, обратим внимание на одно типологическое место в характеристиках движения года некоторыми языками Европы. Здесь наблюдается общая семантическая модель, связанная с идеей течения: рус. *текущий*

² Кстати, в этом смысле можно бы уточнить термин *хрононим*: это не название отрезка исторического времени или даты, но название того события, которое в этом отрезке или в этой дате выделяется. Если бы не перегруженность ономастической терминологии детализациями, то можно было бы даже предложить альтернативный термин – *патематоним* (πάθημα, atos 'событие, происшествие' в одном из значений + ðvoµα). Слова ёруов 'событие, происшествие, факт' или τράῦµα 'событие, происшествие' уже зарезервированы в своих иных значениях терминами *эргоним* и *прагматоним*.

год (месяц, период, квартал), укр. *поточний рік*, серб. *текућа година*, хорв. *tekuća godina*, англ. *the current year*, фр. *l'année en cours*, *année courante*, венг. *a folyó év*.

Никак особо из этого не выделяется нем. *das laufende Jahr*, польск. *rok bieżący*, укр. диал. *біжучий рік*. В исходном образе вода может *течь* равно как и *бежать*: рус. *течение* / *бег реки* (разумеется, здесь есть очевидные нюансы!), и это мало чем отличается от англ. *run*, нем. *Laufen*, фр. *course* ‘бег’ и *cours; courant* ‘течение’, польск. *bieg* и др. — все факты исходят из понимания *бег* = *течение*.

Встает вопрос об истоках такой схожести. Она может быть следствием независимых внутриязыковых семантических процессов («Все течет, все изменяется», — говорится еще, как принято считать, у Гераклита). Но в то же время есть определенные предпосылки догадываться, что для славянских языков здесь могло иметь место влияние французского и немецкого языков, что дало толчок калькированному развитию внутренних языковых ресурсов. Возможно, здесь проявили себя финансово-бухгалтерские и банковские термины типа *текущий баланс*, *текущий счет* (ср. нем. *laufendes Konto*, *laufende Rechnung*, фр. *compte courant*, англ. *current account*, укр. *поточний рахунок*, польск. *rachunek bieżący*, серб. *текући рачун*, венг. *folyószámla* и др.). Соответствующие понятия имеют привязку к календарю и финансовой отчетности.

Так или иначе, рассмотренная ситуация служит примером двух кросс-культурных семантических полей, объединивших то, что давно сформулировано как «Время — деньги».

К вопросу о редких цветообозначениях в русской топонимии

Принято считать, что при номинации топообъектов используются лексемы, обозначающие базовые цвета, и совершенно не задействуются те, которые обозначают оттенки. Это, однако, не совсем соответствует действительности.

Основы, представленные в таких базовых цветообозначениях, как *белый, жёлтый, красный, синий, чёрный*, широко распространены в топонимии. Это объясняется высокой значимостью и большой частотностью данных прилагательных в языке, что способствует закреплению определенных моделей номинации в топонимии. При этом на топонимическом уровне прилагательное служит довольно «абстрактным» цветообозначением, поскольку в реальности объекты редко имеют выраженный красный или синий цвет (мы не рассматриваем случаи, когда топонимы имеют символическое значение).

Наряду с частотными базовыми лексемами, в русской топонимии представлены и редкие цветообозначения. Так, кроме прилагательных *красный* и *жёлтый*, встречаются *кумачный, розовый, рыжий, червонный, черёмный, шафранный*.

Выбор тех или иных «цветовых» прилагательных при номинации топообъектов может объясняться как языковыми, так и внеязыковыми причинами (например, красками ландшафта). Так, в Австралии есть *Розовые озёра* — вода в них действительно розового цвета. В средней полосе России гидронимов с такой основой нет, но в микротопонимии отмечены два названия, образованные от прилагательного *розовый*: г. *Розовая Гора* (Костр.) и ур. *Розовая Елань* (Свердл.).

В большой степени распространённость топонимов, образованных от конкретных цветообозначений, зависит от употребительности последних в языке. Очевидно, что малоупотребительные прилагательные редко становятся мотивирующими словами для топонимов,

ср. единичную фиксацию названия, образованного от прилагательного *шафранный*: бол. *Шафранное* (Арх.).

В то же время некоторые цветообозначения, широко распространенные в языке, могут встречаться в топонимии редко. Так, прилагательное *коричневый* в качестве мотивирующего для топонима удалось зафиксировать лишь один раз, ср. г. *Коричешна* (Волог.). Это связано с историей слова *коричневый* в русском языке: оно появилось лишь в XVII в., долгое время использовалось только по отношению к одежде и тканям, а как обозначение цвета природных объектов (ср. *коричневая вода в реке*) стало употребляться очень поздно. Чаще в топонимии встречается прилагательное *бурый*, которое, вероятно, ранее играло роль «абстрактного» цветообозначения вместо *коричневый*: г. *Бурая* (Бурятия), д. *Бурая* (Псков.), ур. *Бурый Угол* (Костр.).

Часть редких цветообозначений в топонимии — устаревшие или устаревающие прилагательные, например, *червонный* (*червёный*, *червлёный*) и *черёмный*: г. *Червенáя Гора* (Волог.), бол. *Червёное* (Костр.), руч. *Червёный Ручей* (Арх.), г. *Червлёная* (Арх.), пож. *Червлёная* (Арх.), д. *Черёмная Гора* (Ленингр.). Указанные прилагательные были употребительными вплоть до XVII в., но постепенно заменились прилагательным *красный*.

В основах топонимов встречаются цветообозначения, не употребляемые в современном русском языке по отношению к природным объектам, а называющие цвет кожи (*смуглый*), цвет волос (*седой*, *рыжий*), цвет ткани (*кумачовый*). Многие из этих топонимов имеют метафорическое происхождение. Например, название ур. *Кумашиное* (Свердл.) производно от *кумашный* (*кумачный*) ‘относящийся к кумачу, цвета кумача’, ср. диал. *как кумач натянут* ‘о ягодных местах’.

Среди таких цветообозначений наиболее частотны прилагательные, называющие масти лошадей: *буланый* — ср. о-в *Буланко*, о-в *Буланый* (Перм.), г. *Буланый Камень* (Челяб.); *бусый* — ср. пок. *Буско* (Перм.), пок. *Бусова* (Арх.); *вороной* — ср. р. *Вороная* (Респ. Коми), пок. *Вороное* (Волог.), пок. *Воронуха* (Арх.); *пегий* — ср. поле *Пегаха* (Арх.), оз. и ур. *Пегуха* (Свердл.), поле и пок. *Пегуша* (Волог.); *саврасый* — ср. пок. *Савраско* (Арх.).

Местные жители часто объясняют подобные топонимы ситуативно: «Там умерла бусая (саврасая, пегая) лошадь». Безусловно, нельзя отрицать отдельных ситуативных номинаций, однако достаточно

большое количество топонимов позволяет говорить о существовании модели, предполагающей соотнесение цвета природного объекта с мастью лошади. Например, известно, что камень *Буланый* действительно рудо-желтого цвета. Такая же модель отмечается в тюркской топонимии, где употребляются прилагательные *кер* ‘гнедой’ и *кула* ‘саврасый’ [Молчанова, 1988, 91–92].

Следует учитывать и тот факт, что рассматриваемые прилагательные в русском языке меняли свое значение и могли в прошлом обозначать (и сегодня обозначают в диалектах) не только масть лошади. Например, в лечебнике XVII в. словом *вороной* назывался цвет травы [Бахилина, 1975, 79]. В «Словаре древнерусского языка XI–XIV вв.» *пегий* определяется как ‘пестрый’ (приводится сочетание *камни пегие*), и лишь вторым дается значение ‘о масти животного’. Широкий спектр значений имеет в диалектах прилагательное *бусый*: ‘серый, дымчатый, неопределенного цвета’ («Гора была бусая, бусая, а теперь зазеленела»). Употребление подобных прилагательных в топонимии может служить дополнительным подтверждением того, что ранее они имели более широкий спектр сочетаемости и могли применяться по отношению к природным объектам.

Редкие цветообозначения активно используются сегодня при искусственной номинации для создания ярких, оригинальных, запоминающихся названий, ср.: *Лазурная Бухта* в Приморском крае, *Оранжевые улицы* во многих городах России, *Палевый Ручей* в Якутии, *Рыжий Лес* (*Ржавый Лес*) около Чернобыля, *Седая Гора* в Приморском крае (название дал проводник геологической партии в одном из маршрутов, так как покрытая снегом вершина горы казалась седой сквозь пелену дождя), *Сиреневое Поле* — поле лаванды в поместье Лучезарное Московской области, и др.

Бахилина Н. Б. История цветообозначений в русском языке. М., 1975.

Молчанова О. Т. Серые, синие, красные, промежуточные цвета в ономастике некоторых тюркских народов // Ареальные исследования по башкирской диалектологии и ономастике Башкирии. Уфа, 1988. С. 89–103.

Корпус фитонимов в рукописных травниках типа Губерти (XVIII в.)*

Русские рукописные, так называемые «народные», травники представляют собой сборники непостоянного состава, посвященные описанию отдельных растений и их свойств. Эта рукописная традиция существовала на протяжении трех столетий — с начала XVII по начало XX в. [подробнее см.: Ипполитова, 2008].

В изучении травников существует две ключевые проблемы: 1) проблема происхождения их текстов; 2) проблема соотношения текстов-описаний растений и ботанической реальности. Решение обеих проблем возможно только при текстологическом анализе всей традиции. Первым шагом в этом направлении является решение этой задачи на отдельных разновидностях травников.

Как мы уже отмечали ранее, в корпусе травников можно выделить группы сходных списков, или типы [см.: Ипполитова, 2008, 50–66]. Основными критериями для выделения типов травников (как и для других памятников дробной структуры) являются: 1) общий набор статей; 2) последовательность статей (или групп статей) в списке; 3) текстологическая близость статей. Среди выделенных нами разновидностей травников значительный интерес для текстологического анализа представляет так называемый тип Губерти (название дано по фамилии В. В. Губерти — автора первой публикации травника этого типа [Губерти, 1859]) — один из самых распространенных типов русских травников, представленный более чем 10 списками, а также отдельными группами статей в списках других типов. Самый ранний список типа Губерти происходит из следственного дела 1703 г. [Новомбергский, 1909, 75–77]. Для типа Губерти реконструировано «ядро» общих статей, состоящее из последовательности 35–40 статей [см.: Ипполитова, 2008, 57].

* Работа над публикацией осуществлена при поддержке РГНФ (проект № 14-04-00508 «Текстология русских травников XVII — начала XX в.: исследование и тексты»).

© Ипполитова А. Б., 2015

Таким образом, тип Губерти представляет интерес по следующим причинам: 1) один из самых ранних типов русских травников; 2) представлен значительным числом списков; 3) несоставной тип (но при этом входит как часть в составные типы); 4) в отличие от некоторых других типов (например, устюжского) содержит значительное число русских фитонимов.

Для анализа были отобраны 11 списков XVIII–XIX вв. (8 списков XVIII в., 3 списка XIX в.). Корпус общих статей для этих списков составил 40 текстов-описаний (статьи, встречающиеся в 4-х и более списках). При этом частотность распределилась следующим образом: **адамова глава 2А¹, бронец 2, кокуй, плакун А** — во всех 11-ти списках; **варахия, воронец 1, одолен 2А, парамон, прострел 1** — в 10-ти; **ахтомос, богородичная, дягиль кудрявый, железенка, измодин, куреп, лас, петров крест 1, сова 2** — в 9-ти; **бель А, девятисил А и В, маточник, перенос 2А, попутник, ушко** — в 8-ми; **ряска 1, узик, хеновник, царские очи, чап А** — в 7-ми; **кавыка, рябинка, царь симан** — в 6-ти; **архилин, золотуха 2, крапива, осот 1** — в 5-ти; **завол, змеица, котовы муде, ужак** — в 4-х.

Для каждой из указанных статей-описаний в различных списках существуют варианты фитонимов. Как правило, это вариации одного и того же фитонима (*бронец / боронец; адамова глава / адамля глава*), но встречаются варианты, имеющие разное происхождение (*воронец / бронец / конурат; железенка / толкун; змеица / попугай* и др.).

В докладе будет проанализировано соотношение корпуса фитонимов в травниках типа Губерти с данными русской диалектной фитонимики, на основе чего будут сделаны выводы о возможности географической локализации протографа травников Губерти.

Губерти — Книга, глаголемая травник. Публикация В. В. Губерти // Архив исторических и практических сведений, относящихся до России. Кн. 1. СПб., 1859. С. 76–83.

Ипполитова А. Б. Русские рукописные травники XVII–XVIII вв.: исследование фольклора и этноботаники. М., 2008.

Новомбергский Н. Я. Слово и Дело Государевы (Материалы) : в 2 т. Томск, 1909. Т. 2.

¹ Здесь и далее жирным шрифтом даются метафитонимы, обозначающие совокупность вариантов одного текста-описания растения в разных списках [подробнее см.: Ипполитова, 2008, 51]).

Г. И. Кабакова

Университет Париж-Сорбонна, Париж (Франция)
galina.kabakova@libertysurf.fr

«Наивная анатомия» в зеркале языка: пищеварительный тракт

Анализ лексики и фразеологии славянских языков позволяет реконструировать образ тела и способ его восприятия. В центре нашего внимания — лишь один фрагмент наивной анатомии: пищеварительный тракт. Славянские языки и диалекты по-своему «картографируют» структуру внутренних органов. В некоторых традициях органы пищеварения и прежде всего желудок сближаются и даже смешиваются с сердцем, в других — с легкими. В качестве критериев для описания этих органов выбираются цвет и вес, что наводит на мысль не только о визуальном наблюдении, но и о непосредственном обращении с этими частями тела. Но поскольку этнографы повсеместно отмечали крайне ограниченные познания в области анатомии, следует предположить, что на названия человеческих органов были перенесены обозначения внутренностей животных.

В другой группе лексики, относящейся к функционированию этих органов, языковые единицы могут образовываться с помощью метафоры пищеварения как химического процесса, основанного на переработке пищи с помощью тепла, скисания или свертывания. Желудок также может описываться как механизм, перемалывающий пищу наподобие жернова. Кроме того, слова, обозначающие органы пищеварения, в составе фразеологизмов используются для описания самых разных эмоциональных состояний — от гнева до сострадания.

К вопросу о происхождении топонимического детерминанта *-керда/-карда*

Детерминант *-керда/-карда* отмечен на территории Архангельского Поморья в составе одного вариантного исторического топонима, зафиксированного в «Двинских грамотах XV в.»: *Минишкерда* (гр. № 2) и *Миньшкарда* (гр. № 27). Никаких гипотез о происхождении этого топонимического реликта пока не выдвигалось.

В его этимологической интерпретации существенны следующие соображения.

1. Оба контекста «Двинских грамот» совершенно определенно «привязывают» топоним *Минишкерда* / *Миньшкарда* к местности *Юрмола*: «Се купи игумен Василей пожню... на *юрмол*е на *Минишкерди*» (гр. № 2); «Се купи Павле землю... до ручью *юромълской* земличи, *Миньшкарда* да Мечкиску» (гр. № 27). Согласно этимологии А. К. Матвеева [2004, 267–272], *юрмола* в субстратном языке-источнике означало ‘коренной берег’, ‘берег, который не заливается водой’. Следовательно, топоним *Минишкерда* / *Миньшкарда* называет участок берега, а входящий в него детерминант квалифицирует береговую географическую реалию. С семантической стороны это несколько облегчает поиск этимологии.

2. Поскольку компонент *керд* / *кард* имеет географическую семантику, есть вероятность того, что в топонимии Русского Севера он может быть отражен не только в качестве детерминанта, но и в качестве топоосновы, в том числе в самостоятельном топонимическом употреблении. При поиске в этом направлении обнаруживается, что топооснова *Керд-* на Русском Севере не засвидетельствована вообще. В то же время топооснова *Кард-* в севернорусской топонимии представлена, хотя ее следует признать достаточно редкой. Эта основа прослеживается в топонимах *Карда* / *Кардамыс* (Вытегорский р-н), *Кардозеро* (Вытегорский р-н, Приморский р-н); ср. также отмеченное на Кольском полуострове название *Kardvaarr* (рус. *Кардоворас*) [KKLS, 975].

3. Наилучшим образом – как с фонетической, так и с семантической стороны — топооснова *Kapd-* в приведенных названиях соотносится с саамскими данными: прасаам. **kārtē* ‘ограда; изгиб, поворот’, саам. колт. *kārdd*, кильд. *kārd*, тер. *kaŕde* ‘загон для оленей’ [YS, 46–47; KKLS, 90]. Прототипом детерминанта *-карда* может быть любая из указанных форм, в том числе и прасаамская, однако особо хотелось бы выделить форму диалектов колтта *kārdd*, которая при русском усвоении может дать две фонетические формы: *кард-* и *керд-*. Это тем более вероятно, что в низовьях Северной Двины есть и другие саамские топонимы, отражающие «колттский» или близкий к нему фонетический тип.

4. Важным аргументом, подтверждающим именно саамскую этимологию, является топонимическое окружение названий с компонентом *кард-*: все они локализируются в микроронах, богатых саамским субстратом, в том числе дифференцирующими саамскими фактами. Особенно показательно в этом отношении название *Кардозеро* (Приморский р-н), локализованное в зоне сплошного саамского субстратного топонимического массива.

5. При решении вопроса о том, какое значение саамской лексемы отразилось в топонимии (‘изгиб, поворот’ или ‘ограда; загон для оленей’), возможны оба ответа. С одной стороны, например, оба озера под названием *Кардозеро* отличаются извилистой линией берега, поэтому в основе наименования можно усматривать значение ‘изгиб, поворот’; детерминант *-карда* при такой трактовке может указывать на изгиб береговой линии, речную излучину. С другой стороны, вероятность отражения значения ‘ограда; загон для оленей’ также довольно высока, особенно если принять во внимание основу исторического двинского топонима *Миниш-* / *Миньш-*. Эта основа, не находящая никаких убедительных параллелей в нарицательной лексике финно-угорских языков, может в то же время удачно интерпретироваться как уменьшительная саамская форма имен *Мина*, *Миней*, *Миня*, поскольку уменьшительные формы саамских личных имен образуются при помощи суффиксов типа «гласный *a*, *e*, *i* + шипящий» (ср. *Anniš*, *Karpaž*, *Kattiš*, *Matteš* — от *Анна*, *Карп*, *Катерина*, *Матвей* и др.). В этом случае древний двинской топоним *Миньшкарда* / *Минишкерда* логично считать possessивным образованием, включающим имя владельца прибрежного огороженного участка.

Матвеев А. К. Субстратная топонимия Русского Севера. Ч. 2. Екатеринбург, 2004.

KKLS — Koltan- ja kuolanlapin sanakirja. Helsinki, 1958.

YS — *Lehtiranta J.* Yhteissaamelainen sanasto. Helsinki, 1989.

И. Б. Качинская

Московский государственный университет, Москва
kacza@rambler.ru

Богоданные родители: **термины свойства в архангельских говорах**

1. При изучении терминов родства мы всегда оказываемся в поле пересечения этнографии, изучающей структуру родственных отношений, и лингвистики, изучающей их номинации. В разных культурах структура родства и термины родства соотносятся по-разному. В русской культуре это соотношение в целом достаточно однородно, хотя при сопоставлении древнерусских данных и сегодняшнего инвентаря «родственных» названий можно видеть утрату некоторых терминов кровного родства, связанных с номинацией боковых линий: в древности существовали особые термины для обозначения дяди по отцу и по матери, племянников со стороны сестры и брата и др. Уменьшилось и продолжает уменьшаться количество терминов свойства, определяемого через брак: с распадом «большой семьи» стали забываться значения терминов *деверь*, *золовка*, *свояченица*, *шурин* и др.

2. Термины, утраченные в литературном языке, продолжают функционировать в русских говорах. Можно предположить, что и в древности инвентарь терминов не был единым и различался по регионам. В архангельских говорах наиболее «экзотическими» терминами свойства являются *дедина*, *деенка*, *дейна* и др. ‘жена дяди’. Как «экзотические» воспринимаются и некоторые термины, имеющие синонимы, например, *свесь* ‘сестра жены’ («Свесь — это сестра жены. Что свояченицей, что свесь»).

3. При видимой строгости соответствия термина определенному месту в структуре родства наблюдается многозначность терминов.

© Качинская И. Б., 2015

В первую очередь это касается обозначений кровного родства, но распространяется не только на них. Так, *дедина* означает не только ‘жена дяди’, но и ‘жена родного брата’; *свесь* — не только ‘сестра жены’, но и ‘мать жены (невесты) в отношении к родителям мужа (жениха); сватья’: «Свесь — это мой сын да твоя дочь склались, да вот она свесь, родители твоим родителям сватья, отец зовёт тещу свесь» (т. е. мой муж зовет тещу своего сына *свесь*). В то же время встречаются термины, тяготеющие к однозначности: *свёкор*, *свекровь*, *тесть*, *тёща* и нек. др. Таким образом, в говорах сосуществуют две разнонаправленные тенденции: с одной стороны, для обозначения определенного места в структуре родства может использоваться несколько разных терминов — иногда даже в пределах одного говора, с другой — происходит расширение семантики термина, когда он, наряду с протозначением, которое связано с одним определенным родственником, получает также и другое значение.

4. Основная тема доклада — анализ номинаций родителей жены и мужа и обращений к ним, т. е. речь пойдет главным образом о *свекрови* и *свёкре*, а также о *тёще* и *тесте*. Эти лексемы и их словообразовательные дериваты не выходят за рамки протозначений и практически не используются в качестве вокативов, за исключением слова *тёща*. Однако параллельно терминам с корнем *свек(о)р-/свёк(о)р-* для обозначения родителей жены и мужа регулярно используются термины кровного родства с протозначениями ‘мать’, ‘бабушка’, ‘тетя’ для *свекрови* и *тёщи*, ‘отец’, ‘дед’ для *свёкра* и *тестя*.

Для именования свекрови используется более десятка дериватов с корнем *свек(о)р-/свёкр-* (*свекорка*, *свекрова*, *свекровина*, *свекровка*, *свекровушка*, *свекровь*, *свекровья*, *свекруха*, *свекрушка*, *свекры*, *свёкра*, *свёкрушка*), более десятка дериватов с корнями *мам-/мат-* (*мама*, *мамаша*, *маменька*, *мамка*, *мамонька*, *мамушка*, *матенка*, *матенька*, *матерь*, *мати*, *матка*, *матушка*, *матушко*, *мать*), немногим менее десятка дериватов с корнем *баб-* (*баба*, *бабка*, *бабонька*, *бабулька*, *бабуля*, *бабуся*, *бабушка*, *бабушко*), иногда используются лексемы с корнем *тет-* (*тёта*, *тётенька*, *тётя*), а также дериваты с корнем *стар-* (*старая*, *старуха*, *старушка*).

Для номинации свёкра используется более десятка дериватов с корнем *свек(о)р-/свёк(о)р-* (*свекореюшко*, *свекорила*, *свекорило*, *свекорилушко*, *свекров*, *свекровушко*, *свекрошко*, *свёкор*, *свёкорка*,

свёкор, свёкр, свёкрушка, свёкрушко), а также корни, связанные в архангельских говорах с понятием «отец»: **бать-** (бацька, бацько, батюнька, батюшка, батюшко, батя), **тат-/татъ-/тятъ-** (тата, татка, татушка, татушко, татенька, татька, татя, тятенька, тятька, тятя), **пап-** (папа, папаша, папенька, папонька), **отец-** (отец) и **дед-** (дед, деда, дедка, дедко, дедо, дедушка, дедушко). Кроме того, в числе обозначений свекра отмечена лексема *дединко*, а также дериваты с корнем **стар-** (*старик, старичонко, старой*).

Нередко термины кровного родства и свойства объединяются, в результате чего возникают сложные наименования. В обозначении свекрови это *бабка-свекровка, бабушка-свекровка, бабушка-свекровушка, бабушка-свекруха, маменька-свекрова, матушка-свекровушка, свекрова-матушка, свекровка-матушка*, а также *свекровушка-старушка, старуха-свекровка*; в обозначении свекра — *батюшка-свёкор, дедко свёкор, свёкор-батюшко, свёкор-дедка, свёкор-татенька, свёкр-батюшка*. Кроме того, для обозначения свекрови и свекра достаточно часто используются постоянные эпитеты-характеристики (как правило, в фольклоре): *лиха мать свекровушка, лихая свекровка, лютая свекрова* и *лют-свёкор, свекровка-воркотовка, свекровушка воркотливая* (долгозубая, зубатая).

5. При обращении к свекру, свекрови и тестю используются исключительно термины кровного родства. Употребление одних и тех же лексем в разных значениях (для наименования / обращения к матери и к некровной родственнице) порождает две разнонаправленные тенденции: одна из них — развести, разделить значения, используя для этого разные лексемы, другая — противоположная — заменить различие на новое сходство.

6. Достаточно часто однословный термин родства заменяется аналитическим. Чем дальше от центра (*мать, отец*) к периферии — боковому и нисходящему / восходящему родству (*племянники, внуки, деды*), тем чаще используются описательные словосочетания, сочетания-пояснения. Синтаксические модели, по которым они образованы, регулярны для всех типов родства, в том числе для кровного. При этом аналитическая форма используется и тогда, когда есть однословный термин. Для обозначения свекрови зафиксированы следующие аналитические формы: *бацькова матка, дедку мати, дедушкова мама, мать мужичка, мать по мужу, мужа (мужика) мати (мама), мужикова*

матушка, мужова (мужья) мать и др.; для свекра: *дедов отец, дедко у мужика, мужиков дедко, мужиков отец, отец у дедка*.

7. Новые родители, в дом которых переходила молодая невестка, считались *сужеными* или *богоданными*: «Как хороша-то жирушка, богоданным родителям вековое поминаньице». Термин *богоданный* может использоваться и как субстантиват: «Раньше богоданных ведь уважали», «Немного жила с богоданныма». Мотивация *богоданных* родителей прозрачна: это «новые» родственники, «Богом данные»: «И муж — жених богоданный, есь богоданные родители да сё. Всё это от Бога пришло».

К. А. Климова

Московский государственный университет, Москва
kklimova@list.ru

Персонифицированный образ личной судьбы в новогреческом фольклоре и его лексическое выражение

Для обозначения судьбы в современном греческом языке используется большое число лексем: *μοίρα, τύχη, ριζικό, τυχερό, γραφτό, γραμμένο, πεπρωμένο, εμαρμένη, κismet*. Все они функционируют в самых разнообразных фольклорных тестах: от вербальных формул призывания судьбы в помощь при гадании до текстов новогреческих быличек и сказок. Эти лексемы могут выражать собственно отвлеченное значение ‘судьба’ или конкретное значение ‘счастливая судьба’, а также использоваться для обозначения персонифицированной судьбы, Судьбы как мифологического персонажа (МП), причем этот МП имеет два вида — Судьбы-Мойры, определяющие будущее новорожденного младенца, и персонифицированная Судьба конкретного человека. Настоящий доклад будет посвящен исследованию второго вида, образа «личной» судьбы человека.

Ф р а з е о л о г и я. Во фразеологических единицах новогреческого языка можно обнаружить косвенные указания на наличие у человека

личной судьбы: *αὐτός κοιμάται καὶ ἡ τύχη του δουλεύει* (досл.: «он спит, а его судьба работает») — о не прикладывающем особенных усилий человеку, которому сопутствует удача.

К а л е н д а р н ы е г а д а н и я. Указания на личную судьбу встречаются в текстах, сопровождающих традиционные календарные гадания. В ночь перед определенным праздником, ложась спать, девушка произносила текст, в котором обращалась к своей личной Судьбе или к Судьбам-Мойрам в целом, чтобы они открыли, за кого ей суждено выйти замуж. Примечательно, что все обнаруженные тексты такого рода были приурочены не к празднику св. Иоанна Предтечи (24.06), во время которого в Греции в основном осуществлялись гадания, а к другим праздникам: дню св. Екатерины (25.11), Феодоровской субботе (первая суббота Великого поста), дню св. Василия (1.01). Ср. пример:

Ἀγίε Βασίλῃ μου καλέ,
καλέ καὶ ἀγαθέ,
ἀπὸ τὴν ἐρημὸ περνάς,
καί τ ι ς Μ ο ί ρ ε ς ἀπαντάς,
ἀν δεις καί τ ῆ δ ι κ ῆ μ ο υ,
να μου τὴν χαίρετάς.
Ἀν κάθεται, να σηκωθεί,
κί αν στέκεται, να περπατεί,
να ῥθει να θερίσωμε
σιτάρι καὶ κριθάρι,
καὶ χρυσὸ μαργαριτάρι [Μέγας, 1976, 3].

Святой Василий мой хороший,
хороший и добрый,
ты по пустыне идешь
и М о й ρ встречаешь,
если увидишь и м о ю,
поприветствуй ее от меня,
Если она сидит, пусть встанет,
если стоит, пусть идет,
пусть придет, чтобы мы сжали
пшеницу и ячмень
и золотой жемчуг.

В большинстве текстов-призываний используется слово *Μοίρα* (также в выражении *ἡ Μοίρα τῶν Μοιρῶν* — «Судьба Судеб»), однако обнаруживаются редкие локальные варианты, относящиеся, очевидно, к одному инвариантному тексту, с использованием лексики *Τύχη* вместо *Μοίρα*.

Н е с к а з о ч н а я п р о з а. Рассказы о встрече человека со своей личной судьбой занимают очень маленькую часть от общего числа быличек и легенд о Судьбах-Мойрах, которые, по поверьям, приходят на третью (пятую, седьмую) ночь после рождения младенца и определяют его судьбу на всю жизнь. Персонифицированная судьба человека описывается по-разному: некрасивая старуха, одетая в черное, женщина с завязанными глазами или красивая женщина. Основной сюжетный мотив текстов такого рода – встреча человека с личной судьбой, попытка

изменить свою судьбу. Этот мифологический образ во многом схож со сказочным образом Судьбы. В текстах несказочной прозы обычно производится четкое разграничение терминологии судьбы: если термин *Moíra* употребляется в отношении МП, определяющих судьбу новорожденного, то *Tύχη* — в отношении личной судьбы.

С к а з к и. В рамках сказочного дискурса образ личной судьбы видоизменяется, приобретая характерные особенности сказочного персонажа. Это преимущественно старушка, часто с прялкой в руках, которая встречается герою в трудный момент, когда он должен пройти испытание, и выполняет функцию чудесного помощника. Сравнительно небольшое число тестов, однако, показывает совсем другую картину: персонифицированная судьба предстает в виде злого персонажа, противостоящего герою или не принимающего никакого участия в его жизни. На лексическом уровне в сказочном дискурсе наблюдается смешение имен *Moíra* и *Tύχη* в значениях 'личная судьба' и единичное использование других имен (например, *Μπεκρού* — 'пьяница').

Μέγας Γ. Ελληνικά εορταί και έθιμα της λαϊκής λατρείας. Αθήνα, 1976.

Е. С. Коган

Уральский федеральный университет, Екатеринбург
ekaterinakogan@yandex.ru

Реальные и ирреальные ситуации как образная основа фразеологизма

С точки зрения соотношения плана выражения и плана содержания фразеологические единицы (далее — ФЕ) обладают определенной ситуативной «двоичностью»: одна ситуация подвергается называнию при помощи ФЕ, другая является образом, посредством которого происходит обозначение. При этом ситуации, лежащие в основе «исходного» образа, можно разделить на реальные, т. е. такие, которые

действительно имели / могли иметь место, и ирреальные — те, которые по некоторым причинам не могут осуществиться.

Основополагающим признаком для выделения ситуации предлагается считать наличие эксплицитной или имплицитной предикативности, т. е. соотнесенности описываемого явления, факта с определенным промежутком времени, а также своеобразной «наполненности» этого промежутка времени действием.

Согласно Б. Потье, находящееся в центре концептосферы *ego* («я») окружено тремя полями — время, пространство и знание, включающее в себя представление о причинно-следственных связях [см.: Pottier, 1992, 73–74].

Для фразеологизмов, основанных на потенциально реальных ситуациях, характерно минимальное использование темпоральных образов. Наименования промежутков времени, временных периодов не задействуются, и одним из немногих базовых образов — и то с определенной оговоркой — можно назвать образ ситуаций, занимающих определенное количество времени: перм. *доле ворона на кусте сидит* ‘кратковременно, непродолжительно’. Время осмысляется как предельно объективная, независимая от человека категория; кроме того, время обладает изменчивостью, что определяет сложность использования темпоральных образов в качестве базы ФЕ.

Пространство воспринимается более постоянным; ситуации, обладающие пространственными характеристиками, способны к неоднократному повторению; среди множества ситуаций выделяется чаще всего повторяющаяся либо наиболее яркая, — и, фразеологизируясь, она становится репрезентантом более широкого спектра ситуаций.

В своем восприятии человек членит пространство, зонировывает его, выделяет определенные маркеры. Можно обозначить следующие связанные с пространством ситуации: преодоление границы пространства (перм. *за ворота выйти* ‘умереть’, *за огород не бросишь* ‘не откажешься, не освободишься как от чего-л. ненужного’, *в чужую дачу заехать* ‘достигнуть преклонного возраста’), определение меры пространства (печор. *выше забора считать себя* ‘вести себя заносчиво, высокомерно’), перемещение в пространстве (перм. *ко кресту ехать* ‘умирать’).

Фразеологизмы, использующие образы сферы знания, характеризуются особой связью плана выражения и плана содержания, когда план содержания является не только генерализацией отношений,

обозначенных через частную ситуацию плана выражения, а логическим «выводом» из нее: перм. *у сусека дна не видит* [потому что] ‘жить в недостатке, обеспеченности’.

В качестве наиболее распространенных исходных ситуаций используются жесты (пск. *две руки к сердцу* ‘ничего не имея при себе, оставшись без средств существования’), действия бытового характера (печор. *веревку извить* ‘запутанно сказать, схитрить, обмануть’, пск. *на собаках шерсть стричь* ‘бездельничать, уклоняться от работы’), действия, связанные с ремеслами и промыслами (перм. *кислую шерсть бить* ‘заниматься маловажным делом, бездельничать’). В данной группе наиболее ярко проявляется реакция языка на изменение окружающей действительности — происходит вплетение новых образов и ситуаций в основу фразеологизма: перм. *в белой майке ходить* ‘пользоваться привилегиями’.

ФЕ, основанные на ирреальных ситуациях, могут образовываться в рамках следующих схем.

Ситуации темпоральной ирреальности: несуществующий период времени (пск. *до морковкиных заговен* ‘о неопределенно долгом сроке’), аномальный ход времени (пск. *искать вчерашний день* ‘заниматься бесполезными поисками чего-л.’, перм. *наказывать четвергов с неделю* ‘наговорить много’), несоответствие факта действительности заданной временной зоне (пск. *в Петров день на льдине разорвало* ‘о том, чего не было, не существовало, не существует’).

Ирреальность, связанная со сферой пространства, базируется на следующих ситуациях: несоответствие места производимому действию (пск. *утонуть на сухом берегу* ‘надолго где-л. задержаться’), ирреальность места, связанного с совершением действия (пск. *душа в рай бежит* ‘кто-л. испытывает приятные чувства’), нарушение физических законов, связанных с пространством (печор. *скорее Печора вверх пойдет* ‘о том, что не может произойти’).

Ирреальность сферы знания передается следующими типами ситуаций: несоответствие материала объекту (пск. *с песку веревки вить* ‘заниматься бесполезным делом’, печор. *из бревна мальчику сделать* ‘о неумелом, неэкономном человеке’), использование объекта в функции, ему не присущей (пск. *лаптем щипать хлебать* ‘жить в нищете и невежестве’), упоминание несуществующего объекта (пск. *только птичьего молока нет* ‘о разнообразии, обилии чего-л. у кого-л.’),

восприятие абстрактного объекта как конкретного (печор. *завязать горе веревочкой* ‘перестать печалиться’), нарушение биологических законов и процессов (рус. *коми глядеть ротом* ‘быть рассеянным, невнимательным; глазеть по сторонам, ротозейничать’, *семь отцов, восьмой батюшко* ‘кто-л. не имеет, не знает своего родного отца (о внебрачном ребенке)’), одновременное выполнение двух взаимоисключающих действий (перм. *стоит да идет* ‘дело не продвигается’).

Pottier B. Sémantique générale. Paris, 1992.

М. М. Кондратенко

Ярославский государственный педагогический университет, Ярославль
mmkondratenko@gmail.com

Славянская диалектная хрононимия как источник сопоставительных этнолингвистических исследований

В настоящее время мы наблюдаем развитие этнолингвистического подхода к описанию языковых единиц, в рамках которого последние изучаются через призму репрезентации ими феноменов традиционной культуры. Одновременно расширяются исследования в русле анализа явлений изосемии, связывающих лексику достаточно удаленных в генетическом отношении говоров. В этом отношении вызывает интерес перспектива изучения славяно-германских семантических параллелей в свете раскрытия сходства и различий внутренней формы наименований, характерных диалектных образов, лежащих в их основе и составляющих важную часть традиционной духовной культуры.

Одним из пластов диалектной лексики, которые особенно важны для исследований подобного рода, является народная хрононимия. Самым непосредственным образом с задачами этнолингвистики связано изучение наименований праздников и сопровождающих их названий персонажей народной мифологии, обладающих отнесенностью

к определенному отрезку календаря. Однако номинация других периодов времени, не связанных с календарной обрядностью, дает не меньше оснований судить об особенностях мышления носителей диалектов и о том, что именно делает круг времени в народном языковом сознании магическим.

Для выявления подлинной специфики славянских диалектных семантических феноменов был предпринят опыт их сравнения с лексическими данными одного из южнонемецких диалектов, а именно — восточно-франконского (распространенного на севере Баварии в районе городов Нюрнберг — Вюрцбург — Байройт).

Одним из свойств славянской темпоральной лексики является ее связь с семантикой пространства, например, яросл. *с неделю ростом* ‘о высоком человеке’. Аналогичное явление характерно и для южнонемецкого диалекта: «Wie weit ist es denn?» [«Который час?»] (буквально «Как далеко?»).

Сопоставление с генетически иным языковым материалом позволяет внести дополнительные сведения в дискуссию о первом дне славянской недели (воскресенье или понедельник). Словарь баварских диалектов дает для выражения *End der Woche* (конец недели) значение ‘пятница и суббота’, при этом специально уточняется, что воскресенье концом недели не является. Кроме того, в этом же диалектном микроузле отмечено словосочетание *acht Tage* (восемь дней) в значении ‘неделя’: «Der Markt findet alle 8 Tage statt» [«Ярмарка проходит каждые восемь дней»], что ставит новые задачи для исследования феномена недели в архаическом сознании предков современных славян и немцев.

Другой важной составляющей славянской хрононимии являются обозначения времени работы и перерывов в производственной деятельности, в том числе праздников. В немецкой диалектной лексике, так же как и в славянской, представлены различные периоды суток по характерному для них виду работы: яросл. *ранний уповод* ‘период работы утром’, вост.-франкон. *Fütterzeit* ‘время кормления скота в хлеву’. Однако в немецком материале выделяются наименования выходных дней, не фиксируемые на славянской языковой территории: это названия праздников, выпадающих не на воскресенье, а на рабочие дни недели — *blinder Sonntag, falscher Sonntag* (буквально «слепое воскресенье», «неправильное воскресенье»).

Важнейшим периодом славянского народного календаря, характеризующимся большим количеством разнообразных номинаций, являются святки. С точки зрения языковой сегментации, этот период времени так же широко освещен и в немецких диалектах. Особый интерес вызывают наименования святочных персонажей и их этнолингвистическая интерпретация. Примером такого персонажа, в частности, является *босорканя*. В словаре «Славянские древности» представлено описание ее внешности, функций и времени ее появления. Сопоставление по этим параметрам позволяет выделить общие и специфические черты аналогичного персонажа южнонемецкой народной мифологии *Берты*, *Железной Берты* (фонетические варианты — *Bercht*, *Percht*). По внешнему виду это, как и ее славянский аналог, отвратительная женщина, обликом и одеждой соответствующая представлениям о ведьме. Однако ее функции отличаются: Берта приносит с собой репейник и железо для наказания детей; непослушным детям грозят тем, что Берта вскрыет им желудок и набьет сеном.

Этот персонаж интересен и в другом отношении: *Percht* отмечена в словенских говорах. Если учесть, что произношение глухого [p] на месте звонкого [b] — типичная черта многих южнонемецких говоров, можно предположить заимствованный характер если не обозначаемого персонажа, то его наименования в словенском (как и возможное происхождение словен. *vylezaj* ‘весна’ (буквально «выход») из юж.-нем. *Hinauswärts* с той же внутренней формой).

Таким образом, сопоставление славянской диалектной хронологии с лексическим материалом немецких говоров позволяет увидеть как ее специфические, так и в той или иной степени универсальные семантические признаки.

Фитонимические «фантомы» в русской народной культуре

Некоторое время назад при проведении серии психолингвистических экспериментов, направленных на выявление психологической реальности, присущей смыслам базовых концептов народной культуры, студентам-филологам были заданы среди прочих вопросы: «Как вы себе представляете *цветочек аленький* из одноименной сказки С. Т. Аксакова?», «Почему *цветочек аленький* — это диковинное чудо?» Недоумение у экспериментаторов вызвали цветовые характеристики стимула: *синий, синенький, фиолетовый, лиловый*. Парадоксальные, на первый взгляд, ответы не были, тем не менее, единичными и составляли около 10 % выборки. Что это? Свидетельство неусвоенности значения колоративов? Известно, что паронимазы *алый* и *лиловый* довольно часто в речевой практике смешиваются. Возможно, однако (если учесть состав испытуемых), мы видим факты своеобразной культурологической рефлексии по поводу вымышленной фитонимической реалии, своего рода фантома. В психологическом плане фантом обычно рассматривается как нечто не существующее в стимульной реальности. Применительно к народной фитонимии фантомами, на наш взгляд, можно считать культурно коннотированные номинации, характеризующиеся референтной диффузностью и отражающие стереотипные представления народа о чудодейственных растениях.

К таким фантомам в русской народной фитонимии могут быть отнесены, например, *разрыв-трава, пострел-трава, одолень-трава, перенос-трава* и другие номинации, выражающие идею чудесных свойств растений-целителей, помощников и т. п. В данном разряде лексики «работают» типовые мотивационные техники, которые создают «ономасиологический фундамент», отражающий «свойства названной словом реалии (точнее, составляющие наивного понятия о реалии), концептуализированные в языке» [Березович, 2014, 19] и в совокупности представляющие некий культурный гештальт.

Ср.: *пострел-трава* — «Трава пострел растет при борах в марте, апреле и мае. Ту траву рвать в апреле 22, 9 или 23 числе, в то место положить индейское яйцо. Та трава вельми добра носить при себе, и дьявол бежит от того человека. Кто станет избу ставить — положи под первое угольно бревно — добро будет» [Флоринский, 1879, 7]; *разрыв-трава* — растение, с которым связано множество мифов, она «будто бы режет железо, ломает замки и добывает клады» [Даль, 1851, 123]: «... на которой траве в Иванову ночь коса переломится, та и есть разрыв-трава <...> держит цвет лишь столько времени, сколько нужно, чтобы прочесть “Отче наш”, “Богородицу” и “Верую”» [Ермолов, 1902, 341]; если ее положить на наковальню, кузнец не сможет ковать железо, если в реку бросить разные травы, то она одна поплывет против течения, и т. д. [СД, 4, 396]. Известны мифологические сюжеты, включающие в разной степени детализированные «алгоритмы» взаимодействия с разрыв-травой. См., например, один из множества вариантов: «Добывали разрыв-траву с помощью черепахи, гнездо которой огораживали частоколом из гвоздей. Черепаха, чтобы попасть к своим детям, уползала в темноту и откуда-то приносила во рту разрыв-траву. Тогда наблюдатель подходит смело к гнезду, берет траву и врезает ее в ладонь левой, но не правой, руки, иначе тогда ему нельзя будет держать в правой руке оружие» [Забылин, 1880, 67].

Можно заключить, что трава кладоискателей (как и другие приведенные выше примеры) — это только фантом, появляющийся в процессе восприятия признака жесткости, характерного для листьев высушенного растения, которым можно даже чистить и полировать металлы. Механизм метафоризации при этом основывается на пересечении профанных и сакральных характеристик растения, которое при гиперболизации его специфического свойства вписывается в сюжет традиционных народных представлений о растениях-целителях, обладающих чудодейственными сверхъестественными свойствами, помогающих в разных ситуациях, в частности — позволяющих реализовать мечту разбогатеть, найдя клад.

Приведем некоторые аргументы, подтверждающие существование стереотипов «народной прагматики» фитонимических фантомов:

1) наличие весьма длинных синонимических рядов номинаций мифологического растения, отражающих разные его чудесные свойства (ср., например: *разрыв-трава* — *спрыг-трава*, *скакун-трава*,

травы прыгун, трава огонь, недотрога, не-тронь-меня, ключ-травы и др.);

2) приписывание имени самым разным, часто непохожим растениям (ср. существование нескольких версий, согласно которым *разрыв-травой* называют бальзамин обыкновенный, некоторые разновидности папоротника, камнеломку обыкновенную и др.; ни одна из версий не представляется бесспорной, поскольку описания растения в разных источниках существенно расходятся: называется цвет от рудо-желтого до сине-фиолетового (желтый, кровавый, алый, красный, огненный, жар-цвет, лиловый); место произрастания (как правило, сакрально маркированное) — болото, темный бор, чаща, широкая степь, заброшенный пруд, перекресток трех (пяти, семи) дорог и т. п.);

3) включенность фитофантомов в широкий культурный контекст и представленность их в разных кодах культуры (кроме народной языковой традиции): в магических и бытовых практиках, в ритуальных действиях народной медицины и традициях русских народных травников и лечебников и др.

Березович Е. Л. Русская лексика на общеславянском фоне: семантико-мотивационная реконструкция. М., 2014.

Даль В. И. Учебное руководство для военно-учебных заведений. Естественная история. Ботаника. 2-е изд. СПб., 1851.

Ермолов А. Народная сельскохозяйственная мудрость в пословицах, поговорках и приметах. Т. 1 : Всенародный месяцеслов. СПб., 1902.

Забывин М. Русский народ, его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия. М., 1880.

СД — Славянские древности : этнолингв. словарь : в 5 т. М., 2009.

Флоринский В. М. Русские простонародные травники и лечебники. Собрание медицинских рукописей XVI–XVII столетий. Казань, 1879.

Отражение мифологических и христианских представлений о болезни в свете языковых данных (старообрядцы Латгалии)

Здоровье является одной из важнейших ценностей в народном мировидении. Концепт здоровья связан с представлениями о жизни, судьбе, грехе, труде, чистоте и смерти. «Жизненное время, “век”, по народным представлениям, предопределено судьбой» [Толстая, 2008, 171]. Староверы Латгалии (юго-восточная часть Латвии) распорядителем судьбы считают Бога. Здоровье и смерть зависят от праведности человека. О наказании грешника староверы говорят: *Бог не принимает ‘о мучительной смерти’; Бог наказал; Бог обидел; Бог разум отнял; Бог скарал*. Интересно, что в языке староверов устойчивых словосочетаний, показывающих заступничество Бога, гораздо больше, чем тех, которые отражают представления о Боге, карающем грешника: *Бог выведет; Бог даёт; Бог крыл; Бог миловал; Бог миновал; Бог подсказал; Бог пожалел; Бог помиловал; Бог помог; Бог пронесёт; Бог сохранил; Бог спас; Бог хранит*.

Неверующий человек, ведущий достойную жизнь, получает в награду легкую смерть, верующий грешник — тяжелую и мучительную: «В Божьем же писании написан: люта и лиха смерть грешнику. Человек вот Богу верующий, его Бог наказывает болезням, чтоб ты покуту отнёс свою за грехи свои, а который не верит, ему ничего, он живёт, так и помрёт, а как там, никто не пришел не сказал».

Человек не знает, когда наступит его смертный час, каким он будет, как его примут на небесах: «Бог там разберёт, когда помрём, тада узнаем, куда нас там посудя и посадя, кто что заработал, а Бог святой там зная».

В традиционной культуре считается, что если человек живет слишком долго, он «заедает» чужой век. Обычно долгожители-староверы говорят: «Меня Бог держит, Бог не кинул», — полагая, что живут они долго по воле Божьей. Однако в последнее время у староверов появилось другое объяснение долголетия: «Что я переживши, что я

перевидавши, что я переслыхавши. Можа, я чей век живу, можа, кто у нас в роде рано помёрши, можа, евоный век живу».

Иногда тяжелой болезнью человеку приходится расплачиваться за грехи своих родственников: «Моя сестра долго лежала без ног: “Ай, Куленька, в тебя ж своих нет грехов, за чии жа ты грехи лежишь?”» Бытует и другое представление: человек должен «помучиться» перед смертью — *отнести покуту*.

Когда человек работает, занят чем-то полезным, болезни ему не страшны: «Болезни, наоборот, от расслабления бывают. Мне, если нечево что делать, тряпки перекладаю».

Народная философия связывает представления о болезни с религиозным, христианским концептом, а именованья самих болезней и предикаты-метафоры, называющие болезненные состояния, отражают мифологические воззрения славян на болезни. В роли предикатов используются глаголы, обозначающие весь спектр вредоносных действий демонов болезней, которые угрожают существованию человека: *бить, давить, держать, душить, жать, кидать, палить, положить, рвать, сбить, свалить, свернуть, съесть, трясти, ударять, хватать*. Эти глаголы обладают метафоричностью, отражающей агрессивно-наступательный характер демонов болезней и пассивность больного человека. Борьба за жизнь наиболее ярко предстает в паре *хватить* — *отхватить*: «Моему было,хватило его, лежит, одна женщина подошла, скорую вызвали: инсульт. Хорошо, отхватили».

В говорах староверов эти глаголы могут использоваться как в личном («Нитромент — это, если хватают боли, я его держу как скорую помощь»), так и в безличном употреблении. При этом каузатор стихийного неконтролируемого действия демонов болезни может быть выражен формой творительного падежа («Янухватило родам») или не выражен совсем. Невыраженность каузатора в этом случае исторически может оцениваться как своеобразный способ эвфемизации, столь распространенной в народной культуре, если речь идет о болезни, эпидемии, нечистой силе и смерти: «Наверно, в меня враг (рак) вселился».

В жаргонах, распространенных на территории Латвии, напротив, сам человек выступает каузатором болезни, поскольку предстает как существо активное. Активность «неправильных» действий в данном случае и приводит к болезни. При этом в контекстах используются глаголы *достать, догнать, поймать*: *хворобу достать* ‘заболеть’,

бэ догнать ‘заболеть гепатитом Б’, *воспаление лёгких поймать* ‘заболеть воспалением легких’.

Таким образом, по представлениям староверов, здоровье дано человеку изначально Богом, а болезни связаны с нарушением Божьих законов и Божьей воли, с действием неуправляемых сил природы и злых людей. По данным языка, человек — пассивное существо; если он будет активным, болезнь все равно его одолеет (материалы жаргонов). Ср. такое рассуждение: «Общая идея здоровья наиболее четко и ярко проявляется в южнославянских традициях. Если северные славяне заботятся о том, чтобы не заболеть, то южные — о том, чтобы быть здоровыми. Это иная тактика и стратегия, наступательная, а не оборонительная» [Усачева, 2008, 262].

Толстая С. М. Пространство слова. Лексическая семантика в общеславянской перспективе. М., 2008.

Усачева В. В. Магия слова и действия в народной культуре славян. М., 2008.

Е. В. Кралина

Уральский федеральный университет, Екатеринбург
catiche2005@rambler.ru

Когнитивные подходы при исследовании исторической семантики на примере слов *граница (грань), межа и рубеж*

Вопрос о возможности применения когнитивных подходов в этимологии и исторической семантике в настоящее время является достаточно спорным. Это обусловлено тем, что когнитивная лингвистика опирается обычно на синхронный («живой») материал, легко верифицируемый в количественном отношении. Многие когнитивисты прямо заявляют, что для исследования необходим обширный корпус употреблений изучаемого языкового факта.

Однако это требование не останавливает специалистов, работающих с историческим материалом, так как даже ограниченный корпус

может в некоторых случаях дать достаточную почву для анализа исторических фактов в когнитивистском ключе. Фактор «культурного предвыбора» (в терминологии Л. Талми) остается актуальным для когнитивных исследований языка, хотя зачастую игнорируется учеными-синхронистами.

Благодатным материалом для таких исследований являются лексемы и словообразовательные гнезда с пространственной семантикой. Когнитивное моделирование пространственных категорий и отношений в языке на историческом материале дает значимые результаты как для когнитивной лингвистики, так и для исторической семантики. Учет различий в изначальных мотивационных моделях особенно важен при работе со словами, обозначающими схожие понятия.

В исторической перспективе русского языка понятие территориальной границы реализовано тремя основными лексемами: *граница* (*грань*), *межа* и *рубеж*. Существуют контексты, в которых представлены все три данных синонима: «Межю учиниль, грани тесаль, и рубежи клаль» [Срезневский, 3 (1), 179–180], — хотя чаще встречаются те, где упоминаются лишь два из способов маркировки присвоенного пространства.

Этимологически слово *межа* произведено от прилагательного **medhiā* (от **medhiōs*) со значением ‘средний’, ‘срединный’, при этом само значение ‘граница; межа’ достаточно древнее. Значение срединного местоположения вскрывает изначальную пространственную модель соположения, которая влияет на этимологическое гнездо в целом. Интересно, что данная модель пространства предполагает скрытое отождествление занимаемой территории и субъекта-посессора, что доказывается, например, историческими контекстами с предлогом *между*, а также представлением об обоюдном владении *межой*, ср. у Даля: «Межа и твоя и моя». При этом межа представляет собой пространственный промежуток (*spatium*), т. е. обладает площадью, «функционально» ограниченной по сравнению с хозяйственно осваиваемыми наделами, которые подвергаются межеванию.

Слово *грань* (*граница*) производно от глагола **graniti*, для которого ведущей оказывается семантика обработки древесины (этимологически в гнезде прослеживаются связи с древней семантикой роста). От значения ‘зарубка на дереве, затес’ до более абстрактного значения ‘границы земельного участка’ слово *грань* (и впоследствии заимствование

граница) эволюционирует благодаря способу освоения присвоенного пространства: обходу по периметру надела. При этом представление о соседствующих наделах деактуализируется. Поэтому *грань* (*граница*) репрезентирует пространственную модель ограничения пространства, экстенсивно расширяющегося по мере его освоения.

Рубеж (в диалектах и исторических источниках также *рубѣц*) интересен тем, что подобно *грани* (*границе*) произведен от глагола с деструктивной семантикой (**rubiti*), в которой немаловажным компонентом являлась ‘обработка древесины’. Слово *рубеж* изначально обозначало в большей степени действие, а не только результат. В то же время наличие в гнезде большого блока значений, связанных с деструктивным взаимодействием во время рукопашного боя, обусловило восприятие зоны *рубежа* как зоны конфликта, пространства, «подлежащего» присвоению. Это подтверждается и его контекстной сочетаемостью (ср. *взять / положить рубеж*). Кроме того, *рубеж* в некоторых контекстах репрезентирует не только плоскостную модель пространства, но также задает ось его освоения по вертикали.

Несмотря на понятийную схожесть трех данных лексем и взаимозаменяемость их в исторических контекстах, за ними стоят разные когнитивные модели пространства и его освоения. На базовом уровне *рубеж* коррелирует с *гранью* (*границей*), так как в данном случае главным моделиобразующим фактором выступает сам способ маркировки присвоенного пространства, и речь здесь идет о «пространстве-контейнере». Оба слова противопоставлены с этой точки зрения *меже*, репрезентирующей скорее «пространство вещей».

Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам : в 3 т. СПб., 1893–1912.

Образ Волги в русской языковой традиции

В докладе осуществляется реконструкция языкового образа Волги по данным лексики (нарицательной и проприальной) русских народных говоров и общенародного языка. Лингвистические и лингвокультурологические исследования, связанные с этим гидронимом, ориентированы либо на этимологию самого слова *Волга* (см. работы В. Н. Топорова, Н. С. Трубецкого, статьи «Волга» в этимологических и топонимических словарях), либо на воссоздание «волжского текста» по данным литературы и фольклора [см., например: Одесский, 2004].

Кажется, что до сих пор не предпринималось комплексное изучение деривационно-фразеологического гнезда с вершинным словом *Волга*. Это гнездо составляет ядро языкового образа Волги. В данное гнездо входят семантико-словообразовательные дериваты гидронима: нарицательные лексемы (арх. *волга* ‘ручей, образующийся во время половодья; русло такого ручья’: «Волга пойдёт, так выполощемся»; «Ручей идёт только весной, только в большую воду, а то ручья-то нет, а тоже волга»); антропонимы (*Дуня Волга* ‘прозвище жительницы Верхнетоемского района Архангельской области’: «Дуня Воўга лоўкая баба, весёлая»); устойчивые сочетания и фразеологизмы, включающие сам гидроним (*Волга-матушка*, рус. коми «Волга ходит долго» ‘об умном, опытном человеке, умеющем с выгодой для себя выполнить любое дело’; рус. карел. *как Волга* ‘о веселом, бойком и быстром человеке’; диал. *по Волге зайчики бегают* ‘пена на пиве, капусте’; рус. морд. *хоть Волгу с Сурой пой* ‘о крайне затруднительном положении’) или его производные (перм. *волжское солнышко* ‘месяц, луна’; рус. морд. *уходить в заволгу, ходить по заволгам* ‘ходить на заработки’: «Отец по заволгам ходил»; «Земли у нас мало было, мужики по заволгам ходили, до зимы, бывало, дома нет»; «Маладѣж вся тады в заволгу уходила»).

Периферию языкового образа образуют свободные текстовые сочетания — например, пословицы и поговорки («На словах Волгу

переплывает, а на деле — ни через лужу» ‘о хвастливом человеке, краснобае’). В некоторых случаях для характеристики «волжского пространства» привлекаются тексты песен, сказок, былин, народных драм и под.

Диалектный материал располагается по предметно-понятийным сферам, которые определяются исходя из внутренней формы лексем и фразеологизмов и с опорой на значения дериватов гидронима. Таким образом, способ подачи языковых фактов — идеографический.

Кажется возможным выделить следующие идеографические рубрики: «Географическое пространство» (например, разг. «Волга впадает в Каспийское море» ‘о банальной истине’); «Гидрологические параметры» (например, ширина реки: «Этот нос — через Волгу мост» ‘о чем-либо очень большом, длинном носе’); «Флора и фауна» (птицы: диал. *волжский кулик* ‘кулик-сорока *Haematopus ostralegus*’); «Социум» (бурлачество: диал. *волгарить* ‘бурлачить по Волге’); «Материальная и духовная культура» (ремесло: *поволжская вышивка* ‘вышивка народов Волжского бассейна с преобладанием языческих мотивов’).

В самом общем виде языковой образ Волги можно охарактеризовать так: Волга в народном сознании оказывается воплощением водной стихии, в своем роде архетипом реки вообще, о чем свидетельствует присутствие некоторого числа вторичных гидронимов, обозначающих объекты, которые географически не связаны с главным гидрообъектом (ср. *Волга* в архангельской топонимии в названии ручьев), а также наличие гидрографических апеллятивов с корнем *волг-* (*-вол(о)ж*) (ср. волж. *волжка*, *воложка* ‘рукав Волги или Камы; ручей’, арх. *волга* ‘ручей, образующийся во время половодья; русло такого ручья’). Волга — очень длинная («Волга ходит долго»), широкая («В ложке Волги не передедешь»), полноводная река с быстрым течением (красноярск. *что Волга* ‘красивый, бойкий, веселый’). Языковой образ реки оценочен и противоречив: с одной стороны, Волгу любовно называют *матушкой*, с другой — она оказывается источником слез и бед (фолькл. *льется как Волги вода* ‘беды следуют одна за другой, постоянно’). Фольклорные данные дополняют эту безрадостную картину мистическим мотивом опасности волжского пространства.

Главную сплавную реку России нельзя представить без людей, освоивших ее. Типичный волжанин — это бурлак, разбойник или уголовник, как правило, человек тертый, бывалый и склонный

к мошенничеству и разгулу (диал. *волгарь* ‘коренной, прирожденный судовщик, ходок по Волге; бурлак’: «Здесь народ волгарь; я, брат, и сам с Волги; народ тертый, плут, я и сам наторел, знаю вашего брата»; жарг. угол. *из Волги приехать* ‘самовольно вернуться из колонии’; диал. *наволжиться* ‘избаловаться в бурлачестве на Волге, выучиться пьянствовать, буйнить, мошенничать и пр.’).

Одесский М. П. Волга — колдовская река: От «Двенадцати стульев» к «Повести временных лет» // Геопанорама русской культуры: Провинция и ее локальные тексты. М., 2004. С. 605–624.

И. В. Крюкова

Волгоградский государственный социально-педагогический университет,
Волгоград
kryukova-irina@ya.ru

Аргументативная функция имени собственного

Настоящая работа, представляющая собой часть исследования внешней прагматики онима, направлена на выявление аргументативной функции имени собственного в современных медиатекстах.

Аргументативные функции определяются в коммуникативно-прагматической лингвистике как «функции языковых выражений в тексте, указывающие на аргументативный статус конкретного фрагмента текста. Они составляют базовый уровень интерпретации для остальных иллюкутивных функций, оперирующих в тексте» [Демьянков, 2000].

Контекстуальный анализ показал активное использование имен собственных в аргументативной функции. Можно говорить о применении в доказательстве и опровержении смысловой модели-топа «имя», когда источником изобретения содержания становится обращение к смыслу или происхождению имени, актуального в данном контексте. Среди риторических смысловых моделей топ «имя» занимает

* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (грант № 15-34-01008).
© Крюкова И. В., 2015

последнее место как наименее активный способ генерирования идей. Однако, по нашим данным, в последние годы наблюдается его активизация в различных функциональных сферах. Особая продуктивность топа «имя» характерна для рекламной и политической коммуникаций, отраженных в российских массмедиа.

Основная идея автора речи, который обращается к имени собственному в качестве аргумента, основывается на оживлении ономастических коннотаций ключевых имен и названий. Актуализаторами ономастической коннотации могут выступать, во-первых, социальный, культурно-исторический или эмоциональный фон самого онима, безотносительно к его внутренней форме, во-вторых, понятийные или коннотативные компоненты значения слова, положенного в основу онима при его создании [см.: Крюкова, 2011, 139].

Актуализаторы ономастической коннотации первого типа успешно применяются в рекламе для доказательства качества и надежности рекламируемого товара. Наиболее частотны в этой функции и м е н а и з в е с т н ы х л ю д е й, преимущественно имеющих отношение к сферам шоу-бизнеса и спорта, на себе испытавших «действие» того или иного товара («Это тебе я, Костя Дзю, говорю» — реклама препарата «Анвимакс»); т о п о н и м ы, демонстрирующие преимущества товаров по географическому признаку («Электролюкс. Швеция. Сделано в уом» — реклама бытовой техники); э т н о н и м ы, доказывающие надежность товаров по национальному признаку («Это же немец!» — реклама автомобиля «Опель»); н а з в а н и я С М И, убеждающие в достоверности рекламы («80 % читательниц журнала “Гламур” подтвердили, что “Clearasil” действует быстро и эффективно»). Закрепившиеся в коллективном языковом сознании носителей русской лингвокультуры представления о референтах указанных имен собственных способствуют убедительности рекламного послания.

Актуализаторы ономастической коннотации второго типа стали активно применяться в политических дискуссиях в последние два года. При этом обращение к мотивировочным признакам имени может выступать как аргумент при опровержении софистических высказываний оппонента.

Поскольку анализ аргументативной функции имени требует в данном случае подробного описания всех обстоятельств общения, приведем только один из многочисленных примеров. Заявление

в СМИ польского министра иностранных дел о том, что концлагерь Освенцим освобождали украинцы, можно квалифицировать как ложное основание, базирующееся на подмене понятий. Имея в виду 1-й Украинский фронт, министр таким образом объяснил, почему представителей России не пригласили на празднование 70-й годовщины освобождения концлагеря. Опровергая данный тезис, постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций и в Совете Безопасности ООН В. И. Чуркин эксплицирует мотивировочные признаки, положенные в основу названий фронтов в годы войны: «Он назывался Первый украинский фронт, потому что он освободил Украину от нацистов до того, как с боями дошел до Польши. Как и все другие части Красной армии, он был многонациональным и состоял из русских, украинцев, белорусов, грузин, армян, азербайджанцев, представителей народов Центральной Азии и многих других — свыше 100 этнических групп Советского Союза» (ТВ Центр. «События». 22.01.2015 г.). Перечислительный ряд этнонимов усиливает эмоционально-экспрессивное воздействие смысловой модели «имя», служит дополнительным аргументом в доказательстве географической, а не этнической мотивации названия фронта.

Таким образом, топ «имя», традиционно квалифицируемый в риторике как периферийная, редко используемая модель изобретения содержания, становится одним из ведущих средств убеждения в современной медиаречи. Очевидна не только частотность этой аргументативной модели, но и эволюция ее форм. В соответствии с жанровыми особенностями медиатекстов одна разновидность топа «имя» наиболее востребована в рекламе, другая — в политической эристике.

Демьянков В. З. Функционализм в зарубежной лингвистике конца XX века // Дискурс, речь, речевая деятельность: функциональные и структурные аспекты. М., 2000. С. 26–136.

Крюкова И. В. Прагматика онима: направления исследований и методика анализа // Изв. Волгоград. гос. пед. ун-та. Сер. «Филол. науки». 2011. № 8 (62). С. 139–142.

К реконструкции в славянских языках некоторых фрагментов этимологического гнезда с и.-е. **ser-* ‘течь; бежать’

С расширением материальной базы исследования появились условия для выявления в славянских языках отдельных фрагментов распавшегося этимологического гнезда с индоевропейской основой **ser-*. Соответствующий славянский материал не получил отражения в словаре Покорного. Трудности воссоздания исходной картины обусловлены тем, что с разрывом генетических связей, вызванным морфонологическими изменениями, преобразованиями семантики и т. п., отдельные лексические элементы приобретают самостоятельный статус и образуют свою систему словообразовательных и семантических отношений, в которой сосуществуют образования унаследованные и относительно поздние, возникшие в разное время в отдельных диалектах.

Средствами этимологического анализа поддается восстановлению один из фрагментов этого гнезда, объединяющий рус. *ссора* (< *съ-ссора*) и с.-хорв. *ôśoran*, *ôśorŭiv* ‘резкий, грубый; вспыльчивый, раздражительный, заносчивый’, словен. *osóren* ‘неприветливый, резкий, грубый’ [Фасмер, 3, 741]. К ним можно добавить с.-хорв. *osor* ‘резкий, строгий’, ‘высокомерный, заносчивый’, ‘сердитый, гневный’ (< **obsorъ*) и ц.-слав. *въсоръ* ‘asper’, *въсоривъ* ‘difficilis’ [ЭССЯ, 30, 11–12]. В структуре и семантике диалектной лексики, связанной с проявлением отношения человека к окружающему миру, отчетливо прослеживается связь приведенных лексем с **sorъ* и глаголом **sъrati* ‘casare’ с наиболее вероятной для него исходной индоевропейской основой **ser-* ‘быстро двигаться; течь’ [ср. иначе: Bezlaĵ, 3, 303].

Не подтверждается старая версия, этимологически разделяющая рус. *сор* и *ссора* с отнесением последнего к гнезду и.-е. **suer-* (рус. *свара* и т. д.) [Фасмер, 3, 741; Pokorny, 1, 1049]. В пользу предлагаемой версии — структура отглагольных имен с корневым вокализмом *o* и *i* в соответствии с глаголами **sъrati*, **serq*, **-sirati*, а также совпадения

значений: ср. рус. диал. *сор* ‘ссора’ и *сор* ‘стыд, срам’ [СРНГ, 40, 12], *осóрьё* ‘вздорный, неуживчивый человек, заводящий ссоры’ и *осóрье* ‘сор, мусор’ [Там же, 24, 45], *засóриться* ‘начать ссориться, ругаться’ и т. п. [СГРС, 4, 191], а также *сёрники* ‘ссоры, стычки’, ср. «Как надоели мне все эти *сирники*» [СРНГ, 37, 347], ср. еще с.-хорв. *исíра се* перен. ‘говорить вздор, нести чушь’ [Стојановић, 2010, 321, 697] и др. К этому ряду примыкают производные на *-iga*: укр. *осору́га* ‘что-л. надоевшее, опостылевшее’, ‘неприятнь’, ‘чувство отвращения’, *осору́жити* ‘опозорить, обесчестить, осрамить’, родственные помор. *soríin* ‘злой дух, черт’ [ЭССЯ, 30, 13].

На славянской почве исходная семантика индоевропейской основы **ser-* трансформируется, и глагол **syrati* приобретает функцию специального обозначения физиологических отправлений. Как показывает материал, отдельные признаки исходного значения ‘бежать; течь’ проступают в семантике рус. диал. *посерáть* ‘бежать’ (перм., 1887) [СРНГ, 30, 150], *засáривать* ‘быстро бежать, ехать, лететь и т. п.’, ср. «Эй, *засаривай!* ... Ишь как *засаривает!*» [Там же, 11, 19], ср. совмещение значений в *рассáривать* и *рассорíть* ‘роняя, соря, рассыпать во многих местах’, ‘растрчивать попусту, неразумно, проматывать’ и ‘разъехаться, разойтись в разные стороны’ [Там же, 34, 202]. Идея движения определяет семантику болг. диал. *пресирам*, *присирам* ‘нервничать, спешить, торопиться; выражать недовольство и т. п.’ [БЕР, 6, 614] и т. д. Возможность семантического перехода ‘стремительно двигаться’ > ‘резкий, грубый’ > ‘ссориться’ подтверждается словен. *stékel*, польск. *wściekły* ‘дикий, бешеный’ и т. п. (< **tekti*) [Bezlaј, 3, 315].

С учетом отмеченной линии развития появляются основания для включения в гнездо **ser-/sor-* производных с формантом *-g-*: рус. диал. *сорóга* ‘несговорчивый, упрямый человек’, которое сближается с польск. *srogі* ‘строгий; большой; сильный’ (> рус. *строгий*), ц.-слав. *срагий* ‘страшный, ужасный’, н.-луж. стар. и диал. *srožys se* ‘бушевать, неистовствовать’ [Borys, 2005, 573].

- СРНГ – Словарь русских народных говоров. Л. ; СПб., 1965–. Вып. 1–.
- Стојановић Р. Црнотравски речник // Српски дијалектолошки зборник LVII. Београд, 2010.
- Фасмер М. Этимологический словарь русского языка : в 4 т. М., 1964–1973.
- ЭССЯ – Этимологический словарь славянских языков: праславянский лексический фонд. М., 1974–. Вып. 1–.
- Bezljaj F. Etimološki slovar slovenskega jezika. Ljubljana, 1976–2007. Т. 1–4.
- Boryś W. Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków, 2005.
- Pokorny J. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern, 1949–1959. Bd. I–II.

В. С. Кучко

Уральский федеральный университет, Екатеринбург
kuchko@inbox.ru

К изучению семантических связей лексики со значением обмана: «игровая» и «смеховая» мотивации

В русской лексике и фразеологии со значением обмана обнаруживается ряд языковых единиц, мотивированных обозначениями игровых, обрядово-игровых действий или действий, совершаемых ради забавы.

В литературном языке слова *игра*, *играть*, *разыграть* употребляются в переносном «обманном» смысле: *игра* ‘о преднамеренном (обычно неблагоприятном) ряде действий’: «Ушла!! Обманула! Ну, к чему же эта ложь?! К чему <...> эта дьявольская, змеиная игра?» (Чехов, «Враги»); *играть в прятки*, *играть комедию* ‘обманывать, притворяться, скрывать что-л.’; *разыграть* ‘обманывая, поставить в глупое положение; одурачить’: «Ты думаешь, что – меня можно легко разыграть?» (В. Беляев, «Старая крепость»). Сходство игровой и обманной ситуаций, эксплуатируемое в этих номинациях, вполне очевидно. Игра предполагает определенную степень притворства играющего, подчиненность его действий заранее известным правилам и, кроме того, установку на саморазвлечение. Обман требует тех же условий, модифицированных с учетом степени серьезности ситуации (неискренности обманщика,

предварительного планирования действий, цели, заключающейся в получении выгоды).

Глагол *разыгрывать* служит опорным компонентом выражения *на ёлки разыгрывать* ‘потешаться над кем-л.; обманывать кого-л.’ (р. Урал): «Ты што мене на ёлки-ти разыгрывашь, я што? На ёлки дана?». Причины использования образа елки здесь неясны. Можно предположить, что этому способствовало восприятие елки как дерева, сопровождающего различные увеселения (с петровских времен места массовых новогодних забав было принято украшать срубленными елочками или их ветвями; гораздо позднее, к концу XIX в., получил распространение обычай наряжать дома рождественскую елку, знакомый крестьянам хотя бы потому, что они были основными поставщиками елок на городские рынки; в деревнях по елке, водруженной на избу, опознавались кабаки, отсюда номинации вроде без указ. м. *ёлка*, *ёлкин*, *иван ёлкин* ‘кабак’, перм. *сходить под ёлку* ‘сходить в кабак’ и под.).

Значение ‘обманывать’ получает смол. *обыгрывать*: «Обыгрывать он всех умеет», «Женки обыграли нас». Эта семантика вторична, вероятно, по отношению к значению ‘превзойти, опередить’, которое фиксируется у этого же глагола. Мотив состязательности, актуализируемый номинацией, входит в фонд мотивов, которые разрабатываются в «обманном» семантическом поле, поскольку ситуация обмана может восприниматься как взаимодействие ловкого и хитрого обманщика с недалеким человеком.

Действие семантического переноса ‘шутить, насмехаться над кем-л.’ → ‘обманывать’ просматривается за арх. *гали́ть* ‘лгать, врать’: «Не гали!» (< арх. *гали́ть* ‘шутить; проказничать, шалить’), тамб. *зга́льный* ‘обманывающий, лживый’ (< тамб. *зга́льный* ‘насмешливый, любящий зубоскалить, издеваться; говорящий вздор’), перм. *гала́нить* ‘заниматься обманом, плутовать’ (< перм., арх., влг., вят., симб. *гала́нить* ‘шутить или говорить пустяки’).

Смол. *гимо́рник* ‘выдумщик; человек с капризами, причудами’ («Это ж извесный гиморник! Не слухайте его») выступает и в значении ‘обманщик, плут’: «Ну кто поверит такому гиморнику. Это ж известный жулик». Перенос осуществляется благодаря общему семантическому компоненту ‘говорить то, что не соответствует действительности’. Вероятней всего, это слово, фиксируемое на смоленской территории наряду с *гимо́рница* ‘о капризной женщине’, *гимо́рничать* ‘привередничать’, образовано

от блр. юго-зап. *gimora* ‘хвастун, задавака’, *gimory* ‘капризы’, для которых предполагается связь с блр. *gumar* ‘юмор’ [ЭСБМ, 3, 86].

Говорение неправды или распространение ложной информации представляется как пение обрядовых песен, ср. новг. *колядить* ‘говорить неправду’: «Маша колядила, что она её не кормила, что молоко только для Вареньки брала»; «Не коляди ерунду» (ср. ср.-урал. «Не коледи околёсну») — и новг. *таусить* ‘сплетничать, наговаривать’: «Таусить — сводить сплетки»; «Этим бабам только бы таусить, душу отвести» (< новг. *таусить*, *таусэнить* ‘петь рождественские коляды’, ср. также диал. шир. распр. *таусэнь* ‘сочельник’, ‘обрядовая песня, которую поют ряженные в канун нового года’). В основу переноса положены как характеристики колядования (частые повторы одних и тех же слов), так и негативное восприятие его, основанное на трактовке колядования как несущественного занятия и попрошайничества под видом обрядового пения (ср. арх. *колядоваться* ‘слоняться без дела’, смол. *колядовать* ‘побираться’ и под.).

«Обманную» семантику приобретает глагол со значением ‘хороводить’: смол. *корогодить* ‘водить хороводы’ → ‘долгое время обманывать, вводить в заблуждение’: «Он всю жизнь тока корогодит, а замуж все не берет» (< диал. шир. распр. *корогód* ‘хоровод’). Круговая траектория движения в хороводе становится стимулом для «запуска» значимой для всего поля метафоры «водить по кругу» → «обманывать». Кроме того, признаком обманного и игрового действий, повлиявшим на их соотнесение, является продолжительность, отразившаяся в значении «обманного» глагола: обман длится так же долго и, вероятно, строится на одних и тех же элементах, как долго, повторяя заранее известные элементы движений, участники хоровода выводят фигуры.

В отдельных диалектных системах значение обмана появляется в семантическом спектре глаголов, которые в общенародном языке обозначают совершение шалостей, проказ и под.: том., самар. *куролесить* ‘говорить неправду, лгать’; новг. *чудить* ‘говорить неправду; обманывать’: «Она вышла, спрашивает: “Где деньги?” — “Не знаю”. А она: “Не чуди меня”»; дон. *выкомаривать* ‘придумывать разные хитрости, уловки для обмана’: «Моя кухарка научилась уже выкомаривать» (ср. омск. *выкомуривать* ‘хитрить, лукавить’, иркут. *выкомыривать* ‘говорить неоткровенно, скрывать что-л.’).

Общими предпосылками для выбора языковых средств из (условно) игровой и смеховой сферы для обозначения обманных действий

служат: близость в восприятии носителей языка позиций субъекта обмана и того, кто подшучивает, насмехается над кем-либо, устраивает проделки в адрес кого-либо; негативно-оценочный «заряд» семантики лексем-«доноров» (обозначающих, как правило, пустое времяпрепровождение, иногда приносящее ущерб объекту действия) и связанная с ним легкость развития широкой отрицательной семантики — ср., к примеру, спектр значений диал. *прокурáтка* ‘проказница, шутница, затейница, пройдоха, проныра, обманщица’; ср. также наличие во многих названных гнездах — наряду с семантикой веселья и озорства — значений, связанных с непристойным (в том числе речевым) поведением, пьянством, сумасбродством и пр.

ЭСБМ — Этымалагічны слоўнік беларускай мовы. Мінск, 1978—. Т. 1—.

И. А. Кюршунова

Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск
kiam@onego.ru

Шведские документы донационального периода как источник исследования антропонимии Карелии*

Поземельные книги Кексгольмского лена конца XVI — 1-й половины XVII в., написанные на шведском языке, относятся к бывшей территории Карелии — части Водской пятины, которая по Столбовскому договору 1617 г. перешла под власть Швеции. Эти источники содержат весьма значительный антропонимический материал: более 27 000 употреблений примерно на 6 000 человек.

Носителями именований в названных документах обычно являются крестьяне, бобыли, представители низшего духовного сословия, реже — мастера. Этнический статус именуемых возможно определять лишь гипотетически, поскольку соответствующие упоминания в документах немногочисленны: *Nils Karialainen*, *Peter Lappalain*,

*Исследование выполняется при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках проектной части государственного задания в сфере научной деятельности, № 33.1162.2014/К.

© Кюршунова И. А., 2015

Pawell Rotzalaiin, Ondruska Wenäläin, Johan Wirolaijn, Matti Wäpsä и т. д. (в целом около 80 именований).

В корпусе исследуемых имен нами были выделены антропонимы, имеющие формальные и/или семантические показатели их отношения к русскому ономастикону: 1) патронимические форманты *-ов/-ев, -ин*: *Iwanof, Petrof, Sidorof, Jermolin, Strihin, Utkin* и т. п.; 2) некалендарные русские имена и прозвища: *Drusina, Jstoma, Kotza, Muras, Possdäk* и др.; 3) модифицированные и немодифицированные русские календарные имена: *Andrejko, Anna, Dimetrei, Grinka, Iwan, Irinia, Wahruska, Wanka, Wasilisto* и т. п.

В процессе отбора учитывалась структура именования в целом, поэтому в исследуемый корпус мы включили даже имена, содержащие «нерусский» этнический маркер, например, *Lusika Jwana, Perwoi Räsenpoika, Rebu Samuilkof, Worona Omelinpoika* и т. п. Необходимость учета этого материала обусловлена тем, что шведские писцы нередко отражали имена непоследовательно: ср. записи одного и того же человека (*Onufrei Hoskonpoika*, 1618 г. — *Änfriko Hoskoief*, 1637 г.) и близких родственников (*Jgnata Reskenen*, 1618 г. — *Waska Reeskin*, 1631 г.) в документах разных лет.

Представим некоторые наблюдения, основанные на анализе отобранного материала.

1. Несмотря на достаточно «позднюю» эпоху, в антропонимиконе интересующей нас территории продолжают функционировать некалендарные личные имена (75 имен примерно на 150 носителей). При этом используются только имена, составляющие «ядро» древнерусского именника: *Malijta, Mensika, Netzaiko, Sdanko, Subatka, Wolk* и др. Для данной территории в указанное время это, видимо, следует считать специфическим отголоском дохристианской славянской культуры.

2. Среди некалендарных имен выделяется группа антропонимов, которые не зафиксированы в ономастиконе Карелии XV–XVII вв., в том числе и в западной части Водской пятины (*Байбака, Будилко, Бутко, Позорко, Тупица*). Возможно, процесс имянаречения на землях Кексгольмского лена дольше сохранял традиции, свойственные «старой» славянской ономастической системе.

3. Анализ репертуара календарных именовании, отмеченных в По-земельных книгах Кексгольмского лена, показал, что для наречения детей здесь выбирали те же имена, что и по всей Руси; совпадает в целом

и «ядро» частотных календарных имен. В то же время на исследуемой территории в число наиболее популярных вошли некоторые имена, не входящие в «первую десятку» в русскоязычных документах Карелии. Кроме того, в землях Кексгольмского лена отмечается достаточно много антропонимов, имеющих единичную фиксацию.

4. Календарный именник в письменных памятниках Кексгольма представлен в основном модифицированными формами, как и в русскоязычных официально-деловых документах Руси того же времени. Соответственно, как и на других территориях, в землях Кексгольмского лена деминутивно-квалитативная форма антропонима имела нейтральный характер и выполняла функцию официального имени. Для образования модификатов здесь использовались преимущественно форманты *-к-* и *-ш-* (*-шка*). При этом нельзя не отметить, что формант *-к-* оказывал своеобразное влияние на западноевропейский именник. Так, в Книге 1637 г., имеющей, помимо шведской, русскую часть, этот формант отмечен в основном при западноевропейских онимах, и именно в русской части, ср. *Grejus* / *Реоушко*, *Lassi* / *Лассико*, *Olli* / *Оллыко* и т. п. Это, безусловно, следует квалифицировать как результат воздействия русской системы именования на чужой ономастикон.

5. Процесс интерференции антропонимиконов в наибольшей степени отразился в структурах именования. Это проявляется в существовании различных «гибридных» имен, совмещающих разноразличные и разноразличные «формальные» элементы, ср.: *Christåforko Nasonof sin Pärskuief*, *Perwoi Räsenpoika*, *Pätoi Koldijrin Weseloi*, *Sidorko Kolmisilma* и др. Однако основное влияние русской системы следует видеть в использовании формулы трехкомпонентного именования для представителей нерусского населения: *Olli Ollinpoika Porkanen*, *Paula Maximanpoika Tausunen* и т. п.

Таким образом, отобранный материал дает возможность пополнить общие сведения по антропонимии Карелии, способствует выявлению исторических — универсальных и региональных — моделей именования человека, а также иллюстрирует особенности языковой интерференции на ономастическом уровне.

Мотив содействия социальному становлению человека в лексике русских народных говоров

В мотивационной структуре лексико-семантического поля «Обучение», помимо мотивов социального ориентира, трансформации объекта и ограничения свободы, представлен мотив активной помощи, содействия человеку в его социальном становлении. Как правило, субъектом помощи выступает взрослый, старший, а объектом — тот, кто младше.

Привлечение глаголов *вести*, *тянуть* в качестве источников семантической деривации свидетельствует о том, что воспитание концептуализируется в языке как совершение совместных перемещений субъекта и объекта воздействия (ведущего и ведомого) в некотором жизненном пространстве: ряз. *весть* (*веду, ведешь*) ‘воспитывать, выращивать’ и *водить* ‘воспитывать, растить’: «Девочек этих жалей, води их»; перм. *весті* ‘держат в каком-л. состоянии, воспитывая, наблюдая’: «Раньше-то нас строго вели, подбирали, в шесть вечера домой загоняли»; новг. *поводить* ‘воспитывать, растить’: «Теперь детей поводят не так, как мы, бывало, поводили»; арх. *вытягать* ‘с трудом растить’.

В частности, воспитывать ребенка значит вести, подводить, тянуть его к некоторой черте: новосиб. *довести кого до краю* ‘вырастить, воспитать кого-л., ставшего совершеннолетним, самостоятельным’. За этой границей, за «краем» — место дислокации дела и ума, маркеров социальной зрелости: омск. *к делу привести* ‘довести до дела, вывести в люди, научить, воспитать’, новосиб. *довести до дела (ума)* ‘вырастить, воспитать ребенка, научив его какому-л. делу’ и ‘вырастив, воспитав, выдать замуж дочь (сына — женить)’, перм. *приставить к делу* ‘определить место в жизни’: «Выкормила детей, вырастила, к делу приставила — не посудачат на меня».

Метафора перемещения в пространстве сближает приведенные номинации со словами, в которых реализован мотивировочный признак «подсказать направление»: пск. *направить* ‘указать правильное

направление в жизни, наставить', брян., смол. *припутить* 'приучить к делу, воспитать, вывести в люди'.

Мотив содействия закреплению в пространстве реализуется в разг. *поднимать (на ноги)* 'растить, воспитывать, помогать приобрести самостоятельность', киров. *выздымать* 'воспитывать, поднимать (детей)', мурман. *постановлять* 'воспитать, привить определенные навыки': «Робята не постановлены». Ср. отсылку к слову *ноги* в арх. *до больших ног довести* 'вырастить, воспитать до взрослого состояния'. Заметим, что мотивировка «укреплять, придавать стоячее положение, устойчивость» соотносится с мотивом вставания и приобретения устойчивости, представленном в лексике взросления: литер. *самостоятельный*; влг. *подыматься* 'воспитываться': «Она-то у бабушки всё подымалася»; пск. *на ногу вздёрнуться (одёрнуться)* 'повзрослеть'; пск. *твёрдо стоять на ногах* 'быть взрослым, материально самостоятельным'; влг. *выставать* 'воспитываться, вырастать': «Яне встану, не выстану без кормильца, без батюшки».

Итак, в воплощении идеи содействия социальному становлению человека активно участвует пространственная метафора, которая реализуется в вариантах: «инициировать изменение положения в пространстве», «указывать направление перемещения», «помогать приобрести устойчивость». Этот мотив реализуется преимущественно в номинациях, обозначающих воспитание детей родителями, и потому привязан к телесному образу вставания ребенка на ноги.

А. Лома

Институт сербского языка Сербской академии наук и искусств,
Белград (Сербия)
loma.aleksandar@gmail.com

Из работы над этимологическим словарем сербского языка: этимологии «вверх дном»

В докладе рассматриваются два случая «переворота» в истории слов сербского языка. В одном случае слово, сохранив свое исконное значение, приобрело облик, которому как будто соответствует понятие

противоположное, в другом — лексема сохранила форму, но переняла значение своего антонима.

1. Праслав. **naličъje* этимологически означает «то, что на лице», др.-рус. *наличие* ‘лицевая сторона чего-л.’, тогда как серб. *наличје* ‘обратная сторона, изнанка (ткани и т. п.)’, очевидно, восходит к другому первоисточнику — праслав. **napičъje*, которое непосредственно отражено в др.-рус. (пск., 1607) *наничемъ* ‘наизнанку’ (сербское слово приобрело такой облик путем диссимиляции и переосмысления).

2. Слово *зачеље* сегодня употребляется для обозначения задней стороны, задней части чего-либо, в частности — места за столом напротив места во главе стола, и в этих значениях является антонимом слова *прочеље* ‘передняя сторона, фасад; место во главе стола’. Эта антонимическая пара вторична; в словаре Вука (1818 г.) *зачеље* имеет ту же семантику, что *горње чело*, — ‘место во главе стола, где за обедом сидит глава семьи’, тогда как другое почетное место за столом — напротив места во главе стола — называется *застава*. Кроме того, слово *зачеље* до недавних пор употреблялось также в значении ‘начало’, и, кажется, Скок был прав, отделяя его от *чело* ‘лоб’ и связывая с ц.-слав. *зачало* ‘начало’. В самом деле, *зачеље стола* в первичном значении — ‘место, откуда глава семьи начинает обед’. Само слово *чело* в синонимичном выражении *горње чело* и в ряде других случаев, таких как серб. диал. (Рисан) *чело* ‘полсуток’ (*дан и ноћ су два чела*), др.-серб. *прво чело* (= *почело*) ‘начало’, *горње чело* — *долње чело* ‘начало и конец чего-л.’ (при размежевании), по всей вероятности, продолжает не праслав. **čelo* ‘лоб’, а **čedlo*, производное от **četi* ‘начинать’.

Е. П. Лопорт

Уральский федеральный университет, Екатеринбург
katarzyna-ne@mail.ru

К проблеме этимологизации сев.-рус. *ковосáк*

Сложность этимологизации лексемы *ковосáк* ‘небольшое рыболовное судно, бот’ [СГРС, 5, 202] обусловлена двумя обстоятельствами. Во-первых, фиксация этого диалектизма единична: он отмечен

© Лопорт Е. П., 2015

только в д. Лопшеньга Приморского района Архангельской области. Во-вторых, сопутствующий слову контекст малоинформативен: «Раньше ковосаки были больше карбаса».

На первый взгляд, кажется возможным сближение лексемы *ковосáк* с рус. *ковать*. Однако эта версия сомнительна, поскольку как в русском, так и в других славянских языках данный глагол изначально связан с кузнечным делом [см.: ЭССЯ, 12, 11], в то время как технология изготовления лодок из легких сплавов освоена не столь давно. Кроме того, в этом случае затруднительно объяснить появление финали *-сак*.

Более вероятным представляется сближение диалектизма *ковосáк* со словами, которые родственны рус. *ковш* ‘округлый сосуд с ручкой для зачерпывания жидкости, сыпучего’. Кроме фонетических причин, такое сближение находит основания в достаточно древних семантических связях между лексикой групп «Посуда» и «Средства передвижения по воде» (ср. общий корень в рус. *посуда*, *сосуд*, *судно*; ср., например, также приб.-фин. *astia*, *astie*, *ástī* ‘сосуд; небольшое судно’ [SSA, 1, 87]).

В русском языке слово *ковш* считается заимствованием из лит. *káušas* ‘уполовник, ковш, большая ложка’ [Фасмер, 2, 273]. Очевидно, что ни само рус. *ковш*, ни его литовский этимон прямо с диалектизмом *ковосáк* не связаны, однако лит. *káušas* было заимствовано также в прибалтийско-финские (возможно, через посредство русского) и скандинавские языки (через посредство ср.-нем. *kouvese*, *kauseke* ‘чаша’) [Фасмер, 2, 273; SSA, 1, 415]. Ср.: фин. *kousa* ‘ковш, черпак (обычно деревянный)’ [БФРС, 267], совр. швед. *kåsa*, диал. *kås*, *kosa*, *kous*, *köus* и т. д. ‘чаша, черпак, ковш (диал.)’, совр. дат. диал. *kous*, *kouse* [SKES, 2, 226].

Учитывая эти данные, нельзя исключить, что интересующий нас северно-русский диалектизм является обратным заимствованием из финно-угорских языков. Во всяком случае, лексема *kousa* и ее варианты *koussa*, *kous(s)i*, *kous(s)u* известны на территории Финляндии (провинции Варсинайс, Саво), бытуют у ижор и карелов [SSA, 1, 415]. Нередко, впрочем, подобные варианты далеки и от исходного лит. *káušas*, и от рус. *ковосáк*, ср. ливв. *kawhu*, карел. твер. *kawha*, вепс. *kauh* ‘ковш’ [СКЯМ, 130; СКЯП, 92; СВЯ, 188].

Во-вторых, фонетически к рус. *ковосáк* наиболее близко ср.-нем. *kauseke* ‘чаша’, но эта форма, в силу причин культурного характера, вряд ли может рассматриваться как прямой этимологический

источник для русского слова. Более вероятно, что таким источником могли послужить названные выше сходные с прибалтийско-финскими скандинавские лексемы *kous*, *kouse*, *kõus*, заимствованные из литовского языка через посредство средненемецкого. Дифтонг в подобных формах закономерно может быть передан в русском языке через *-ов-*, а компонент *-ак*, возможно, является возникшим на русской почве предметным суффиксом, ср. *колодня́к* ‘шитая лодка с килем’ [СГРС, 5, 255]. Не исключено, что на общий облик первой части слова оказал влияние упоминавшийся выше глагол *ковать*, который имеет множество производных в литературном языке и диалектах.

Таким образом, севернорусский диалектизм *ковоса́к* ‘небольшое рыболовное судно, бот’ является, предположительно, заимствованием из финно-угорских или скандинавских языков. Его этимоном могло быть некое слово со значением ‘чаша, черпак, деревянный ковш’ или слово с вторичным значением ‘судно’, которое развилось на основе многосторонней метафоры, включающей сходство предметов по форме, материалу, отношению к воде.

- БФРС – *Вахрос И., Щербаков А.* Большой финско-русский словарь. М., 2007.
СВЯ – *Зайцева М. И., Муллонен М. И.* Словарь вепского языка. Л., 1972.
СГРС – Словарь говоров Русского Севера. Екатеринбург, 2001–. Т. 1–.
СКЯМ – *Макаров Г. Н.* Словарь карельского языка (ливвиковский диалект). Петрозаводск, 1990.
СКЯП – *Пунжина А. В.* Словарь карельского языка (тверские говоры). Петрозаводск, 1994.
Фасмер М. Этимологический словарь русского языка : в 4 т. М., 1986–1987.
ЭССЯ – Этимологический словарь славянских языков: праславянский лексический фонд. М., 1974–. Вып. 1–.
SKES – Suomen kielen etymologinen sanakirja. Helsinki, 1955–1981. О. 1–7.
SSA – Suomen sanojen alkuperä. Etymologinen sanakirja. Helsinki, 1992–2000. О. 1–3.

А. А. Макарова

Уральский федеральный университет, Екатеринбург
toponimist@yandex.ru

Топонимические «аналоги» в Белозерье и Никольском районе Вологодской области

В докладе предлагаются возможные пути интерпретации топонимических «аналогов», представленных в топонимии Белозерья и Никольского района Вологодской области. Такими «аналогами» являются некоторые топоосновы, образующие изоглоссы, которые идут из Белозерья на северо-восток через Архангельскую область на восток Вологодской области. Отдельные иллюстрирующие это обстоятельство схемы приводятся в [Макарова, 2014]. Целью данного доклада является попытка интерпретации таких топонимов на территории Никольского района: являются ли они следствием какого-то миграционного потока прибалтийско-финского населения на восток Вологодской области, представляют ли собой перенесенную топонимию или это продолжение единого пласта топонимии общего прибалтийско-финского происхождения (с местными вариациями)?

Некоторые названия довольно крупных рек, протекающих в Никольском районе, имеют соответствия в Белозерье: *Анданга*, *Кема*, *Леменьга*, *Лундонга*, *Шарженьга*. Возможно, к этому ряду относится и название р. *Муданка* (**Муданга*). Исследование ареальных характеристик данных основ и их вероятные этимологии свидетельствуют о том, что перечисленные названия, скорее всего, представляют субсубстратный слой гидронимии, возникший до начала лингвоэтнических процессов, фиксируемых письменными источниками.

В приведенном ряду выделяется топоним *Леменьга*, поскольку основа *Лем-* считается дифференцирующим карельским маркером, ср. карел. *lemi* ‘топь, топкое место на болоте, трясина’, люд. *lemi*, *letu* ‘ил, трясина, мох в болоте’ [Муллоне, 2008, 14]. Бассейн Леменьги представляет интерес с точки зрения контактов с прибалтийско-финским населением также по данным более позднего времени. Так, в переписи 1623–1626 гг. (здесь и далее материалы писцовых книг из РГАДА приводятся по [Баданин, 2012]) в волости Леменьга отмечается новый

починок *Корелка* на речке Микулице, при этом известно, что одним из жителей соседнего починок Дудоладин (также нового) был *Васка Белозер*, чье прозвище указывает на то, что он был переселенцем с Белого озера. Кроме того, в переписной книге Устюжского уезда 1658 г. упоминается *Яков Матфеев Белозерец*, живший в только что созданной д. Ивантец (Большие Гари), а в 1678–1683 гг. — *Ивашико Максимов Белозерцев* и *Васька Логинов Белозерцев* (д. Нигино), *Естефейко Парфенов Белозерцов* (д. Тарасово). Эти сведения позволяют предполагать, что приблизительно в начале XVII в. происходило переселение части жителей Белозерья (в том числе и прибалтийско-финского населения) на территорию Устюжского уезда.

Параллели в Белозерье обнаруживает и группа никольских гидронимов на *-Vz*: *Анюг*, *Качуг*, *Кольчуг*, *Лендюг*, *Пертюг* и т. п. В Белозерье они представлены в виде основ в полукальках — названиях озер: *Анозеро* (Выт.), *Качозеро* (Бел., Выт.), *Кольчозеро* (Выт.), *Лендозеро* (Бел., Выт.), *Пертозеро* (Баб., Ваш., Вож., Выт., Карг.) — либо в названиях рек, но с другим формантом, ср. *Возюг* (Ник.) — *Возьма* (Бел.). Часть этих основ, как уже установлено, имеет саамские этимологии (*Качозеро*, *Кольчозеро*, *Лендозеро*). Основа *Перт-* традиционно считается прибалтийско-финской, ср. вепс. *per' t'* ‘дом, изба’ [СВЯ, 409], однако, с учетом ее широкого распространения и наличия параллелей в других финно-угорских языках (ср., например, мар. *pört* ‘дом, изба’ [СМЯ, 5, 236]), она не может выступать в качестве лингвоэтнического маркера. Неподалеку от р. *Пертюг* течет р. *Из(б)ная*, название которой может являться калькой, а само закрепление обоих вариантов названия может указывать на период двуязычия. Любопытно, что и название р. *Куданга* может быть с соотнесено с мар. *кудо* ‘дом, изба’ [СМЯ, 3, 90]. Бассейн Куданги, в свою очередь, интересен тем, что здесь еще в начале XVII в. фиксировались пустошь *Чуцкое Дворище* (д. Блудново), починок *Чуцкое Старое Печище* (д. Скочково). В полевых записях Топонимической экспедиции УрГУ 1970-х гг. на месте последнего записан гидроним *Чудские Жернова*. Кроме того, на значительном удалении от этого места — в низовьях Шарженьги (у д. Челпаново) — отмечен гидроним *Чучков Колодчик*. Примечательно, что все «чистые» этнонимические названия с основой *Чуд-/Чуч-* на территории Вологодской области засвидетельствованы только в Белозерье и в Никольском районе.

Вопрос об определенных связях «южанской» и белозерской гидронимии поднимался А. К. Матвеевым при сопоставлении ареалов гидронимии на *-н(ь)га* и *-Vг*. Происхождение белозерских названий на *-Vг* связывается им с реликтами мерянских миграций вдоль Шексны [Матвеев, 2007, 41]. В пользу предположения о волжско-финских (мерянских или марийских) миграциях в Белозерье свидетельствуют некоторые марийские этимологии белозерских гидронимов (ср., например, *Шимозеро* — от мар. *шим* ‘черный’ [Муллонен, 2002, 320]), а также фиксация прозвищ типа *Миша Черенис* (Баб.).

Отдельные топоосновы, имеющие аналоги в Белозерье, отмечаются и за пределами гидронимии. В основном они связаны с функционированием соответствующих ландшафтных терминов: пок. *Лыва*, ср. *лыва* ‘покос’, ‘сырое заболоченное место’; лес *Мендач*, ср. *мяндач* ‘мелкий низкорослый сосняк’; лес *Чёлма*, ср. *чёлма* ‘возвышенность, обычно поросшая лесом’ и др.

Баданин Д. Д. Родословие никольской деревни. Кичменгский Городок, 2012.
Матвеев А. К. Субстратная топонимия Русского Севера. III. Екатеринбург, 2007.

Муллонен И. И. Топонимия Присвирья: проблемы этноязыкового контактирования. Петрозаводск, 2002.

Муллонен И. И. Топонимия Заонежья : словарь с историко-культурными комментариями. Петрозаводск, 2008.

СВЯ — *Зайцева М. И., Муллонен М. И.* Словарь вепского языка. Л., 1972.

СМЯ — Словарь марийского языка : в 10 т. Йошкар-Ола, 1990–2005.

Makarova A. A. The Toponymy of the Balto-Finnic Origin in the Files of the Ural University Toponymic Expedition // *Võro Instituudi toimõndusõq* (Publications of Võro Institute). 28. Võro, 2014. Lk. 52–74.

Хортенсионимы в системе наименований топографических объектов в пределах поселения

Формирование системы наименований линейных объектов в садоводческих товариществах связано с необходимостью упорядочения представлений об околгородском пространстве, создания единой официальной модели именования элементов улично-дорожной сети.

Объектом исследования в докладе является вид топонимов, служащий для номинации линейных объектов в садовых товариществах (далее СТ). Под *хортенсионимом* (от лат. *hortensius* ‘садоводческий’) мы понимаем собственное имя любого топографического объекта в пределах садоводческого товарищества. Источником материала для исследования (413 единиц) послужили данные Национального правового интернет-портала Республики Беларусь [О наименовании...].

Актуальность работы обусловлена тем, что данный разряд топонимов пока не подвергался детальному рассмотрению.

Цель данного исследования — путем выявления сходств и отличий между хортенсионимами и урбанонимами, с одной стороны, и хортенсионимами и виконимами — с другой, определить важнейшие приметы и место хортенсионимов в системе наименований топографических объектов в пределах поселения.

Результаты исследования показывают, что особенность хортенсионимии, как и любого другого разряда топонимов, заключается в специфическом наборе черт, часть из которых является общей с урбанонимами, часть — с виконимами, а часть сугубо индивидуальна.

Сходства с урбанонимией и виконимией находят выражение в следующем:

— в действии одних и тех же четырех принципов номинации: 1) по связи с другим объектом; 2) по связи с человеком как социосубъектом; 3) по свойствам и качествам самого объекта; по связи с абстрактным понятием;

— в использовании простых и сложных структурных типов;

— в наличии онимных единиц с эмотивными коннотациями.

При этом о т л и ч и я наблюдаются в том:

— какой или какие из принципов выступают ведущими: в урбанонимии — 1-й и 2-й; в виконимии — 3-й и 2-й; в хортенсионимии — 3-й;

— сколько и какие структурные типы наименований используются: в урбанонимии и виконимии — четыре простых и девять сложных; в хортенсионимии — два простых: атрибутивный в 99,8 % названий (*Виноградная ул.*) и номинативный в 0,2 % названий (*ул. Купалинка*) — и два сложных: нумеративно-атрибутивный в 99,8 % названий (*1-й Раздольный проезд*) и нумеративно-генитивный в 0,2 % названий (*2-я ул. Мичурина*);

— какой набор номенклатурных терминов использован в названиях: в урбанонимии — 15: *улица, переулок, проезд, аллея, линия, шоссе, бульвар, проспект, тупик, кольцо, магистраль, набережная, спуск, тракт, дорога*; в виконимии — 2: *улица, переулок*; в хортенсионимии — 4: *улица, переулок, проезд, тупик* (как видим, в три раза меньше, чем в урбанонимии, но больше, чем в виконимии);

— насколько активно используется лексика с эмотивным компонентом семантики. По нашим наблюдениям, в хортенсионимии в два с половиной раза чаще, чем в урбанонимии, и в три раза чаще, чем в виконимии, используются названия, имеющие исключительно положительные эмотивные созначения: «доставляющая приятное ощущение, радость, ласкающая, исполненная взаимного соответствия предметов, явлений, частей целого, качества, сулящая счастье» (*Красивая ул., Радостная ул.*); «исполненная доброты, задушевности, доброжелательности» (*Приветливая ул., Великодушная ул.*); «сверкающая, украшенная, праздничная» (*Блискучая ул., Узорный проезд*); «выражающая деятельную силу, активность» (*Активная ул., Бурная ул., Энергичная ул.*); «свободная, просторная, привольная» (*Раздольная ул., Раздольный пер.*); «спокойная, размеренная, налаженная, такая, в которой приятно находиться» (*Спокойная ул., Прохладная ул.*).

Как собственно хортенсионимную особенность следует рассматривать формирование нового принципа номинации линейных объектов, состоящего в тематическом соответствии названий линейных объектов названиям СТ, в которых они размещены (ср.: *ул. Паровозная, ул. Тепловозная, ул. Электровозная* в СТ «Локомотив»; *ул. Трансформаторная, Трансформаторный проезд* в СТ «Энергетик» и т. п.).

Таким образом, названия улиц внутри садоводческих товариществ, как и другие категории топонимов, выполняют конкретно-географическую функцию и призваны точно обозначать линейный объект как географическую точку. Для них целесообразно принять особый термин — *хортенсионимы* — и не объединять их с названиями других мелких объектов в единый раздел урбанонимов или виконимов.

Изучение хортенсионимов поможет углубить знания о механизме онимной номинации в наше время, послужит своеобразной базой данных для работников местных администраций.

О наименовании элементов улично-дорожной сети в садоводческих товариществах. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.pravo.by>main.aspx?guid=3871&p0=D914v0063758&p1=1>.

Л. П. Михайлова

Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск
posnm87@bk.ru

Поиск этимологии диалектных слов с опорой на признаки иноструктурного языкового воздействия*

В лексической макросистеме русских говоров есть слова, которые относятся к одному этимологическому гнезду, но — по причине действия различных внутриязыковых и внешнеязыковых факторов — не считаются родственными. Одним из таких факторов является воздействие на лексему иноструктурной языковой системы. С результатом подобного воздействия связано понятие экстенциальной лексической единицы, первоначально возникающей вследствие модификации слова.

Многие экстенциальные единицы, зафиксированные словарями и подающиеся обычно в качестве фонетических вариантов основного

* Работа выполнена при финансовой поддержке Программы стратегического развития ПетрГУ в рамках реализации комплекса мероприятий по развитию научно-исследовательской деятельности на 2012–2016 гг.
© Михайлова Л. П., 2015

слова, легко этимологизируются, поскольку сохраняют соотносительность с исходной лексемой. Ср. варианты с протезой и эпентезой в начальном слоге пск. *аблыкаться*, *балыкаться* и *блыкаться* ‘ходить без дела, слоняться’ [ПОС, 2, 48]; единицы, отражающие мену *б ~ в*: волог. *лывинка* и *лыбинка* ‘участок покоса на низком болотистом месте’ (но арх. *лывинка* ‘небольшая лужа, лужица’ без вариантов) [СРГК, 3, 162].

Единицы, подобные указанным, воспринимаются как фонетически близкие (*блыкаться* > *аблыкаться*, *балыкаться*) и при одинаковой или сходной семантике и географии в пределах одной лексической микро-системы, видимо, могут свободно заменяться исходным словом. Такого рода варианты, как правило, сохраняют неизменным первый звук корня.

Не вызывает трудностей и этимологизация словообразовательных диалектизмов, в корневой морфеме которых происходит мена звуков, ср. арх. *бугалище* ‘пугало, чучело для отпугивания птиц от огорода’ [АОС, 2, 156]; пск. *загулижица* ‘глухое, отдаленное от культурного центра место, захолустье (?)’ [ПОС, 11, 162], ср. новг. *закулижина* ‘отдаленный участок (край) болота’ [НОС, 3, 38].

Некоторые экстенциальные лексические единицы описываются в отдельных словарных статьях как лексемы, не имеющие видоизменений фонетического характера. На первый взгляд, они действительно не соотносятся с этимологически родственными и семантически близкими лексемами. К ним мы отнесли бы такие слова, как новг. *бытеть* ‘становиться упитанным, полнеть’ [НОС, 1, 104], ленингр. *карнуть* ‘резко сдвинуть что-н., откуда-н.’ [СРГК, 2, 329], арх. *луда* ‘ослепительная белизна снега при солнечном свете’ [СРНГ, 17, 177], влг. *ряна* ‘открытое место на болоте’ [СРГК, 5, 612].

При существенном изменении начала корневой морфемы подобные лексемы фонетически отдалены от исходной единицы — ср. вышеприведенные слова с исходными: новг. *бытеть* и новг., арх., алт. *выть* ‘сила, крепость’ [СРНГ, 6, 45]; ленингр. *карнуть* и вят., яросл., ленингр., новг., твер., олон., зап.-брян., черепов., прионеж. *крянуть* ‘своротить, сдвинуть, переместить что-л. тяжелое’ [Там же, 15, 368]; арх. *луда* и пск. *гудь* ‘что-н. гладкое, лоснящееся’, *гудеть* ‘лосниться’ [ПОС, 6, 187]; волог. *ряна* и карел., арх., ленингр. *гряна* ‘возвышенное место на болоте, кочка’ [СРГК, 1, 408]. Из подобных примеров ср. также новг. *ладбошка* и *гладбошка* ‘пластинчатый гриб, предназначенный

для соления' [СРГК, 1, 334]; челяб. *ру́дный* и *гру́дный* 'богатый урожаем, урожайный', беломор., свердл., якут. 'многочисленный, имеющийся в большом количестве' [СРНГ, 7, 163]; и др.

При ограниченной географии бытования и отсутствии исходного слова единицы данного типа имеют высокую степень устойчивости в системе, выступают в сознании носителя говора как самостоятельные и на начальном этапе работы не связываются исследователем с исходными словами, имеющими иной облик корня.

Один из ярких примеров, свидетельствующих о необходимости пристального внимания к выявлению экстенциальных единиц и их этимологии, — диалектные названия полотенца для рук, соответствующие исходному русскому слову *рукотерник*. Это сиб. *луко́тёрник*, урал. *луко́тёрок*, сиб., алт., амур. *укотёрник*, арх., вят., перм. *окутёрник*, яросл. *око́тёрок*, волог. *укотёрка*, *укото́рок*, свердл. *укотёрт*, *укуте́рат*, вят. *котёрник*, *котельник*, краснаяр. *кутельник*. В этих диалектизмах отражены самые разные процессы — отмены плавных звуков до полного сокращения первого слога; в некоторых лексемах, по всей видимости, отразилось усвоение такой особенности тюркских языков, как отсутствие сонорных в анлауте.

Таким образом, выявление состава экстенциальных единиц и сопоставление их различительных признаков, обусловленных иноструктурным языковым влиянием, дает возможность уточнить происхождение многих диалектных слов.

АОС — Архангельский областной словарь. М., 1980—. Вып. 1—.

НОС — Новгородский областной словарь : в 12 т. Новгород, 1992–1995.

ПОС — Псковский областной словарь с историческими данными. Л., 1967—. Вып. 1—.

СРГК — Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей : в 6 т. СПб., 1994–2005.

СРНГ — Словарь русских народных говоров. М. ; Л., 1965—. Вып. 1—.

К семантической реконструкции русских «гностических» обозначений колдуна

В русских говорах обозначение людей, обладающих колдовскими способностями, по сей день довольно регулярно осуществляется посредством устойчивой речевой формулы, включающей глагол *знать* (*он знает, он знающий* etc.), которая отражает факт причастности колдуна к магическому знанию и, казалось бы, намекает на эвфемию. Представляется странным, что почти не встречаются номинации, связанные с непосредственным наблюдением над результатами колдовства (*умеет, делает, может* и т. п.), хотя совершенно очевидно, что в обыденной жизни для крестьянина наиболее важны именно результаты колдовских проявлений, а не сам по себе факт знания магических приемов (вообще говоря, скрытый от непосредственного наблюдения языкового коллектива). Тем не менее именно *знает* по каким-то причинам выбирается базовым глагольным способом обозначения колдунов. Сходную картину демонстрируют номинации колдунов, восходящие к праслав. **věděti*, в частности лексема *ведьма*, являющаяся одним из основных русских обозначений колдуньи.

В докладе делается попытка показать, что глагол *знать*, а также дериваты праслав. **věd-* в случае номинации колдунов не просто обозначают факт обладания определенным набором рецептурных магических знаний и приемов, а подразумевают знание тайн мироустройства, умение ощущать чудодейственную силу, управляющую миром, — другими словами, отражают иной способ мировидения, психического контактирования с миром, нежели тот, который характерен для обычных людей. Он заключается в умении перцептивно воспринимать и понимать то, что не дано простому человеку. На возможность такого положения дел, на наш взгляд, указывает ряд обстоятельств.

1. Оговоренная выше странность номинации *знает* и номинаций от **věd-* при условии обозначения ими только рецептурных магических

знаний и с учетом того, что деятельность колдуна ни в коей мере не является простой реализацией «клиентского запроса» обывателей, но часто совершается им исходя из собственных интенций.

2. Специфика организации «старшей» семантики глаголов *знать* и *ведать*, сочетающих в себе перцептивный и ментальный семантические компоненты, на базе чего развивается семантика способности «читать текст мира», т. е. понимать стоящие за внешними явлениями тайны мироздания.

Значимость перцептивного компонента обнаруживается в целом ряде дериватов гнезд *знать* и *ведать*. Ср.: рус. *знак*, др.-рус. *знакъ* ‘метка, клеймо’, *знатьба* ‘знак, след; признак’, *знамя* ‘пятно, метка; родинка’, *знатися* ‘виднеться’, *знатно* ‘заметно, видно’, *знатный* ‘ясный, четкий, хорошо видимый’ [СлРЯ XI–XVII, 6, 39, 46, 50–52] и пр. В гнезде *ведать* наиболее явно перцептивный характер семантики отражен в дериватах, обозначающих некий акт перцепции, совершаемый с какой-либо «содержательной» целью: рус. *проведасть кого-л.*, *проведасть о чем-л.*, *наведаться к кому-л.*, *отведать что-л.*, *разведать*, *разведка* и др. На актуальность перцептивного компонента в семантике глагола *ведать* указывает и его этимология (~ **vidĕti*).

Понимание значимости сочетания перцептивного и ментального компонентов для организации семантики гнезд *знать* и *ведать* позволяет трактовать ряд их дериватов в свете отражения идеи о сверхъестественной способности к «прочтению текста бытия», постижению тайн мироустройства. Эта способность реализуется через перцептивное восприятие явлений окружающего мира и их последующую интерпретацию: др.-рус. *знамение* ‘знамение, предзнаменованье’, *небесное знамение* ‘расположение звезд, по которому астрологи предсказывали будущее’ [СлРЯ XI–XVII, 6, 42], рус. *предзнаменованье* и др. Аналогичным образом можно понимать рус. *вещий*, др.-рус. *въщати* ‘предвещать, предсказывать’, *въщба*, *въщество* ‘предсказание будущего; гадание’ [Там же, 2, 134–136] и пр. Кроме того, для гнезда *ведать* вообще характерна реализация семантики, связанной со знанием тайн бытия, недоступных обычному человеку, ср. др.-рус. *въдѣние*, *въдѣ*, *въдѣмение* ‘провидение, промысел; чудодейственная сила’ [Там же, 44, 50].

Вероятно, появление в гнездах семантики колдовства должно осмысляться именно в контексте способности «видеть и читать тайны

мира». На это указывают предполагаемые словообразовательные и семантические связи (др.-рус. *въдь* ‘провидение, промысел; чудодейственная сила’ ~ ‘колдовство, чародейство, знахарство’, *въщий* ‘предвидающий, предсказывающий’ ~ *жонка въщая* ‘колдунья’ [Там же, 50, 136] etc.), а также несклонность дериватов гнезда *ведать* развивать семантику рецептурных знаний и чисто практических умений.

3. Наличие в языке фактов, отражающих представления о перцепции как о способе проникновения в тайны мира: рус. *слушать*, *смотреться* как виды святочных гаданий [СРНГ, 38, 321; СРГК, 6, 162, 178], *провидение*; вероятно, сюда же *видеть насквозь*, *предвидеть* и пр.

4. Номинации типа *Бог знает*, *бес знает*, *леший знает*, *чёрт знает* и пр., а также возможность интерпретировать их в рассматриваемом контексте.

5. Использование для обозначения колдунов глагола *знаться* (< *знаться с нечистой силой*): *он знается*. В данной номинации получают отражение представления о контактах колдуна и его перцептивных способностях: восприятие действительности колдуном и его с ней взаимодействие протекают не только в обыденном пространстве, но и в пространстве сверхъестественного.

Что касается рус. *знахарь* ‘лекарь и пр.’, то, как показал анализ языковых данных, для этого слова, в отличие от глагола *знать* и дериватов гнезда *ведать*, скорее следует предполагать мотивацию в рамках обыденных координат, связанную с владением объектом номинации определенным набором практических знаний и умений. Это хорошо согласуется с противопоставлением образов колдуна и знахаря в славянской народной традиции.

СРГК — Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей : в 6 т. СПб., 1994–2005.

СРНГ — Словарь русских народных говоров. М. ; Л. ; СПб., 1966–. Вып. 1–.

СлРЯ XI–XVII — Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1975–. Вып. 1–.

Лексическое варьирование в русской народной хрононимии

В отношения лексического варьирования вступают семантически связанные хрононимы, обозначающие один и тот же временной отрезок. Изучение этого явления на материале разных хрононимических микросистем позволяет говорить о существовании «синонимических» и «антонимических» вариантов хрононимов — обозначений одной и той же даты.

Лексические хрононимические варианты могут быть как монокомпонентными, так и поликомпонентными. При этом в отношения «синонимии» или «антонимии» вступают наименования с одним семантически сходным / противопоставленным компонентом, ср. приказ. *Екатерина-Грязнуха* и вят. *Екатерина-Санница* '24 ноября / 7 декабря' (в этой паре наименований отражены представления о возможности или невозможности установить санный путь).

По степени «с и н о н и м и ч н о с т и» варианты хрононимов можно разделить на два типа. Абсолютными «синонимами» являются хрононимы, обладающие структурным и грамматическим тождеством и мотивированные синонимичными апеллятивами (с идентичным компонентом для сложных хрононимов): сев.-рус. *Никола Морозный* и костр. *Никола Студёный* '6 / 19 декабря'. Остальные хрононимические варианты являются относительными «синонимами». Такие наименования имеют структурно-словообразовательные, грамматические и/или пропозитивные различия (в последнем случае имеются в виду различия в подаче одной ситуации во внутренней форме хрононима, т. е. в выборе того или иного пропозитивного компонента: без указ. м. *Парасковы-Трепальницы* и *Парасковия-Льяница* '14 / 27 октября'). Частичными «синонимами» условно можно назвать хрононимы, мотивированные лексемами одного семантико-ассоциативного поля. Так, один из вариантов может маркировать сезон, а другой — сезонное погодное явление: диал. шир. распр. *Егорий Осенний* и *Егорий Грязной* '26 ноября / 9 декабря'.

«Синонимичными» способны быть хрононимы, в составе которых есть разные агнонимы и одинаковое приложение: без указ. м. *Федора-Ветреница* и сев.-рус. *Федул-Ветреник* '5 / 18 апреля' (сходство «функций» святых, именины которых приходятся на один день).

Хрононимы могут быть объединены общим признаком, который воплощается через описание различных ситуаций, ср. дон. *Богатая Кутья*, волгогр., моск., удмурт. *Щедрый вечер* '24 декабря / 6 января'. Идея изобилия реализуется в названиях через мотивы разнообразного угощения (*Богатая Кутья*) и одаривания друг друга (*Щедрый вечер*).

В ряде случаев лексические единицы, положенные в основу внутренней формы хрононимов, входят в единый сценарий: *Благовещение* (повсем.) и *Бабий праздник* '25 марта / 7 апреля': «В этот день бабы приходят в город, и барочки, мужья ихние, обязаны поить их водкой» (влг.). Время Благовещения Богородицы, по-видимому, воспринимается как «благое» время для женщин.

«Синонимическое» варьирование возможно на основе эмотивной общности: тамб. *Грозный понедельник*, *Грустный день*, орл. *Тёмный понедельник* 'первый понедельник Великого поста'. Эти хрононимы указывают на «отрицательную» эмоцию, которая в одних случаях отражена во внутренней форме, в других передается через символику цвета (*темный* как печальный) или действия (*гроза* как опасное явление).

Семантическое сходство хрононимов может заключаться в амбивалентности логической оценки даты, ср. забайк. *Иван-Колдовник* и прикам. *Иван-Святник* '24 июня / 7 июля'. Магия дня воплощается как в полезных (сбор трав, умывание росой), так и во вредных действиях (причинение вреда скоту, хлебам).

«А н т о н и м и ч е с к а я» пара чаще всего складывается из хрононимов, мотивированных апеллятивами-антонимами, ср. *Малая Пасха* и *Большая Пасха* 'Пасха' (прикам.). Если первое наименование маркирует начальный этап пасхального периода, то второе — сакральную значимость дня.

В ряде случаев семантическая оппозиция хрононимов возникает в результате существования разных точек зрения на значимость одного праздника в сравнении с другим, ср. сев.-рус. *Большая Пречистая*, калуж. *Малая Споженка* '15 / 28 августа' и сев.-рус. *Малая Пречистая* '8 / 21 сентября', калуж. *Большая Споженка*.

Иногда «антонимия» обусловлена локальными особенностями праздника — например, природными явлениями, культурно значимыми событиями. Так, в зависимости от местных погодных условий 14 / 27 октября характеризуется оттепелью либо выпадением снега, ср. без указ. м. *Парасковия-Порошиха* и арх. *Парасковья-Грязнуха*. «Антонимичность» в хронимии может отражать разные взгляды на ситуацию, ср. моск. *Александра-Резвая соха* и нижегор. *Егорий-Ленивая соха* ‘23 апреля / 6 мая’.

В редких случаях «антонимические» варианты, привязанные к одной дате, фиксируются в одной микросистеме, ср. без указ. м. *Илья Мокрый* и *Илья Сухой* ‘20 июля / 2 августа’: «В случае засухи молились Илье Мокрому, а при дождливой погоде — Илье Сухому».

Семантическое противопоставление хронимов в некоторых случаях возникает в результате действия механизма народной этимологии, ср. нижегор., печор., тамб. *Георгий-Победоносец* и нижегор. *Егор-Бедоносец Строгий* ‘23 апреля / 6 мая’.

Наконец, названия одного и того же временного отрезка могут быть противопоставлены символически: прикам. *Чёрная пятница* и костр. *Чистая пятница* ‘пятница перед Пасхой’.

А. Б. Мороз

Российский государственный гуманитарный университет, Москва
abmoroz@yandex.ru

Как зовут домового? К этимологии одного демононима

В июле 2014 г. в ходе экспедиции в Верхнеустькулойском кусте деревень Вельского района Архангельской области нам пришлось столкнуться с ситуацией, когда знахарка ищет пропавший в лесу скот, заблудившегося человека или утопленника посредством пения *припевки*. Вообще, пение припевок — особая часть свадебного ритуала, они поются во время застолья: жительницы деревни, не приглашенные на свадьбу, приходили *смотреть молодых* и петь *припевки*. Пели их,

адресуя всем присутствующим по очереди, в то время как те сидят за столом. Супругам пели вместе. По окончании пения *припевка сдается*: поющая называет в особой форме имена адресатов и просит награды.

Описанная практика не является индивидуальной. Мы знаем по крайней мере о трех знахарках, практиковавших этот обряд. Одна из старейших жительниц Верхнеустькуля, имеющая репутацию знахарки, рассказала, что она делает: «Хто заблудитси или потеряетси так вот — дак про это-то — дак я сама хожу, припевку пою. [Какую?] А... как поется эта припевка — как жениху да невесте, только сдавать ие надо дак этому... ну, как говорится, лешему. Сходим в лес-от этот... надо на ростани идти, где вот так от дорога. На этих ростанях и петь припевку. [Что за припевка? Как надо петь?] Дак... любую, какую жениху да невесте поют... Я пою припевку “из-за лесу” [наговаривает]:

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Из-за лесу, лесу тёмного, | Серые-те гуси щиплются, |
| Из-за тёмного, дремучёго | — Не щиплитесь, гуси серые, |
| Вылетало стадо серых лебедей, | Не сама я к вам на двор зашла, |
| А за ними стадо белых гусей, | Завезли меня добры кони Кутафьевы... |

Лешего-то Кутафьем, дак вот, Кутафьем... коней зовут. Споёшь эту припевку, кода кончится припевка, дак: “Только припевочка сдавать, Кутафью Кутафьевичу Кутафью Кутафьевну целовать, вам на потешки, а нам на орешки, отдайте раба божьего такого-то” и бросаешь хлеба кусок» [АЛФ].

Н. В. Петров показал, что в былинах редупликация имени — один из способов характеристики антигероя [Петров, 2007, 53–55]. Возможно, и здесь повтор одного корня есть особенность именования демона. Помимо редупликации, интерес вызывает и происхождение слова *кутафья*. Словари дают единодушное толкование этого слова: ‘о тепло закутавшейся женщине’ [СРНГ, 16, 430], ‘о неопрятно, неуклюже одетой женщине’ [СПГ, 1, 456; СРГС, 2, 181]; ср.: «Ближайшая этимология: “неуклюжая, безобразно одетая женщина” (Пушкин, Мельников). Вероятно, от *кутать*» [Фасмер, 2, 433]. Итак, словари отсылают к глаголу *кутать*, а М. Фасмер пусть осторожно, но все же дает этот вариант этимологии как единственный. Между тем предположение относительно деривации слова *кутафья* от глагола *кутать* не может не вызвать сомнений: в русском языке отсутствует соответствующая

словообразовательная модель. Единственное, что могло бы повлиять на такое словообразование, — это аналогия с именем *Агафья*. Тогда теоретически возможно допустить экспрессивную деривацию с корнем *кут-* в связи с манерой одеваться и внешним видом женщины. Тем не менее примеры, приводимые в словарях, и употребление лексемы в художественной литературе не дают нам полной уверенности в справедливости такой интерпретации. Во всех случаях примеры показывают лишь, что это слово употреблено в бранном значении, но не содержат указаний на внешний вид человека. «Сказка про славного царя Гороха и его прекрасных дочерей царевну Кутафью и царевну Горошинку» Д. Н. Мамина-Сибиряка — единственный текст, где слово употреблено как антропоним (*прекрасная царевна Кутафья*) в ироническом, но не бранном смысле. К примеру, в [СРГС, 2, 181] дается следующий пример: «Не человек, а кутафья кака-то». Разумеется, можно предположить, что формула *не человек, а...* не предполагает собственно противопоставления «человек — не человек», а лишь экспрессивно подчеркивает, что человек, о котором идет речь, не соответствует общим нормам. Однако возможно и обратное: в этой формуле человеку отказывают в принадлежности к людям (ср. *понеси тебя леший*, а также ряд бранных формул, где человек прямо именуется нечистой силой [Мороз, 2000]). Тогда *кутафья* может быть именно наименованием нечистой силы, например, эвфемистическим. Такая номинация демонологических персонажей не уникальна: «Пришла женщина в гумно. Агафья какая-то. А ей из овина-то и говорит: “Агафья, скажи Кутафье, что умерла Стогафья”. Она домой-то пришла, да и рассказывает. Вот такое-то было дело. Утром встала, а там, в трубе-то, заплакало. Утром встала — а там платок атласный висит. Подарили за то, что передала эту новость» [АЛФ].

Сама информантка пояснила, что имя *Кутафья* образовано от слова *кут* ‘часть русской печи’ (ср. ‘угол в печи’ [СРГК, 3, 74], ‘угол за печью’, ‘кухня или небольшой чулан с печью’ [СРНГ, 16, 165]). Таким образом, квазиимена *Кутафья* и *Стогафья*, несомненно, образованы по аналогии с антропонимом *Агафья* и в связи с местом пребывания соответствующих демонологических персонажей: домовый — *кут* и овинник — *стог*.

В случае со свадебной припевкой квазиимя относится не к домовому, а к лешему, что может быть объяснено утратой лексемы *кут* в соответствующем говоре.

- АЛФ — архив лаборатории фольклористики РГГУ (Москва).
 Мороз А. Б. «Чтоб ты лихая немочь изняла!» // Рус. речь. 2000. № 1. С. 89–94.
 Петров Н. В. Вахрамеев Вахрамеевич против Идолища: закономерности в образовании былинных имен // Традиционная культура. 2007. № 3 (27). С. 50–60.
 СПГ — Словарь пермских говоров : в 2 т. Пермь, 1999–2002.
 СРГК — Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей : в 6 т. СПб., 1994–2005.
 СРГС — Словарь русских говоров Сибири : в 5 т. Новосибирск, 1999–2006.
 СРНГ — Словарь русских народных говоров. М. ; Л. ; СПб., 1965–. Вып. 1–.
 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка : в 4 т. М., 1964–1973.

С. А. Мызников

Институт лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург
 myznikovs@rambler.ru

Южновепсская лексика в севернорусском и прибалтийско-финском контекстах

В докладе предполагается проследить некоторые ареальные и этимологические особенности южновепсской лексики. Южные вепсы, в настоящее время проживающие в Бокситогорском районе Ленинградской области, находятся на грани полного исчезновения: число их составляет не более 150 человек, большей частью пенсионного возраста. При подготовке доклада использованы материалы, полученные в ходе полевых исследований для «Атласа вепсского языка», а также данные «Suomen kielen etymologinen sanakirja» и «Словаря вепсского языка», где достаточно подробно зафиксированы южновепские данные (например, с географической пометой *Радогощь* — 101 лексическая единица, *Сидорово* — 1 208, *Кортлахта* — 680).

1. В ряде случаев южновепские лексемы образуют ареал, противопоставленный другим вепским диалектам, ср. вепс. южн. *kukič* ‘голубика’ и вепс. северн. *gilingeine*, вепс. шим. *g’õnikbarb* ‘ветка голубики’, *g’õnikäiñe* ‘голубика’ [СВЯ, 99]. Ср. также вепс. южн. *sämutada* ‘вдевать нитку в челнок для вязания сетей’, вепс. южн. *sätüne* ‘то же, что *käbu*’ (Белое озеро, Кортлахта, Сидорово) [Там же, 537], при вепс. *käbutada*

‘то же, что *sämutada*’, *käbu* ‘челнок, иглица для вязания сетей’ [СВЯ, 259]. В этом случае имеются сходные карельские и саамские данные: карел. *käpy* ‘иглица, которой вяжут сеть’ [ССКГК, 267], ливв. *käbü* ‘челнок для вязания сетей, иглица’ [СКЯМ, 172], саам. *kiepp^a*, *kiebp^(a)* ‘игла для вязания сетей’ [KKLS, 119]. Однако в прибалтийско-финских языках для обозначения этой реалии используются и другие лексемы, ср. карел. твер. *šukkulan’*e, ливв. *sukkulaine*, карел. *poiminpuikko* ‘иглица для вязания сетей’ [СКЯП, 279; СКЯМ, 348; ССКГК, 456].

2. Есть лексические единицы, отмечаемые только как южновепские при возможности этимологии на прибалтийско-финской почве, ср. вепс. южн. *hama* ‘ум, толк, память’, *hamatoi* ‘бестолковый, с плохой памятью’ (Радогошь, Сидорово) [СВЯ, 104] при вепс. *ham* ‘соображение, память’ и фин. *haami*, *hamatti* ‘ум, понимание’ [SKES, 46]; ср. также вепс. южн. *rat’k* ‘сквозь’: в SKES это слово помещено в гнездо фин. *ratketa* ‘начинать (пить, смеяться и т. д.); быть готовой (о работе); заканчивать’ [Там же, 744].

3. В ряде случаев южновепские лексемы представляют собой локализмы, которые фиксируются в прибалтийско-финских языках, но могут не иметь фиксаций в других вепсских диалектах.

4. Южновепские заимствования из русского языка могут быть представлены в прибалтийско-финской лексике, но не зафиксированы в других вепсских диалектах, ср. фин. *hamotta*, *hamuhde*, *hamuhta*, *hamuhteet*, *hamuke*, *hamukkeet*, *hamutta* ‘набивка хомута’ при вепс. южн. *hamut* из рус. *хомут* и люд. *hamutin* ‘набивка хомута’; вепс. *hamu’in* из рус. *хомутина* ‘мягкий кожаный валик, прикрепляемый под клещи хомута, чтобы они не терли животному шею’ [SKES, 54].

5. Некоторые заимствования из русского языка отмечаются только в южновепской лексике, ср. вепс. южн. *balat* ‘грязь, слякоть’, *balatokaz* ‘грязный, слякотный’ (Белое озеро, Сидорово) [СВЯ, 40], вепс. южн. *šaržanik* ‘зипун, сшитый из понитка (грубого дмотканого материала)’ (Радогошь) [Там же, 542].

6. В ряде случаев детальный анализ вепсских, прибалтийско-финских и русских диалектных данных позволяет верифицировать некоторые этимологические версии. Примером может служить фин. *karanka* ‘кол, шест, жердь, высохший, довольно толстый еловый сук’, ‘прут в изгороди’, *karankokuusi* ‘ель с твердой древесиной без сучьев или с небольшими сучками’, *karanka-*, *karenko-ohdake* ‘вид осота больших

размеров', карел. *karanko* 'коряга, упавшая в реку', ливв. *karango* 'засохшее дерево', *karangahañe* 'сухостойное дерево', люд. *karangahaiñe*, *kūzen karangahaiñe* 'засохшая ель' при вепс. южн. *karand* : *kukiñkarand*, *-garand* 'осот, чертополох' [SKES, 161]. Авторы SKES предполагают этимологическую связь этих лексем с корнем *kara* 'твердый засохший сук хвойного дерева' [Там же, 161].

7. Провести дифференциацию лексики, вошедшей в русские говоры из прибалтийско-финских языков, на уровне диалектов не всегда возможно. Так, например, *лэйпина* 'кусок бересты, береста' (Прионеж.: Педасельга, Ладва) и *лэйпина* (Вытегор.: Бараны) сопоставляются с *läip* (Пондала, Шимозеро), *l'eip* (Пяжозеро) при вепс. южн. *laip* (Белое озеро) в значении 'кусок, полоса бересты, еловой коры и т. п.' [СВЯ, 309]. При этом чаще всего в таких случаях следует вести речь о результатах довольно позднего вепско-русского взаимодействия.

СВЯ — Зайцева М. И., Муллонен М. И. Словарь вепского языка. Л., 1972.

СКЯМ — Макаров Г. Н. Словарь карельского языка [ливвиковский диалект]. Петрозаводск. 1990.

СКЯП — Пунжина А. В. Словарь карельского языка [тверские говоры]. Петрозаводск, 1994.

ССКГК — Федотова В. П., Бойко Т. П. Словарь собственно-карельских говоров Карелии. Петрозаводск, 2009.

KKLS — Ikonen T. I. Koltan ja kuolanlapin sanakirja. O. 1-

В. В. Напольских

Удмуртский государственный университет, Ижевск
vovia@udm.ru

Этнолингвистическая ситуация в лесной зоне Восточной Европы в первые века н. э. и данные «Гетики» Иордана

Предварительный анализ известного пассажа из «Гетики» Иордана (116), обозначаемого обычно как «список народов Германариха» (далее — «Список»), позволил реконструировать его как цитату

в латинском тексте «Гетики», взятую из источника на готском языке, первоначально, видимо — поэтического итинерария, типологически сходного со второй (этнической) тулой «Видсида» (идея высказана еще в [Chadwick, Chadwick, 1932, 278]). Текст цитаты в предлагаемой нами реконструкции: «*thiudos: in Aunxis Vas, in Abroncas Merens, Mordens in Miscaris, Rogas stadjans at Thual, Nauezo, Bubegenas, Gotthos*» [«народы: в Аунксах — вас, в Абронках — меров, мордов в Мискарах, жителей берегов Волги до туаллов, навезо, бубегеев, готов»].

Все этнонимы «Списка» надежно локализируются на пути из Балтики через Ладогу на Волгу, вниз по Волге до устья, по северному Предкавказью до Крыма и идентифицируются с упоминаемыми в других источниках названиями. Эти результаты были доложены на предыдущей конференции в Екатеринбурге [Напольских, 2012а] и опубликованы в виде развернутой статьи [Напольских, 2012б].

Данный доклад посвящен идее о мнимом параллелизме первой части «Списка» и перечисления народов в начальной русской летописи (*чудь — весь — перь — меря — мордва — черемисы*), которая впервые была высказана в [Thunmann, 1774, 369–370], затем развита в [Schlözner, 1802, 39–40] и, наконец, окончательно сформулирована в [Schafarik, 1843, 294 и сл.]. Несмотря на то, что уже в XIX в. было ясно, что ни *чуди* (*thiudos* «Списка» — не *чудь*, а гот. *þiudos* ‘народы’ [Grienberger, 1895, 157–159]), ни *перми*, ни *черемисов* в «Списке» нет (эти имена не рассматриваются как параллели к *thiudos* — *brnecas* и *Imniscaris* / *Remniscans* уже в [Thomsen, 1882, 10–11]), эта идея препятствовала правильному пониманию «Списка», создавая, с одной стороны, иллюзию его «ученого» происхождения, а с другой — представление о том, что этническая карта лесной зоны Восточной Европы была неизменной по крайней мере с IV в. до конца Средневековья.

На основе двух надежных привязок «Списка» — «*in Aunxis Vas*» и «*Mordens in Miscaris*» — будет показано, что, несмотря на кажущееся сходство и несомненную историческую связь с *весью*, *мордвой* и *мещерой* русских летописей, есть все основания говорить о том, что в IV в. эти названия имели иное значение и локализацию. В «*in Aunxis Vas*» следует видеть скорее не финноязычных вепсов, а древние южные группы саамов в юго-восточном Приладожье, которые позднее перешли на прибалтийско-финскую речь и передали свое самоназвание вепсам [Напольских, 2007]. Относительно «*Mordens in Miscaris*» нет оснований говорить ни

о древнерусской *мордве*, ни о мокшанах и эрзянах. Под *мордами* Иордана скорее следует понимать какую-то ираноязычную группу, давшую название территории, известной затем Константину Багрянородному как *Μορδία*. Видимо, из византийских источников было заимствовано древнерусской традицией это имя, которое с суффиксом *-ва* в X–XII вв. обозначало не только территорию, но и ее население, предков мокшан и эрзян. *Miscar(is)* Иордана не может быть связано с поздним *Мещерским* краем в левобережье Оки и его гипотетическим финно-угорским населением: речь идет о территории между низовьями Оки и Суры, которая именовалась *Мещерой* в русских источниках вплоть до XIX в. [Яковлева, 1999, 40–43] и дала имя татарам-*мишарям* [Исхаков, 1998, 183 и сл.]. Вероятно, именно здесь, на правом берегу Волги в Нижегородском Поволжье, и можно предполагать в первые века н. э. присутствие какой-то иранской группы, принесшей сюда название **mord-*.

Исхаков Д. М. От средневековых татар к татарам Нового времени. Казань, 1998.

Напольских В. В. Происхождение самоназвания вепсов в контексте этнической истории Восточной Прибалтики // *Вопр. ономастики*. 2007. № 4. С. 28–33.

Напольских В. В. «Список народов Германариха» — готский итинерарий IV в. // *Этнолингвистика. Ономастика. Этимология : материалы II Междунар. науч. конф.* Ч. 2. Екатеринбург, 2012а. С. 207–209.

Напольских В. В. «Список народов Германариха» — готский путь от Ладогои до Кубани // *Уральский исторический вестник*. 2012б. № 2 (35). С. 20–30.

Яковлева В. К проблеме мешеры // *Финно-угроведение*. 1999. № 4. С. 34–44.

Chadwick H. M., Chadwick N. K. The growth of literature. Vol. 1. The ancient literatures of Europe. Cambridge, 1932.

Schafarik P. J. Slawische Altertümer. Bd. 1. Leipzig, 1843.

Schlözer A. L. Несторъ. Russische Annalen in ihrer slawonischen Grundsprache. Erster Teil. Allgemeine Einleitung in die alte russische Geschichte und in die nordische Geschichte überhaupt. Göttingen, 1802.

Thomsen V. Ryska rikets grundläggning genom skandinaverna. Stockholm, 1882.

Thunmann J. Untersuchungen über die Geschichte der östlichen europäischen Völker. Theil 1. Leipzig, 1774.

С. Небжеговска-Бартминьска

Университет им. Марии Кюри-Склодовской, Люблин (Польша)
stanislawa.niebrzegowska-bartminska@poczta.umcs.lublin.pl

Жанровая обусловленность символических значений слов

Одноязычный (толковый) словарь национального языка фиксирует слова и объясняет их значения. Над таким лексиконом может надстраиваться — как сформулировала это Мария Рената Майенова в «Теоретической поэтике» [1974] — лексикон второго уровня, который содержит символические значения, происходящие из «естественных знаков вещей». Например, в словаре польского языка *wianek* определяется как ‘сплетенное из цветов, веточек и т. п. колечко, которое носят на голове в качестве украшения’, а в словаре второго уровня *wianek* — это знак девичества и чистоты девушки. Этот смысл подтверждается употреблением слова как в разговорной речи (ср. *donosić wianka* <носить венок> ‘сохранить чистоту до свадьбы’, *stracić wianek* <потерять венок> ‘лишиться девственности’), так и в фольклорных текстах, например в свадебной песне: «*Żebyś ty, chmielu, na tyczki nie laz, tobyś nie robił z panienek niewiast. Ale ty chmielu na tyczki łazisz, niejedną pannę wianka pozbawiasz*» <Если б ты, хмель, на жерди не лез, ты бы не делал из девушек женщин. Но ты, хмель, на жерди лазаешь, не одну pannu венка лишаешь>.

В докладе анализируются отдельные единицы общенародного лексикона и их реализации в фольклорных текстах различных жанров. Отправной точкой являются базовые смыслы, которые, тем не менее, допускают включение дополнительных смыслов; это означает, что знак естественного языка — на высшем уровне — становится о з н а ч а ю щ и м для нового знака.

Так, например, в словаре польского языка *луг* выступает в своем основном значении — ‘пространство, густо поросшее растительностью, в основном травами, использующимися для сенокоса или выпаса скота’; *липа* — ‘дерево с широкой кроной, сердцевидными листьями и душистыми медоносными цветками’; *калина* — ‘дерево или кустарник с черными, красными или желтыми плодами’.

В фольклорных текстах лугу, липе и калине приписываются дополнительные смыслы, варьирующие в зависимости от жанра. Оставаясь в рамках лотмановского понимания символа, можно сказать, что «идеи некоторого содержания» служат «планом выражения для другого, как правило, культурно более ценного содержания» [Лотман, 1992, 191].

Луг в любовных песнях приобретает значения женственности, девичьей чистоты («Moja łączka przy niskiej dolinie, można ją siec jak w lecie, tak w zimie» <Мой лужок в низкой долине, можно его засеять и летом и зимой>; «Mam ci ja Jasiu łączke zieloną, na niej traweczkę niepokoszoną. Tylko koszenia potrzeba, da nam Pan Bóg wszystko z nieba, dobrze nam będzie» <У меня для тебя, Ясь, есть лужок зеленый, на нем травка некошенная. Нужно только покосить, даст нам Бог все с неба, хорошо нам будет>) и пространства любви («Na zielony łące pasła Andzia pawie, przyszło do ni ćtery kawalery: “Wędruj, Andziu, z nami”» <На зеленом лугу пасла Андзя павлина, пришли к ней четверо юношей: «Пойдем, Андзя, с нами»>). В рождественских колядках *зеленый луг* является знаком рая и места вечного блаженства: «Przy zieluny łące, przy ślicznyj dolinie sława Panny Przenajświętszej na cały świat słynie» <На зеленом лугу, в прекрасной долине слава Пресвятой Девы на весь мир славится>. В поминальной песне луг может связываться с загробным миром, местом, где встречаются души после смерти: «Dusza z ciała wyleciała, na zielonej łące stała. Przyszedł do niej anioł z nieba: “Czego ci, duszo, potrzeba?”» <Душа из тела вылетела, на зеленый луг встала. Пришел к ней ангел с неба: «Что тебе, душа, нужно?»>).

Липа в любовных песнях и балладах — это прежде всего женский символ, знак девушки-панно, готовой к любви: «Stojała lipa przy dole, przy organiściej stodole. Tam, ci Kasieńka stojała, rosicka na nią padała. Bieg(ł)-ci Jasiniek na rolę, wziął sukmaniska, odział ją» <Стояла липа внизу, у овина органиста. Там Касенька стояла, роса на нее капала. Бежал Ясинек на поле, взял сермяжку, надел на нее>. В рождественской колядке липа в сочетании с белым камнем и бьющей из него водой воссоздает древний славянский образ космоса — в данном комплексе (в других текстах встречается также дуб, сосна, явор) это космическое дерево, ось и центр мира: «Stoji mi lipieńka, stoi mi zielona. A pod tą lipieńką biały kamień leży. Spod tego kamienia bystra woda bieży. A w tej to wodeńce Maryja sie myła, a jak się

umyla, Syna porodziła» <Стоит моя липочка, стоит моя зеленая. А под этой липочкой белый камень лежит. Из-под этого камня быстрая вода бежит. А в этой водичке Мария мылась, а как умылась, Сына родила>.

Калина в уланской песне — знак смерти юноши: «Jedzie w las ulan, krew sie lieje z ran. Posieczony, postrzepiony, chorągiewke ma czerwone, z konia kipi pot. Spada z konia wznak pod kaliny krzak. Ta kalina jak matula liściem swoim go przytula, to śmiertelny znak» <Едет в лес улан, кровь льется из ран. Израненный, истрепанный, хоругвь у него красная, на коне пот кипит. Падает с коня навзничь под куст калины. Эта калина как матушка листом своим его обняла, это смертельный знак>. В любовных балладах *калина среди кустов* — влюбленная девушка, ждущая парня: «Przy dolinie, przy gęstej krzewinie, tam kalina stoją i Jasińka na dróżce wołała: “Chodź, Jasińku, pójdźiewa”» <В долине, в густом кустарнике, там калина стояла и Ясенька на дорожке звала: «Иди, Ясенек, пойдем»>.

Лексикон, надстроенный над общенародным лексиконом, понимается только в рамках определенного культурного кода [ср.: Толстой, 1995; Толстая, 2008]. Для верного прочтения приписываемых значений и генерирующих их механизмов в рамках данного кода необходим соответствующий контекст, который позволяет вспомнить и декодировать данные смыслы, выраженные забытым языком символов [ср.: Fromm, 1972]. Декодирование становится возможным благодаря, кроме прочего, языковым сведениям (этимология, метафорические значения), текстовым (параллелизмы, межтекстовые эквиваленты) и «около-языковым» (записи верований и описания магических практик) [ср.: Niebrzegowska-Bartmińska, 2013].

Автор концентрирует внимание прежде всего на жанровых условностях текста, которые, как представляется, в наибольшей степени влияют на направление символической интерпретации. К ним, главным образом, относятся заключенный в поэтике жанра образ мира и ценности, лежащие в его основании. Принимая идею А. А. Потебни о том, что символизм находится в тесной связи с языком («<...> только с точки зрения языка можно привести символы в порядок, согласный с воззрениями народа» [Потебня, 2000, 8]), мы обсуждаем три тезиса исследователя, а именно:

1) символизм встречается в старых литературных жанрах чаще, чем в более новых: «Так как символизм есть остаток незапамятной старины, то встретить его можно преимущественно там, где медленнее

происходит отделение мысли от языка, куда медленнее проникает новое»;

2) символизм характерен в большей степени для женских песен, чем для мужских: «Связь с языком и символизм, характеризующие женские песни, встречаются в мужских в гораздо меньшей степени»;

3) наблюдаются различия в сфере использования символики в «мужских» и «женских» жанрах: «Мысль мужчины шире, подвижнее, изменчивее в силу новых, входящих в нее, стихий, чем мысль женщины, заключенной в кругу медленно изменяющегося домашнего быта, более близкой к природе и неподвижному разнообразию ее явлений» [Там же].

Лотман Ю. М. Избранные статьи : в 3 т. Т. 1 : Статьи по семиотике и топологии культуры. Таллин, 1992.

Потебня А. А. Символ и миф в народной культуре. М., 2000.

Толстая С. М. Пространство слова. Лексическая семантика в общеславянской перспективе. М., 2008.

Толстой Н. И. Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. М., 1995.

Fromm E. Zapomniany język. Wstęp do rozumienia snów, baśni i mitów. Warszawa, 1972.

Mayenowa M. R. Poetyka teoretyczna. Wrocław, 1974.

Niebrzegowska-Bartmińska S. Ustalenie znaczeń symbolicznych w słowniku etnolingwistycznym // LingVaria. 2013. R. VIII, nr. 1 (15). S. 127–144.

Пер. с польск. Е. О. Борисовой

Е. А. Нефедова

Московский государственный университет, Москва
eanefedova@gmail.com

«Архангельский областной словарь» как источник этнолингвистической информации

Известно, что диалектология как самостоятельная наука зарождалась в условиях интереса к народной жизни, этнографии, фольклору и живому народному языку. Неслучайно в названиях словарей конца

XIX в. А. О. Подвысоцкого и Г. И. Куликовского содержится уточнение о наречиях в их «бытовом и этнографическом применении».

В этнолингвистике, предметом изучения которой является традиционная народная культура, данным диалектных словарей отводится важная роль. Диалект рассматривается этнолингвистикой не только как исключительно лингвистическая, но одновременно и как этнографическая и культурологическая территориальная единица [см.: Толстой, 1995]. При таком его понимании «вновь, как и на рубеже XIX–XX вв., становится актуальным изучение говоров в «“бытовом и этнографическом” освещении» [Рут, 2002, 250].

В этой связи правомерен вопрос о том, как и в какой мере современные диалектные словари, будучи словарями лингвистического (не энциклопедического) типа, отражают сведения, соответствующие комплексному представлению о диалекте и могущие служить источником для этнолингвистики. Большинство современных словарей относятся к типу дифференциальных. Очевидно, что основным критерием включения в дифференциальный словарь материала этнолингвистического характера является наличие в нем диалектного слова. Лексика обрядов и верований, общая с литературным языком, а также вся культурная информация, связанная с обыденной лексикой, может оказаться за рамками такого словаря. Ситуация может смягчаться тем, что в иллюстративном материале любого регионального словаря содержится определенное количество «тонкой» культурной информации, позволяющей увидеть народную культуру изнутри [Журавлев, 2003, 179–180].

Взгляд с позиций лексикографии ставит вопрос несколько иначе: насколько соответствует включение этнолингвистических сведений теоретической платформе словаря, тем принципам, которые положены в его основу? Ведь для многих словарей эти принципы формировались в контексте структурной парадигмы, задолго до становления русской этнолингвистики как самостоятельной науки.

Например, «Архангельский областной словарь» (АОС) был задуман еще в 1950-е гг. как словарь дифференциального типа. От других подобных словарей его отличает широкое понимание принципа дифференциальности. Принятая в АОС ориентация на любое отличие слова в диалекте от соответствующего слова в литературном языке изначально предполагала включение в его словник, кроме диалектизмов, лексики

просторечной, разговорной, устаревшей в литературном языке и не имеющей такой стилистической окрашенности в говорах.

Объектом особого внимания в АОС является общерусское слово, которое в последних выпусках подается уже во всей совокупности значений, в том числе и совпадающих с литературным языком. Это свидетельствует об эволюционировании словаря от дифференциального типа к полному.

Существенно раздвинулись границы охвата лексики, функционирующей в говорах. В последние выпуски АОС по возможности полно, независимо от ее общности с литературным языком, включается лексика обрядов и верований (например, *борода́*, *домово́й*, *жи́хорь*, *заве́т*, *завеща́ться*, *за́говор*, *загрыза́ть* и др.). При семантизации лексем обыденного пласта последовательно проводится принцип включения в иллюстративную часть соответствующих словарных статей текстов, содержащих разнообразную культурную информацию (см., например, *ба́йна*, *гры́жа*, *ды́мник*, *до́рога*, *желе́зо*, *жи́ла* и др.). Наконец, наличие значительного количества иллюстраций дает возможность не только демонстрировать оттенки употребления слова, но и раскрывать фактологические, культурные сведения о стоящей за словом реальности.

Усиление внимания авторов АОС к этнолингвистической информации подтверждает динамика статистических данных, отражающая количество текстов с пометами «фольк.», «послов.», «погов.», «примета». В каждом из первых десяти выпусков АОС в среднем представлено порядка десяти иллюстраций с такими пометами. В выпусках с 11-го по 16-й их среднее число приближается к ста в каждом.

В докладе будут рассмотрены типы этнолингвистической информации, отражаемой «Архангельским областным словарем».

Журавлев А. Ф. Диалектный словарь и культурные реконструкции // Славянское языкознание. XIII Международный съезд славистов. Любляна, 2003. Доклады российской делегации. М., 2003. С. 177–189.

Рут М. Э. Этнографические материалы в диалектном словаре: проблемы подачи // Материалы и исследования по русской диалектологии I (VII). М., 2002.

Толстой Н. И. Язык и народная культура: Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. М., 1995.

«Двенадцать друзей», или Как предстают конфессиональные ценности в духоборческих псалмах

Духоборческое сообщество представляет собой одну из этноконфессиональных групп русского народного протестантизма, для которого характерно слияние религии и этнической культуры, когда практически любое проявление последней подчиняется религиозным установкам. В настоящее время, когда в России происходит явный распад духоборческой культуры, особое внимание в этом отношении могут привлечь тексты духоборческих псалмов, излагающих вероучение и объединенных в устную «Животную книгу», записанную и опубликованную В. Г. Бонч-Бруевичем в начале XX в. Именно к ее текстам я и обращаюсь в попытке описать некоторые конфессиональные ценности духоборцев.

Псалмы довольно пестры и часто темны по своему происхождению и содержанию. Часть из них имеет вопросно-ответную форму, напоминающую катехизис и служащую для подробного описания (иногда — метафорического) основных религиозных понятий, часть близка к библейским текстам. Есть тексты, сходные с православными духовными стихами, бытующими в старообрядческой среде. Наконец, присутствуют тексты, содержащие правила жизни и сочиненные, по видимому, духоборческими вождями.

Процитирую первые семь строк псалма № 157, который в устном варианте имеет название «Двенадцать друзей» (другой вариант этого текста в «Животной книге» (№ 380) называется «Сказание о друзьях»; раньше текст бытовал и у молокан):

Да кто себе на земле поимеет двенадцать друзей, наипаче всех человек.

Первый друг — *правда*, та человека от смерти избавляет.

Второй друг — *чистота*; чистота человека к Богу приводит.

Третий друг — *любовь*; где любовь, там и Бог.

Четвертый друг — *труды*; телу честь, душе на вспоможение.

Пятый друг — *послушание*, скорый путь ко спасению.

Шестой друг — *неосуждение*, без труда человеку спасение.

Далее идут *рассуждение, милосердие, покорение, молитва с по-
стом, благодарение, покаяние*. Конец текста: «За того человека за-
ступятся двенадцать ангелов; возьмут его душу, понесут в царствие
небесное».

Нетрудно заметить, что выделенные мной курсивом «други» суть номинации понятий, обозначающих качества / добродетели, состояния, поступки / действия, исполнение которых является для человека благом, приближающим его к Богу и удаляющим от смерти. Эти номинации получают по две позитивных оценки: конкретную, идущую от их функции / назначения: (*послушание* — «скорый путь к спасению», *по-
каяние* — «Богу радость») и общую — «друг (человека)». Но что обо-
значают конкретные названия «другов»? *Правда* — многозначное слово,
чистота и *любовь* — тоже. Для установления значения нужно выйти
за пределы этого текста и осуществить поиск контекстов по всему
корпусу псалмов. Так, для высокочастотного слова *правда* оказывается,
что оно по смыслу, с одной стороны, связано с лексемами *закон, право,
справедливость* («Бог будет судить по правде»), с другой — со словами
ложь, неправда как соответствие / несоответствие реальности («Говори
всегда правду, никогда не лги» — из поучительных псалмов). В рассма-
триваемом псалме № 157 значение лексемы *правда* неопределенно, что
характерно для диффузного употребления многозначных слов в языке
народной культуры. Отметим, что в языке духоборцев это слово, как
и многие другие, связано с народно-этимологическим осмыслением:
на вопрос «Что есть правда?» дважды в текстах следует ответ «**Правда**
есть **справление** к престолу Божьему».

Слово *чистота* в других контекстах — прежде всего, «благодушев-
ная чистота сердечная», которой все очищается. На вопрос «Чистота
плоти и чистота духа — какая разница?» следует ответ «Мы духом
чистым, светом молимся и постимся, той же силой **очищаем** плоть
свою». Через понятие чистоты определяется слово *пост* (православных
постов духоборцы не соблюдают): «Пост наш плотский — **чистота**
от головы и до ног». Это слово встречается практически в каждом
из тринадцати «Снов Богородицы», входящих в состав псалмов и чи-
таемых перед смертью самим умирающим или родственником у его
постели. Чистота читающего (а «человек **честен чистотою**») и со-
хранение в чистоте письменного текста служит оберегом от всех
возможных несчастий в доме и в дороге.

Практически все слова-*други* из псалма № 157 входят и в другие перечни слов, объединенных чаще всего вопросами, например: «Что есть девять блаженств евангельских? — Вольная нищета, плач о грехах, крепость желанья, **правда**, **милость**, чистосердечное миротворение, изгнание **правды** ради, поношения за имя Господне». *Труд* является третьим концом метафорического духовборческого *креста* наряду с *верой*, *надеждой* и *питанием*. Подобные перечни в псалмах исчисляются многими десятками.

Двенадцать слов-*другов* и другие многочисленные слова в этих оценочных перечнях, близкие по характеру к рассмотренным выше, указывают на стоящие за ними ключевые концепты культуры. Последние, судя по даваемым им оценкам, являются конфессиональными ценностями духовборцев, вбирающими в себя религиозно-культурные смыслы их мировоззрения.

К. В. Осипова

Уральский федеральный университет, Екатеринбург
zwierze@yandex.ru

Крестьянский рацион голодного времени (на материале севернорусской диалектной лексики)

В традиционном укладе жизни крестьянина чередовались сытые и голодные периоды, что определялось как природными, так и социально-историческими факторами. Сытым оказывалось осеннее время, когда собирался основной урожай и резалась скотина, голодными — весна и первая половина лета. Естественно, что более богатым был праздничный стол, более калорийными — блюда скоромных периодов, тогда как повседневная пища и постный стол готовились гораздо скромнее. И конечно, самый скудный рацион приходился на периоды социально-исторических перемен и потрясений — войн, коллективизации и пр., когда большая часть продуктов сдавалась в колхоз и/или отправлялась на фронт.

Лексика севернорусских диалектов — ее мотивационный компонент, особенности семантического развития и контекстного

употребления — позволяет охарактеризовать специфику рациона бедного времени и определить семантико-мотивационное своеобразие языкового воплощения этого фрагмента действительности. Лексическая группа «Бедная пища; пища голодного времени» широко представлена как в картотеке говоров Русского Севера (по Архангельской, Вологодской и Костромской областям), так и в словарях, охватывающих северо-западные территории России.

Лексика, называющая пищу голодного времени, отражает отсутствие основных продуктов питания (арх. *бескóрмица*, *бесхлéбница* ‘голодное неурожайное время’), резкое сокращение количества продуктов (арх. *Соль да вода — наша еда* ‘о питании в голодные годы, при бедности’) и редуцирование состава блюд — обычно до картошки, лука и соли (арх., влг. *рататуй*: «Рататуй суп пустой, бедный, говорят, суп рататуй, по бокам картошка, а в серёдке матюк», влг. *рощеколда*: «Рощеколду-то бедные хлебали, водичка с картошкой», костром. *балáнда*: «Раньше, вот я когда была в детстве, не было совсем еды, варили суп: картошку, лук, соль, вода <...> Вот он и баланда»).

Кроме того, в блюда включались ингредиенты, ранее считавшиеся несъедобными. Так, в пищу шли отходы при обмолоте головок льна (волог. *головíчник* ‘лепешка из отходов, полученных при обмолоте головок льна’), отходы от обмолота зерна (волог. *дрязг* ‘хлеб из отходов, полученных при обработке ячменя, ржи’: «В войну-то мы и дрязгу были рады, пекли его из мусора от ячменя, ржи»), полевой хвощ (волог. *пíстичник* ‘пирог из муки, полученной из полевого хвоща’), клевер (костром. *ка́шник* ‘клевер’: «Кашник — головки клевера. Их высушат, ступа такая была деревянная — истолкут. Чуть-чуть муки, вот такая каша чёрная», волог. *сухомéц* ‘кушанье из высушенных и истолченных соцветий клевера’), семена дикого щавеля (волог. *зáспица* ‘семена дикого щавеля’: «В войну-то заспицу собирали»), трава (волог. *травя́ник* ‘лепешка, которую в голодные годы изготавливали из травы и небольшого количества муки’, костром. *хлам* ‘истолченные растительные отходы’: «Накладёт в котомочку matka этого хламу, на сенокос уйдём, в суп накладём и едим»), жмых (волог. *дура́ндица* ‘выжимки от конопляного или льняного масла’: «Мы раньше рады дуранде были, жмых в ней один, ходили работать, чтоб обратки попить да дурандицы дали»), гнилой, прошлогодний картофель (волог. *оля́бушечка* ‘оладья из картофеля, найденного весной на поле’: «В войну-то голодно было.

На полях прошлогодняя картошка делается крахмалом, дак её собирали да олябушечки делали») и пр. Таким образом, основу рациона в бедное время составляли жидкие пустые похлебки, а также хлеб и лепешки, испеченные с добавлением суррогатной муки.

С мотивационной точки зрения названия пищи голодного времени отражают состав блюда (ср. волог. *дудочные лепёшки* ‘изготовленные из размолотых стеблей дудок лепешки’: «Пойдѣшь в лес, лоньских дудок насобираешь, в муку истолкѣшь и лепёшки дудочные сделаешь, в голодное время ели», костром. *лукопѣрица* ‘постная похлебка из картофеля и лука’: «Раньше где мяса-то было, по праздникам только, а так лукоперицу делали: лука да картошки кидали»), использование соли как основного «улучшителя» вкуса (волог. *солонушка* ‘кушанье из льняных головок, приправленное солью’: «Когда голодали, дак солонушку готовили»); представляют скудность, низкую пищевую и вкусовую ценность пищи (волог. *голышка*, *голожа́бница*, *нужда́*, *матюк* ‘пустой суп’); жидкость, «пустоту» блюда (костром. *балáнда*, *лупíха* ‘пустой суп’); отражают жизненную необходимость всякой пищи (волог. *спасѣнчик* ‘лепешка из мороженой картошки’: «Спасенчики всё в голод делали»); исторический период, приметой которого они стали (арх. *совѣтская уха́* ‘похлебка из картошки (без рыбы)’: «Демьянова уха — то же самое, что советская уха: когда рыбы не было, в котелок картошку бросали в воду, крепко солили», костром. *пятилѣтка* ‘пустой суп’) и пр.

В целом диалектная лексика, называющая бедную пищу, составляет довольно объемную группу, которая тематически и мотивационно пересекается с названиями пустых блюд, растительных отходов, дикорастущих трав. Она отражает культурно-исторические представления о голодном времени, которое вносило значительные перемены в традиционный рацион крестьян.

Прозвищные антропонимы русско-эстонской деревни

Деревня Вяльги (Välgi), на 20 километров удаленная вглубь материка от заселенного русским старожильческим населением западного побережья Чудского озера, представляет собой место достаточно древнего поселения русских. Деревня была основана в XIII в. водско-русскими переселенцами из областей, находящихся восточнее Чудского озера.

Вяльги издавна являлась смешанной по этническому составу деревней. В XIX–XX вв. церковь (построена в 1859 г.) и кладбище были православными, а представители эстонского населения деревни посещали церковь и хоронили умерших в других приходах¹ (лютеранские церковь и кладбище в д. Маарья, католические — в Алатскиви). Первая деревенская школа также была основана в 1859 г. и изначально являлась русской православной школой; в XX в. школа перешла на эстонский язык обучения (по-видимому, во времена первой Эстонской Республики) и просуществовала до 1974 г., когда была закрыта из-за малого числа учащихся.

В последние десятилетия XX в. население деревни стремительно сокращалось и в настоящее время составляет лишь несколько десятков жителей (согласно одной из последних переписей населения — 41 человек), большая часть которых является эстонцами или ассимилировавшимися русскими (для сравнения: в 1922 г. в деревне насчитывалось около 400 русских православных жителей).

Не имеется свидетельств о том, чтобы в деревне проживали старообрядцы (являющиеся преобладающим населением Западного Причудья, заселенного позднее). Связи с Западным Причудьем носили в основном экономический и (в меньшей степени) социальный (родственный) характер.

Сейчас почти невозможно сделать запись русской речи у жителей деревни (осталось два-три человека, для которых русский язык

¹ Во время Второй мировой войны из-за сложностей с переправкой покойников на удаленные кладбища эстонцы также стали хоронить своих умерших на кладбище д. Вяльги.

является родным и которые могут / согласны на нем говорить), но очевидно, что говор их похож на говоры жителей причудских деревень, относящихся к северо-западным акающим (псковским) говорам, хотя имеются и отличия. В числе прочего в говоре д. Вяльги более заметно влияние эстонского языка. Это объясняется как иным типом контактов с местным эстонским населением (плотные, не ограничивающиеся экономическими связями повседневные контакты внутри одного локуса), так и тем, что новообрядческое население деревни, в отличие от старообрядцев — жителей Причудья, не было столь закрытым в этноконфессиональном плане.

Немаловажное отличие д. Вяльги от прибрежных старообрядческих деревень заключается и в способе застройки: если причудские деревни имеют уличный тип застройки, то деревне Вяльги, как большинству эстонских деревень, присущ разбросанный тип расселения.

Жители деревни помнят, что уже в то время, когда соотношение эстонского и русского населения было примерно равным, почти все русские жители владели эстонским языком, хотя и в разной степени, эстонцы же по-русски почти не говорили: *«Все эстонцы были глубокие, они русский не знали. Русские знали эстонский язык, но по-разному. Одна тётка — в сторону Васькиных гор жила — пришли эстонцы от неё спрашивать, где peremees. Она: “Péremes пошёл лякс на су́лалу́хту косить нийтма”»*².

Эта языковая ситуация также отличается от ситуации в Западном Причудье: там владение эстонским языком среди русского населения отнюдь не повсеместно и напрямую связано с биографией конкретного носителя говора (эстонским языком в основном владеют те представители коренного русского населения, которые в детстве или юности батрачили на эстонских хуторах — «ходили в поле»).

Прозвищный антропонимикон деревни Вяльги отражает ее языковую историю. Несмотря на практически полное исчезновение русского населения, прозвища «с русским фоном» сохранились в памяти жителей и могут использоваться и сегодня. Все эти прозвища выполняют функцию социальной идентификации, оценочных единиц зафиксировать не удалось. Поскольку в деревне проживало большое

² *Peremees* ‘хозяин’, *läks* ‘пошел’, *sulaluht* ‘заливной луг’, *niitma* ‘косить’.

число однофамильцев, прозвища становились родовыми именами. Если говорить о типах номинаций, то в качестве мотивирующего признака выбирались: 1) географический / природный объект, находящийся неподалеку от хутора; 2) топоним, называющий часть деревни, где располагался хутор; 3) имя хозяина хутора; 4) род деятельности.

Ниже приведены примеры, где после онима в угловых скобках указана этническая принадлежность семьи или лица — носителя прозвища.

Аллику <рус.> ← эст. *alliku* ‘ручья (род. п.), ручейный’. «Решетá делали Нинины родители — их называли *Аллику*, потому что у дома ручей был. Её тоже Нина *Аллику* <называли>, фамилию не помню. Юнкины?»

Кóплевы <эст.> ← эст. *koppel* ‘загон, выгон’. «*Кóплевы* — *koppel* для выгона скота, у них за домом был *koppel* огорожен кольями. Ёйх в самом деле фамилия Либлик. Жену называли Либлику Алма, не называли “Копли Алма”».

Лéпиковы <эст.> ← эст. *lepp* ‘ольха’. «*Лéпиковы* — ольха, хотя вроде ольхи не было. Это Ансипа <фамилия> родственники, Ансипа бабушка. Жили от нас к югу, если идти в сторону Вяльги. Хозяин *Лепиков Каарел*. Он испугался войну и повесился в лесу. После того как бомбили деревню и две бомбы у них перед баней упали. В дом не попали».

Вяльгельский Гришка <рус.>. «Аннушкин отец был Гришка, Григорий. *Вяльгельский Гришка*. Но в самом деле все были Сомелары <по фамилии>».

Вяльгельский Мишка <рус.>. «У меня на парте рядом сидела *Вяльгельского Мишки* Тамара».

Tootsid <эст.> = множ. от *Toots*. «В Алайыэ *Tootsid*, *Tootsi küla* — фамилия была *Ets*, *Etsid*. По имени отца, может быть? *Toomси* Паула — моя ровесница, дочка семьи из Тоотси».

Дорофеевы / *Taaruška* [тáрушка] <рус.>. «Русские называли *Дорофеевы*, а эстонцы *Taaruška*. Хутор назывался *Terpani talu*» (официальная фамилия — Персидские. — О. П.).

Илйошкины <рус.>. «*Илйошкины* — это Сомелары <по фамилии>, Илья был хозяин».

Исáковы <рус.>. «Все эстонцы кругом нас, только с севера были русские — *Исáковы* — по хозяину. Юнкины йих фамилия. Это Парасковья была *Исáкова*».

Лудвиговы <эст.>. «*Лудвиговы* — Ludvig хозяин».

Питровы <эст.>. «Кругом нас были *Питровы*, Peeter хозяин был».

Пушеновы <рус.> ← эст. *puusepp* ‘плотник’. «Свои *puusepad*, столяры. Их так и звали *puusepad* — всё, что с дерева. Их зовут до сих пор *Пушеновы*. Фамилия Сомелар, они были русские».

Прозвищные антропонимы могли дублироваться, иметь русский и эстонский варианты, сохраняя при этом общий мотивировочный признак: *Заручёвный* <рус.> / *Ülejõe* эст. ‘заречный’ — «У меня на парте рядом сидела Вяльгельского Мишки Тамара. Бабушка спросила: “Какого Мишки?”» Их два было, обе (оба. — О. П.) Сомелары были. Другой Мишка был *Заручёвный*. Эстонцы называли их *Ülejõe*.

Таким образом, особенности истории, географического положения и этноконфессионального состава русско-эстонской деревни Вяльги компактно «дожили» до нашего времени в комплексе прозвищных антропонимов, среди которых нет (не сохранилось?) оценочных единиц. Точность идентификации именуемого лица / семьи в деревне с разбросанно-хуторским типом расселения достигается за счет указания на конкретный локус: образуются номинации по географическим / природным объектам или топонимам. Второй тип номинаций — по имени хозяина хутора — в действительности также используется как указание на локус проживания семьи (хутор по имени хозяина, а семья — по имени хутора). Лишь один тип сохранившихся прозвищных антропонимов использует иной мотивировочный признак — номинация по роду деятельности.

А. А. Парфенова

Уральский федеральный университет, Екатеринбург
parfenova.sashulya@mail.ru

Синий понедельник — пьяный или ленивый?

В докладе рассматривается семантика выражения *синий понедельник* в некоторых славянских языках и предпринимается попытка его этимологизации.

Связь дня недели с определенным цветом, закрепленная в устойчивом сочетании, — интересное явление, тем более если она прослеживается сразу в нескольких языках.

Словосочетание *синий понедельник* обнаружено нами в составе фразеологизмов в двух славянских языках — словацком и чешском: словац. *tá modrý pondelok* (букв. «у него синий понедельник») ‘ему не работает (обычно после праздника)’ [СРС, 208] и чеш. *svetit modré pondělí* или *držet modré pondělí* (букв. «проводить синий понедельник») ‘прогуливать, не выходить на работу после праздника’ [Колецкий, I, 399]. Как видим, в обоих языках выражение *синий понедельник* имеет значение ‘день, когда ничего не делают, ленятся, отлынивают от работы’.

Есть основания полагать, что выражение *синий понедельник* пришло в славянские языки из немецкого, ср. нем. *blauen Montag machen* (букв. «делать синий понедельник») ‘прогуливать, не выходить на работу’ [НРФС, 104]. Можно предложить две версии происхождения данного выражения.

Словосочетание *der blaue Montag* может быть связано с католической культурой Германии, где первоначально *синим понедельником* называли понедельник на Страстной неделе. В этот день алтари в храмах Германии украшались синими покрывалами. Позднее название стало относиться к понедельникам, в которые у подмастерьев по старому закону был лишний выходной день (помимо воскресенья) [Бурухина, 2012, 34]. Вероятно, поэтому прилагательное со значением ‘синий’ в немецком языке приобрело семантику лени, ср. глагол *blaumachen* (< нем. *blau* ‘синий’, букв. «делать синим») ‘прогулять, не выйти на работу’ [НРФС, 104]. Нельзя не отметить, что подобное явление фиксируется и в русском языке, ср. рус. диал. *синь* ‘отсутствие желания работать, лень’ [СРНГ, 37, 337]. Эта лексема записана в Кировской области в 1960 г., поэтому она вряд ли может быть генетически связана с немецким выражением *der blaue Montag*.

Выражение *der blaue Montag* могло возникнуть в связи с производством красителя из вайды (род трав семейства крестоцветных). В отличие от дорогого ультрамарина, пигмент из этого растения был более доступным, поскольку вайда в диком виде растет по всей Европе. Краситель из вайды добывался весьма своеобразным способом: листья вайды заливали мочой и добавляли спирт, причем лучшим раствором для «заквашивания» листьев считалась моча пьяного человека. Куски

ткани помещали в ванну с жидкостью в воскресный полдень, и под действием воздуха они начинали синеть. Утром в понедельник красильщики по понятным причинам испытывали сильное похмелье [см.: КПР]. Возможно, именно поэтому понедельник у них стал выходным днем. Данная версия указывает на наличие у немецкого выражения семантики пьянства. Отметим, что нем. *blau* 'синий' может развивать значение 'пьяный', ср. нем. прост. *blau sein* 'быть вдрызг пьяным' [НРФС, 104]. Сходную семантику приобрело прилагательное *синий* и в русском языке, ср. его дериваты, используемые для обозначения пьяницы, алкоголика: *сѣнька*, *синя́к*, *синячо́к* [БТС, 1188].

Вполне возможным представляется своеобразное «совмещение» обеих гипотез. В таком случае ситуация может быть представлена следующим образом. Выражение *der blaue Montag*, согласно первой версии, стало когда-то использоваться для обозначения выходных дней у ремесленников — а в выходные дни подмастерья любили выпить, откуда появление у фразеологизма семантики пьянства. Вероятно, по этой же причине нем. *blau* приобрело со временем значение 'пьяный'.

Таким образом, мотивация немецкого выражения однозначно не установлена, но очевидно, что и в немецком, и в русском языках прилагательные со значением 'синий' связаны с семантическими полями «Пьянство» и «Лень».

БТС — Кузнецов С. А. Большой толковый словарь русского языка. СПб., 2000.
 Бурухина Н. Г. Немецкие цветообозначения с национально-культурной семантикой // Профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам : сб. материалов VI науч.-практ. конф. Екатеринбург, 2012. С. 32–37.

Колецкий Л. В. Чешско-русский словарь : в 2 т. М., 1976.

КПР — Культура письменной речи: статья «Вайдовый». [Электронный ресурс]. URL: <http://grammar.ru/SPR/?id=1.9&page=1&wrd=%C2%E0%E9%E4%EE%E2%FB%E9&bukv=%C2&PHPSESSID=0240dd381498b4e0f17fc54aea25a0f3>.

НРФС — Бинович Л. Э. Немецко-русский фразеологический словарь. М., 1995.

СРНГ — Словарь русских народных говоров. М. ; Л. ; СПб., 1965–. Вып. 1–.

СРС — Коллар Д., Доротьякова В., Филкусова М., Васильева Е. Словацко-русский словарь. М. ; Братислава, 1976.

Семантическое поле слова *голос* в русской народной культуре

Концепт «голос» является одним из важнейших в народной музыкальной культуре славян, где вокальная музыка занимает ведущую позицию. Соответствующий весьма многозначный термин отражает рефлексию народных исполнителей по поводу стилевых, структурных и других особенностей музыкально-фольклорных текстов. Вся совокупность значений термина *голос* и языковых контекстов, в которых он используется народными певцами и музыкантами, обнаруживает их тесные и системные взаимосвязи, благодаря чему создается богатое семантическое поле одного из ключевых концептов традиционной музыкальной культуры славян.

1. Значение 'поющий человеческий голос'. Эпитеты характеризуют его высоту, громкость, тембр, несут в себе качественные и эмоциональные оценки свойств голоса. Высокий голос — *светлый, весёлый* (волог.)¹, низкий — *ядрёный* (юж.), *грубый* [Мухамедшина, 1991, 149], *медвежий* [Калужникова, 2005, 38]. В калужском регионе низкие — *ржаные*, высокие — *пианишные* голоса, на севере и в Поволжье — соответственно *толстые* и *тонкие* голоса. По народным представлениям, высота певческого голоса связана не только с природными данными, но и с возрастом: «Старые бабы мужинским голосом поют» (поволж.). Определенная высота, громкость и тембровые характеристики голоса часто соотносятся в сознании народных певцов с конкретным музыкально-фольклорным жанром. Ср.: «Невестинский голыс высокий. Кады плачут па-мёртвому, голыс абнижаицца» [Гилярова, 2004, 244].

2. Со словом *голос* в славянской традиции связывается представление о музыкальном интонировании в противоположность

¹ В тех случаях, когда нет ссылки на публикацию, сведения взяты из полевых материалов, хранящихся в лаборатории по изучению традиционных музыкальных культур РАМ им. Гнесиных. Приношу глубокую благодарность моим коллегам — сотрудникам лаборатории за консультации и предоставленные материалы.

речевому высказыванию. В значении ‘петь’ используются выражения *брать на голос*, *пускать голос*. Обрядовые песни поют *на весь голос*, *в голос*, *во весь голос* — громко, зычно, в расчете на открытое пространство. Исполнение плачей обозначается глаголом *голосить* или словосочетаниями *плакать голосом*, *выть голосом*, *выть на голос*, чем подчеркивается особый тип плачевого вокального интонирования. Эти выражения нередко противопоставляются термину *причитать*, который используется по отношению к речитативному произнесению поэтических текстов плачей. Однако словосочетания *причитать на голос*, *причитывать голосом*, *причитать вголосовую* [Дорохова, Пашина, 2003, 152] синонимичны термину *голосить*.

3. Словосочетаниями со словом *голос* в славянских певческих традициях часто определяются особые исполнительские приемы, владение которыми свидетельствует о высшей степени мастерства в пении: *переливать голосом*, *играть голосом* (юж.), *качать голосом* (сев.), *водить голосом*, *протягивать голос* [Мухамедшина, 1991, 152]. Известны и выражения, содержащие негативную оценку вокального исполнения: *возить голосом* и др.

4. С термином *голос* связано функциональное разделение на голосовые партии внутри певческого ансамбля. Для обозначения форм многоголосного пения используются выражения *подымать на голоса* (поволж.), *выводить на голосах* (волог.). При многоголосном пении словом *голос* с соответствующими определениями или производными от него обозначается верхняя голосовая партия, чаще всего сольная. Нижние голоса называют *басами*, иногда *ровней* [Гилярова, 2004, 245], а верхний солирующий голос — *подголоском* (блр.), *падгалосником* [Там же, 246] или *галасником* (блр.). Языковая форма слов *подголосок* или *подголашивать* ясно указывает на иерархически подчиненный характер этой голосовой партии басам, которые, как правило, ведут основной напев, в то время как *подголосок* лишь украшает его. Соответственно, исполнительниц верхнего голоса называют *падгалосница*, *галасница* и т. п. В значении ‘петь сольный подголосок’ иногда употребляются также выражения *выносить голос* или *возвышать голос* [Мухамедшина, 1991, 149]. Иногда в ансамбле могут выделяться три партии: нижняя — *басы*, средняя — *голос* и верхняя — *подголосок* (поволж.). Если песня исполняется в гетерофонной фактуре, где нет функциональной дифференциации голосов, то певцы говорят, что поют *на один голос*

(зап., блр.). На Русском Севере и в Поволжье осознается тембровое различие голосов, связанное с регистровым удвоением в гетерофонной фактуре, когда *толстыми* или *ровными* голосами исполняется нижний пласт фактуры, а *тонкими* — верхний. Нередко регистровое различие голосов обусловлено социальным статусом исполнителей: замужние женщины поют в низком регистре, а девушки — в высоком.

5. Термин *голос* используется для определения различных в историко-стадиальном плане стилей пения. Один из них — достаточно архаичный и связанный с обрядовыми жанрами — названия не имеет. Более поздний стиль пения (с верхним сольным подголоском), характерный преимущественно для лирических песен, обозначается народными исполнителями как *голосное* (блр.) или *голосовое* пение (у казаков). Но даже в рамках *голосного* пения существует стадиальная дифференциация песен: часть из них поется на *бывалошные*, *старинные голоса*, а другие — на *новые голоса*. В Брянской области тропарь Пасхи может петься на *старинный (старушечий) голос* или на *новый (советский) голос*.

6. Слово *голос* используется и для обозначения этнолокальных особенностей пения. При этом народными певцами подразумевается некое интонационное поле (термин И. И. Земцовского), характерное для определенной местности или этнической группы. В этом употреблении термин *голос* по смыслу обнаруживает сходство с понятиями «диалект» или «говор». Например: «У нас в деревне все песни на один голос». О певице из другой деревни могут сказать: «У нее свой голос, мы на её голос петь не можем». В этом отношении интересно, что слово *голос* иногда могут употреблять и в значении ‘язык’ (ср.: «И закричал домовой русским голосом»).

7. Термин *голос* имеет также значение ‘напев’ или ‘группа напевов, объединенных одной функцией’, что более всего связано с мелодикой, часто служащей жанровым дифференцирующим признаком. Например: *свадебный, жнивный, купальский голос* и т. п. Важно отметить, что в этом значении термин употребляется только по отношению к обрядовым напевам. На Русском Севере *голосянками* или *голошениями* называют плачи, а их исполнительниц — словами с тем же корнем, например, *голосёнами* [Кирюшина, 1995, 72]. В рамках жанровых групп напевы могут иметь более узкую специализацию, отражающуюся в терминологии. Так, в Поволжье известны свадебные песни на *невестин* и *женихов голос* или на *девичий* и *общий голос*. У белорусов и русских

на западе России обрядовые песни при жатве яровых хлебов поются *на ярынский голос*, а озимых — *на жнейский голос*, при уборке льна — *на льяной голос* [ППЗ, 19].

Напев-голос в народной культуре может также обозначаться по исполнителям (ср. *женский* и *мужинский голоса* по отношению к тропарю Пасхи [Енговатова, 1996, 77], *детский голос* — часто о колядках, исполняемых детьми, и т. п.), по месту исполнения (*частушки на полевой* или *полевый* [ППЗ, 117, 277] *голос*, песни — *на уличный голос* и т. п.).

8. Словесные обороты, включающие слово *голос* и имеющие терминологический статус, нередко фиксируют такие особенности напевов, как темпоритм, музыкальная форма и др. Частушки и плачи можно петь как *на длинный*, так и *на короткий голос*. На Урале подобным образом разводятся напевы лирических песен: часть из них поется *на пологий (длинный) голос*, а другие — *на крутой голос*, при этом «пологие» напевы называют *голосистыми* [Калужникова, 2005, 36]. Ср. также: «Сильна звуковые такие галасы — аржанные, а еравьи — таики крутые» [ППЗ, 125].

9. Наконец, нередко слово *голос* или его производные употребляются по отношению к некоторым конструктивным элементам музыкальных инструментов. Так, металлическая планка — источник звука у гармоники — называлась *голосовой*, игра на правой клавиатуре — *на голоса*, а на левой — *на басá* [Кирюшина, 1995, 73], дополнительная клавиша у вятских гармоник — *подголосок*. Игровые отверстия или пищик в духовых инструментах, резонаторные отверстия струнных [Назина, 1995, 56] и пастушьей барабанки носят название *голосников*. Ср. в текстах частушек: «У гармони золотые голоса» или «У балалаечки различны голоса» [Калужникова, 2005, 38]. Сам звук, производимый музыкальным инструментом, часто называют *голосом*, что, очевидно, связано с антропоморфизацией музыкальных инструментов.

В заключение отметим, что качество звучания как вокальных голосов, так и «голосов» музыкальных инструментов (преимущественно духовых) в русской традиции исполнители нередко проверяют по отраженному звуку — *подголоску* или *отголоску* [ППЗ, 122].

Гилярова Н. Н. Материалы к словарю народных терминов, связанных с категорией «звук» в традиционной музыкальной культуре // Звук в традиционной народной культуре / сост. Н. Н. Гилярова. М., 2004. С. 238–251.

Дорохова Е. А., Пашина О. А. Типологическая систематика напевов похоронных плачей // Смоленский музыкально-этнографический сборник. Т. 2 : Похоронный обряд. Плачи и поминальные стихи. М., 2003. С. 152–165.

Енговатова М. А. Пасхальный тропарь «Христос воскрес» в народной песенной традиции западных русских территорий // Фольклор и фольклористика. Экспедиционные открытия последних лет: народная музыка, словесность, обряды в записях 1970-х — 1990-х годов / сост. и отв. ред. М. А. Лобанов. СПб., 1996. С. 72–88.

Калужникова Т. И. Песенная традиция русского населения Среднего Урала. Екатеринбург, 2005.

Кирюшина Т. В. Голос в народной терминологии верхнего Поволжья // Голос и ритуал : материалы конф., май 1995 г. М., 1995. С. 72–73.

Мухамедишина Л. Традиция протяжных песен на Ангаре // Фольклор. Песенное наследие. М., 1991. С. 146–155.

Назина И. Д. О понятии «голос» в традиционной музыкально-инструментальной культуре белорусов // Голос и ритуал : материалы конф., май 1995 г. М., 1995. С. 56–59.

ППЗ — Песни Псковской земли. Вып. 1 : Календарно-обрядовые песни. Л., 1989.

Ш. Погвизд

Институт славистики Польской академии наук, Краков (Польша)
szymonns@autograf.pl

Влияние языков иранской группы на развитие обозначений абстрактных и религиозных понятий в праславянском языке

Доклад посвящен изучению связей славянской и иранской языковых групп. Будут представлены мнения лингвистов и историков по поводу времени и места контактов славян и иранцев.

Будут приведены:

1) примеры тождественных фонетических процессов в иранских и славянских языках, в частности, изменения и.-е. *s*, находящегося после *r*, *u*, *k*, *i*;

2) примеры палатализации заднеязычных согласных перед и.-е. *ě*, *ĩ*. В этом контексте существенным является наличие (либо отсутствие) параллельных процессов в балтийских языках (литов. *gývas*, праслав. **živъ*, авест. *ǰvaiti*);

3) примеры грамматических признаков, характеризующих языки обеих групп, например, некоторые формы местоимений (род. п. ед. ч. авест. *mana*, др.-перс. *manā*, др.-лит. *mane*, праслав. **mene*).

Будут представлены также иранско-славянские лексические сходжения, чуждые другим группам индоевропейской языковой семьи, и дана их характеристика. На основании историко-семантического анализа можно выделить три основные группы лексики сравниваемых языковых групп:

1) индоевропейское наследие (праслав. **sormъ* и авест. *fšarəma*);

2) прямые славянские заимствования из иранских языков (ст.-слав. *radi*, ст.-перс. *rādiy*);

3) семантические кальки (праслав. **slovo*, **bogъ*).

Кроме того, особое внимание будет уделено характеристике иранско-славянских языковых контактов в области духовной культуры и сравнению семантики некоторых лексем, засвидетельствованных в обеих языковых группах, а также соотнесению этих фактов с мифами и верованиями древних славян.

И. А. Подюков

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, Пермь
podjukov@yandex.ru

Русский народный культурный термин в коми-пермяцком языке*

Русские лексические заимствования в коми-пермяцком языке многочисленны. Коми-пермяками усвоены русские бытовые названия одежды, продуктов питания, овощей, посуды, утвари, названия

* Исследование выполнено в рамках гранта РГНФ 14-14-59005 «Коммуникативные коды в коми-пермяцкой культуре (речь, фольклор, обрядность, символосфера)».

© Подюков И. А., 2015

из сферы промышленности и транспорта, обозначения абстрактных понятий. Все это своего рода «цивилизационные» заимствования, связанные с усвоением коми-пермяками новых видов хозяйствования и ведения быта.

Особый пласт русских заимствований — лексика, связанная с культурными реалиями. Русизмы активно привлекаются для обозначения явлений из религиозной сферы (атрибутика и понятия православного богослужения и календаря), для номинации мифологических персонажей, действий обрядового характера. Освоение их не только влияет на культурную среду обитания человека, но и сказывается на расширении народного менталитета, поскольку вводит в духовную атмосферу коми-пермяцкого общества элементы, выработанные в соответствии с морально-этическими, идеологическими, религиозными традициями русских.

Иллюстрацией таких заимствований может быть терминология похоронной обрядности. Погребальная обрядность считается одним из самых консервативных компонентов в этнической культуре. Для славянской традиции, как известно, характерно древнее уподобление умирания отправлению в путь (откуда болгарское выражение *e na пъ'тя* ‘умирает’, перм. диал. *стоять на дорожке* ‘дождаться смерти’). «Физический» отъезд и уход обозначают связанный с трудностями переход в неизвестную среду, в пространство вне своей культурной традиции, что и ассоциируется с путем в иной мир. В мировых мифологиях дорога амбивалентно воспринимается и как жизнь (поиск пути), и как смерть (поиск вечного пристанища в конце этого пути). Приведенное выше выражение *стоять на дорожке*, как и многие другие обороты типа пермского же *выйти за ворота* ‘дожить до смерти’, свидетельствует о том, что путь в загробный мир и сам этот мир в народном сознании могут отождествляться.

Хотя способы перемещения в реальном пространстве у коми-пермяков имели свои особенности (в качестве дорог ими использовались реки), попадание в загробный мир и жизнь там ими также связывались с дорогой — отсюда, вероятно, коми обычай оставлять на могиле лодку или сани. Любопытно, однако, что ассоциация «дорога — смерть» в похоронных терминах коми реализуется с помощью русских заимствований из «дорожных» номинаций. Необходимость в заимствованиях в этом случае, скорее всего, мотивируется потребностью в эвфемистическом отстранении, которое задает чужое слово.

В русских говорах термином *подорожная* называют свиток с молитвой, который вкладывается в правую руку умершего (этой молитвой испрашивается отпущение грехов; восходит термин к старому обозначению специального документа на право пользования почтовыми лошадьми, проездного свидетельства); *подорожная* считается своего рода пропуском умершего в царство небесное. У коми народностей для называния этой реалии используются другие термины: *церковная бумага, прощенная грамота, с(в)ёртока*. Термин *подорожная* у коми-пермяков обозначает подаяние первому встретившемуся. Поскольку он имеет соответствие в русской диалектной речи (влад. *подорожна* в том же значении), можно говорить не о пересемантизации русского термина, а о прямом заимствовании. Важно, что в этом случае коми-пермяками «выбирается» название, наделенное не условно-символическим смыслом, а непосредственно связанное с реальностью (*подорожный* ‘находящийся при дороге’; подаяние вручают во время шествования идущему навстречу). Аналогично «материальный» смысл имеет обозначение такого же подаяния первому встречному у лузских коми — *пажун* (из рус. *паужна* ‘обед вне дома’). Производным от слова *дорога* в похоронной терминологии коми-пермяков является также сочетание *дорожные деньги* ‘деньги, принесенные при прощании с умершим для расходов на поминание’.

Термин *дорога* приобретает в коми-пермяцкой обрядности расширенный смысл. *Дорогой* называют нитки, которыми обматывают хлеб для подаяния встречному, специально сплетенную из ниток ленту, которая одним концом опускается в гроб, а другим закрепляется на кресте. В этом случае русское название оказалось перенесено на универсалию финно-угорской погребальной культуры (ср. «делание» покойному дороги на тот свет перебрасыванием через могилу ниток у коми Тюменской области, удм. *сьсюрес* ‘дорога, путь (о нитках, которые укладывали с умершим)’, мар. *порен* ‘нитки, которые укладывались поперек тела умершего’).

При перенесении ценностей одной культуры на почву другой заимствуется лишь то, что является близким собственной культуре. Обрядовая терминология позволяет детализировать представления о путях эволюции тех или иных культурных комплексов этноса; эволюция эта зачастую дополняется органичным включением в свою культуру культурных идей других народов.

Субмегате́кст как инструмент фольклорной диалектологии

Стремление проанализировать как можно большее количество фольклорных текстов для достижения максимальной объективности и доказательности приводит к необходимости искать продуктивные способы интенсификации технической работы. С помощью новых информационных технологий открываются более широкие возможности в обработке и анализе текстов, в создании, накоплении, поиске и хранении текстовой информации.

Базовым понятием при выявлении территориальной специфики является фольклорный мегатекст, ввиду того что он представляет собой совокупность текстов, объединенных по жанровому, локальному, индивидуально-исполнительскому или иному показателю. Мегатекст — реальное воплощение фольклорного диалекта, бытующего в сознании носителей фольклора, причем территория бытования весьма значительна по размерам. Чтобы решить вопрос о дифференциации языка фольклора в пределах интересующего нас пространства, целесообразно выделить в отдельное производство совокупность фольклорных текстов, зафиксированных на части территории. Эта совокупность текстов — субмегате́кст — может быть вычленена из имеющегося мегатекста и может быть подборкой иных текстов этого же жанра, не включенных в ранее созданный мегатекст.

Субмегате́кст охватывает лишь часть территории, представленной тем или иным фольклорным диалектом. Так, совокупность всех имеющихся записей курских сказок — мегатекст (сказки из сборника А. Н. Афанасьева), а подборка тимских сказок («Сказки, записанные в Тимском уезде Ф. Белкиным») — субмегате́кст. Нам представилась возможность рассмотреть лексические особенности текстов, бытовавших в уезде, на фоне сказочной традиции всей губернии. Был подготовлен тимский субмегате́кст, который затем был соотнесен с курским мегатекстом.

Наиболее заметной территориальной приметой является диалектная лексика, поэтому мы рассмотрели ее в сопоставительном плане — диалектные слова в тимском субмегатексте и в мегатексте курском.

Практически все диалектные слова, отмеченные в тимском субмегатексте, в словарях приводятся с пометами об их южнорусском происхождении. Значительная часть диалектной лексики, зафиксированной в Тимском уезде, указывает на возможность выделения тимского фольклорного говора в рамках курского диалекта.

Лексические различия курского мегатекста и тимского субмегатекста не ограничиваются исключительно диалектными словами. В субмегатексте мы видим локальную антропониимию, композиты, диминутивы.

Так, особенности употребления антропонимов проявляются как на уровне количественных характеристик, так и на уровне комбинаторики. Избирательность при включении онима в сказочный именник позволяет говорить о своеобразной региональной антропонимической картине мира. Территориальная дифференциация заметна прежде всего на фоне выбора отдельных вариантов общерусских имен, использования уменьшительно-ласкательных и особых звательных форм, включения эпитетов в состав имен собственных. Тимскую сказку отличает наличие устаревших и экзотических прозвищ наряду с общерусскими сказочными именами.

Территориальная маркированность обнаруживается также на уровне использования топонимов, особенно гидронимов и ойконимов. Столь же доказательным материалом при проведении паспортизации народно-песенного произведения выступают и микротопонимы.

Критериальным показателем диалекта служит асимметрия в формулах квантитативного сопоставления, благодаря которой возможно выделение лексических доминант. Для головных частей частотных словарей к мегатекстам характерна особая конфигурация (последовательность самых частотных слов, их ранговое место и др.), которую тоже следует учитывать при определении фольклорного диалекта (например, место лексем в частотном списке). Диалектные особенности связаны и с валентностью слов.

Различия в употреблении лексических единиц могут носить региональный и локальный характер. В разграничении мегатекста и субмегатекста просматривается перспектива углубления представлений о характере и степени территориальной дифференцированности

народной речи. Представляется, что мы имеем дело с неким аналогом дихотомии *диалект* — *говор*. Мегатекст призван определить специфику использования вербальных средств на региональном уровне, локальные же различия выявляются при анализе субмегатекста — совокупности текстов, принадлежащих части описываемой территории.

А. Л. Пустяков

Хельсинкский университет, Хельсинки (Финляндия)
esmenek@gmail.com

К вопросу о пермских топонимах в Ветлужско-Вятском междуречье

Доклад посвящен исследованию пермской топонимии на территории Ветлужско-Вятского междуречья. Основной акцент в докладе делается на изучении топонимии территории, населенной в недалеком прошлом и в настоящее время марийцами. В сопоставительном плане привлекаются также материалы сопредельных регионов.

Несмотря на то, что проблема пермского субстрата исследователями уже неоднократно освещалась, решалась она все же на примере единичных и разрозненных фактов. Проведенные за последние годы исследования топонимистов [см.: Смирнов, 2013; 2014], в том числе и наши [см.: Пустяков, 2014], позволяют утверждать, что часть предложенных ранее пермских этимологий и основанные на них выводы этногенетического порядка нельзя признать успешными. Разбор имеющейся литературы по изучению пермской топонимии Ветлужско-Вятского междуречья и анализ топонимических данных этого ареала требует постановки ряда вопросов.

1. Какова ареальная дистрибуция топонимов, возводимых к пермским языковым источникам?

2. Каковы особенности выделяемых топонимических ареалов?

3. Как в свете топонимии Ветлужско-Вятского междуречья решается вопрос об общепермской топонимии? Имеется ли в регионе общепермская топонимия, или есть только удмуртская?

Основным методическим приемом является составление перечня лексем, возможных в субстратной топонимии, и дальнейший их поиск в топонимии с учетом исторических фонетических изменений (также субституции) с опорой на выявленные надежные этимологии. Анализ субстратных названий проводится с учетом типологических особенностей марийской, коми и удмуртской топонимии. В исследовании, в принципе, применяются те же приемы, что и в работе О. В. Смирнова [2014], но с некоторыми дополнениями. Кроме этого, учитываются материалы полевой экспедиции в Уржумский и Кильмезский районы. Полевые работы, в дополнение к сбору топонимического и антропонимического материала, позволили сделать наблюдения над фонетическими и лексическими особенностями малмыжского и уржумского говоров марийского языка.

Исследование топонимических данных сделало возможным выделить ареал поздней удмуртской топонимии на юге Мари-Турекского района и далее в приграничных районах Кировской области и Республики Татарстан: удмуртское название д. Большой Карлыган — *Заны* < удм. *зон* ‘гарь, выгоревшее или выжженное место в лесу’; д. *Ули-сьял* (удм. *Чарагурт*, ср. удм. *гурт* ‘деревня’) < удм. *улысь* ‘нижний’; рч. *Ондрешка нюк* < *Ондрешка* (антропоним) и удм. *нюк* ‘лог, овраг’; д. Андрюшкино — удм. *Кос нюк* < удм. *кӧс* ‘сухой’; ур. *Чож лап* < удм. *чӧж* ‘утка’ + мар. *лап* ‘низина’ и др.

Выделяется также второй ареал топонимов, формально соотносимых с удмуртскими языковыми данными. Территория распространения этих топонимов в целом совпадает с ареалом этнотопонимов с основой *одо-* ‘удмурт; удмуртский’ на северо-востоке Марий Эл, в сопредельных районах Кировской области, а также в левобережье Вятки в Нолинском, Немском и Уржумском районах. Наиболее регулярными свидетельствами удмуртской топонимии в этом ареале выступают тополексемы *вай*, *шур* и др.: р. *Водовойка*, *Паровойка*, *Чумовая* < удм. *вай* ‘ветвь, приток’; р. *Шишурка*, *Шуранка* < удм. *шур* ‘река’; р. *Сиг*, *Сик* < удм. *сик*, *сиг* ‘подлесок, лес’ и др.

Пустьяков А. Л. К проблеме разграничения марийских и пермских топонимов в Ветлужско-Вятском междуречье // Вопр. ономастики. 2014. № 2 (17). С. 7–34.

Смирнов О. В. К вопросу о пермском топонимическом субстрате на территории Марий Эл и в бассейне среднего течения реки Вятки (в свете этнической интерпретации археологических культур). 1 // Вопр. ономастики. 2013. № 2 (15). С. 7–59.

Смирнов О. В. К вопросу о пермском топонимическом субстрате на территории Марий Эл и в бассейне среднего течения реки Вятки (в свете этнической интерпретации археологических культур). 2 // *Вопр. ономастики*. 2014. № 1 (16). С. 7–33.

Р. В. Разумов

Ярославский государственный педагогический университет, Ярославль
rvrazumov@list.ru

Типология систем урбанонимов Российской Федерации

В течение последних десятилетий в нашей стране было опубликовано множество исследований, посвященных урбанонимическим системам населенных пунктов Российской Федерации, однако большинство из них констатировало уже неоднократно отмеченные особенности. В то же время сделанные ранее частные наблюдения позволяют перейти к выявлению системных связей этого разряда онимов, закономерностей формирования и типологии городских онимических систем. Очевидно, что в несходных по статусу населенных пунктах проявляются различные закономерности построения систем городских названий.

Можно выделить несколько регулярных оппозиций, в которые вступают типы урбанонимических систем, функционирующие на территории Российской Федерации.

Во-первых, существует оппозиция моделей «столичный город — провинциальный город». В системе урбанонимов столичного города возникают онимические модели, используемые затем в провинциальных городах. Например, в топонимии Санкт-Петербурга впервые в нашей стране фиксируются как сами урбанонимы-посвящения (*Пушкинская улица*, 22.02.1882), так и генитивная модель, при помощи которой создавались подобные онимы (*улица Глинки*, 20.11.1892; *улица Жуковского*, 10.07.1902). Первые послереволюционные переименования городских объектов в провинциальных городах копировали аналогичные преобразования, произведенные в Санкт-Петербурге в 1918–1919 гг.

Другая важная особенность столичной урбанонимической системы — наличие в ней названий-посвящений, появление которых

обусловлено реализацией функции главного города страны. Так, и до-революционная петербургская, и послереволюционная московская топонимические системы содержали посвящения населенным пунктам, регионам и рекам нашей страны. Впервые подобная традиция зафиксирована в Санкт-Петербурге в декабре 1857 г., когда появились названия *Большая и Малая Московские улицы*, *Можайская улица*, *Подольская улица* и др. Реализацией «столичной» функции объясняется и создание топонимов, увековечивающих память о зарубежных лидерах, деятельность которых признавалась полезной для нашей страны. Например, в Москве во времена СССР появились такие названия, как *площадь Амилькара Кабрала*, *площадь Белы Куна*, *площадь Индиры Ганди*, *площадь Шарля де Голля* и др. Для систем урбанонимов провинциальных городов подобные топонимы были нехарактерны.

Решения о создании урбанонимов в столицах часто принимаются на федеральном уровне, нередко без учета мнения местных властей. Примером подобной номинативной политики является переименование в Москве в 2008 г. улицы в честь А. И. Солженицына.

Во-вторых, в онимических системах провинциальных городов выделяется регулярная оппозиция «большой город — малый город». Ранее мы уже неоднократно рассматривали различия между подобными системами [см., например: Разумов, 2014], поэтому здесь укажем лишь наиболее важные особенности. В больших городах более разнообразны топонимические основы, используемые при создании названий-посвящений и названий-характеристик. Например, среди меморативов в больших городах частотны урбанонимы, увековечивающие память об известных музыкантах, актерах, режиссерах, художниках, скульпторах, летчиках и военных, практически не представленные в онимических системах малых населенных пунктов. Так, в топонимии больших городов регулярно отмечаются названия *улица Чайковского*, *улица Гагарина*, *улица Чкалова*, *улица Матросова* и др. Различаются системы урбанонимов малых и больших городов и количеством эвсемантических онимов. В малых городах регулярно используется лишь топоним *Зеленая улица*, в то время как в больших населенных пунктах частотными являются топонимы *Березовая улица*, *Зеленая улица*, *Солнечная улица*, *Сосновая улица*, *Цветочная улица*.

В-третьих, выявляется оппозиция «полиэтнический город — моноэтнический город». Под полиэтническим городом мы понимаем

населенный пункт, в котором языки двух и более этносов имеют статус государственных. Основной особенностью онимических систем подобных населенных пунктов является двуязычность урбанонимии. Она реализуется в обязательном написании каждого названия на двух государственных языках: *улица Рябина* / *Рябинин урем*, *улица Советская* / *Советский урем* (Йошкар-Ола), *Кремлевская улица* / *Кремль урем* (Казань). Другая характерная особенность подобных систем — двуязычность урбанонимических основ, иногда приводящая к появлению названий-дублетов. Например, в топонимии Казани зафиксированы следующие подобные наименования: *улица Айлы* ('лунная') / *Лунная улица*, *улица Жилякле* ('ягодная') / *Ягодная улица*, *улица Миляш* ('рябиновая') / *Рябиновая улица* и др.

Знание типологических особенностей урбанонимии позволит выявить специфику онимических систем отдельных городов, показать, какие из них являются типичными для подобных населенных пунктов, а какие встречаются лишь в каком-либо частном ономастиконе.

Разумов Р. В. Типология систем урбанонимов русских провинциальных городов: *малый город / большой город* // Ономастика Поволжья : материалы XIV Международ. науч. конф. (Тверь, 10–12 сентября 2014 г.). Тверь, 2014. С. 156–159.

Т. П. Романова

Самарский государственный университет, Самара
romanovatp@mail.ru

Семантическая трансформация лексики в сфере коммерческой номинации

Коммерческие наименования должны быть «активными» в коммуникативном плане, поэтому большое значение имеет исследование средств воздействующего потенциала, при помощи которых осуществляется коммуникативный акт с адресатом рекламы. Анализируя состав современных коммерческих наименований, мы обнаружили в семантике слов, лежащих в основе таких наименований, регулярные сдвиги,

в результате которых формируется своеобразный «словарь» рекламной номинации. Его анализ и является целью нашего исследования.

Достаточно регулярно происходит редукция узувального значения исходного слова, которое «сворачивается» до актуального коммерческого содержания. При этом актуализируются семы, отражающие основные компоненты рекламной коммуникации, — субъект, объект и адресат; эксплицируются отношения между ними и добавляются оценочные коннотации. Например, «*Империя сумок*», «*Мебельград*», «*Тортландия*» характеризуют объект рекламы как ‘место неограниченного выбора товара’. Название студии красоты «*Мастер и Маргарита*» выражает отношение субъекта рекламы к адресату; «*Маленький принц*» сообщает об ассортименте товаров для детей; название ТЦ «*Вавилон*» обозначает многообразие товаров со всего мира. Прецедентные имена в коммерческой номинации часто изменяют значение.

Некоторые семантические трансформации носят регулярный характер и проявляются в больших группах однотипных номинаций. В порядке постановки проблемы рассмотрим одну из основных линий развития коммерческой семантики, связанную с реализацией концептов «большой» — «маленький», при помощи которых объект рекламы получает качественно-количественную характеристику, значимую для адресата (молл «*Космопорт*» — детсад «*Космодромик*»).

Наибольшее разнообразие способов изменения семантики обнаруживается в группе названий, обозначающих объект рекламы как ‘большой, солидный, респектабельный, предоставляющий адресату неограниченный выбор товара’: «*МегаСити*», «*Гранд-Авто*», «*Супер-Климат*», «*Амбар*». Одним из наиболее востребованных средств выражения этого концепта являются приставки *мега-*, *супер-*, *гипер-*, *гранд-*, узувальное значение которых редуцируется до абстрактного ‘очень большой’. Приставки входят в состав видовых обозначений (где семантика разнится: *супермаркет* «Лента», *гипермаркет* «О’КЕЙ», *мегамаркет* «Мармелад») и собственных имен (где они фактически синонимичны: «*Гипер*», «*Гранд*», «*Мега*», «*Super Газ*», «*ГиперСити*», «*Мегамолл*»). Названия магазинов одежды больших размеров «*Гранд Персона*» и «*Гранд Мадам*» характеризуют параметры адресата, добавляя при этом комплимент (‘высокое социальное положение’). Иноязычные корни *макси-*, *макро-*, *биг-* также востребованы для выражения значения ‘очень большой’: «*Макси*»,

«Макро», «Максимум», «Максим», «Maxsimilians», «Макрос-Молл», «Биг маркет», «Big City».

Антонимичные приставки *мини-*, *микро-*, *нано-* выражают семантику 'очень маленький'. Они используются в рекламной номинации как символ небольшого уютного пространства, доступности объекта рекламы адресату: *мини*маркет «Солнечный», «Mini», «Mini-Мода», «Mini Finn»; «Микро-Бикини.ру», «Микро Капитал Россия»; «Nano», «Tata Nano», «Нано-такси», «Нано банк».

Значение «минимализма» часто выражается также при помощи уменьшительно-ласкательных суффиксов: *ресторанчик* «Горница», «Ресторанчик», «Чердачок», «Теремок», «Хуторок». Суффиксальные образования могут обозначать низкую цену товаров: «Копеечка», «Пятерочка», «Покупочка», «Вмятинка». Использование таких суффиксов также характерно для названий детских дошкольных учреждений: «Гнёздышко», «Сказочный домик», «Чудо-садик», «Мамин садик», «Зеленая рощица», «Островок фантазий», «Наш островок». Сразу три компонента включает номинация *мини-садик* «Виноградик».

Широко используются метафорический и символический способы выражения концептов «большой» — «маленький». Символами крупномасштабных объектов выступают прежде всего видовые обозначения больших торговых и иных помещений, построек, поселений, территорий. Они выполняют функцию стержневых слов, которые нередко сопровождаются различными дополнениями: «Торговый дом», «Планета Дом», «Премиум Холл», «Сити Молл», «Центрум», «Галерея Енисей», «Фабрика обуви», «Гостиный двор», «Hoff», «ЕвроПарк», «Торговый квартал», «Модный Променад», «Торговый проспект», «Французский бульвар», «Красная площадь», «Взлетка Плаза», «Модный стадион», «Арена», «Манеж», «BaZaR», «Город», «Эльград», «Глобал Сити», «Меганполис», «Зеленая страна», «Вива Лэнд», «Континент», «Созвездие развлечений», «Галактика плитки», «Электронный рай», «Мир», «Love Republic», «Империя», «МореМолл». Символы «уменьшительности» — «Гном», «Колибри», «Светлячок», «Божья коровка», «Маленькая страна» — востребованы главным образом в сфере номинации демократичных и детских объектов рекламирования.

И. И. Русинова

Пермский государственный национальный исследовательский университет,
Пермь
irusinova@mail.ru

Названия колдуна на карте Пермского края

В докладе представлена лексическая карта «Колдун», составленная на материале русских мифологических рассказов и говором Пермского края. На данной карте нашли отражение лексические единицы, называющие человека со сверхъестественными свойствами. Этот мифологический персонаж обладает эзотерическими знаниями, магическими способностями (например, способностью к оборотничеству) и причиняет вред людям и животным.

В мифологических рассказах и говорах Пермского края используется несколько корней для обозначения такого персонажа: *-бес-*, *-вед-*, *-векиш-*, *-вещ-/вещт-*, *-волх-/волиш-*, *-вред-*, *-ерек-/ерет-*, *-зна-*, *-икот-*, *-кил-*, *-колд-/холд-*, *-мухл-*, *-порт-*, *-хит-*, *-чар-*, *-черн-*, *-черт-*, *-шепт-* и др. От них по разным моделям образуются однословные и неоднословные единицы.

Несколько десятков единиц не попали в перечень слов для картографирования. Во-первых, это слова, обозначающие две группы «знающих»: профессионалов (*коновал, кузнец, лесник, мельник, пастух, печник, строитель*), а также этнически и конфессионально чужих (*пермяк, пермянка, татарка, немка, хохлушка, чудь, цыган, кержак*). Эти слова действительно называют людей, которые в русской крестьянской общине воспринимаются как обладающие магическими знаниями и умениями. Но общее количество таких единиц для картографирования мало, и они в строгом смысле не являются терминами. Во-вторых, не получили отражения на карте единичные фиксации: *бормотушка, враг, истошник, истошница, каляка, михня, присушник, портун, чародей, шиишига* и др.

Географическое распределение остальных единиц следующее. Слова с корнями *-вед-*, *-ерет-/ерек-*, *-зна-*, *-колд-/холд-* не образуют ареалов, они фиксируются почти во всех районах Пермского края.

Наибольший интерес представляет географическая привязка названий колдуна, образованных от корней *-бес-*, *-черт-*, *-векиш-*, *-вещ-/вещт-*, *-кил-*, *-икот-*.

Единицы с корнем *-бес-* (*бес, бесист, бесистый, бесистая, бесастый* и др.) распространены исключительно в Чердынском районе Пермского края; даже в соседнем, Красновишерском, они не зафиксированы. Названия колдуна, образованные от корня *-черт-*, отмечаются тоже в северо-восточном ареале (большая часть единиц встречается в Чердынском районе, меньшая — в Красновишерском). На карте виден еще один небольшой ареал для таких единиц — южный. Но словообразовательные модели для однокоренных названий, используемые на юге и севере, разные. В северном регионе работает модель «корень + суффикс *-ист-*» (*чертист, чертистый, чертистая, черчист, чертистка*), как и для единиц с корнем *-бес-*, а в южных районах (такие названия фиксируются только в Бардымском и Куединском районах) используется другая модель: «корень *-черт-* + корень *-зна-*» (*чертознай, чертызнай*).

Следует отметить, что проанализированные названия обозначают не просто человека, который может причинить вред своей магической деятельностью, а такого, который имеет в услужении злых духов-помощников. Эти духи в пермских мифологических рассказах (как и на Русском Севере) называются чаще словами *бесы, беси, биси, черти, чертёнки*. Таким образом, в приведенных выше номинациях колдуна отражен мотив связи колдуна с этими злыми духами. Данный мотив распространен прежде всего на северо-востоке края. Представлен он и в южных районах, например в Куединском. Эта связь двух частей Пермского края как в сюжетном, так и в лексическом плане определяется историей заселения края русскими: некоторые деревни Куединского района основаны выходцами из северных уездов бывшей Пермской губернии.

Лексические единицы с корнями *-векиш-*, *-веш-/вешт-* образуют южный ареал: они встречаются преимущественно в Куединском, Чайковском, Осинском, Еловском, Чернушинском, Бардымском, Ординском и Суксунском районах края. Это слова *векиша, векишица, веишица, вештица, вешелица*. Женский персонаж с таким именем имеет специфический набор сверхъестественных свойств и функций: наличие волшебной мази, которая позволяет перемещаться по воздуху на метле или ухвате; покидание дома через печную трубу; обращение в животных и предметы, преимущественно в сороку или свинью; причинение вреда беременным женщинам и самкам животных (извлечение плода и подмена

его бытовыми предметами); поедание младенцев; причинение вреда мужчинам в репродуктивном возрасте (повреждение их гениталий).

Название *вещица* единично фиксируется и на пермском севере — в Чердынском и Красновишерском районах. Северная вещица тоже осознается как исключительно вредоносный персонаж, она тоже обращивается сорокой, но, в отличие от южноприкамской, не уничтожает детей и не вредит мужчинам.

Еще один — северо-западный — ареал образуют единицы с корнем *-икот-*: *икота*, *икотка*, *икотник*. Этот ареал составляют в основном русские говоры Юрлинского района. Именно на этой территории (и, естественно, на комиговорящих территориях Коми-Пермяцкого округа) не просто распространены, а являют живую традицию представления об икоте. Словами *икот*, *икота*, *икотка* называется преимущественно женская болезнь, выражающаяся в приступах, во время которых больные издают звуки, характерные для животных и птиц, икают, кричат, поют, плачут, смеются, сквернословят, говорят не от своего лица. Этими же единицами называют злого духа, вселенного колдуном в больного человека и вызывающего такую болезнь. Однокоренными словами номинируется и колдун, способный вызвать икоту.

В основном в юго-западной части Пермского края распространены названия колдуна, образованные от корня *-кил-*. В пермских говорах слово *кила* имеет несколько значений. Основное из них — ‘болезненный нарост, грыжа, нарыв’. Считается, что часто такие болезни вызываются колдовством. Именно поэтому колдуна могут называть *кил*, *килун*, *киловяз*. Точечно такие названия представлены и в других районах края.

Выделяются следующие закономерности географического распределения лексем, называющих колдуна в русских говорах и мифологических рассказах Пермского края. Единицы, возникшие от общерусских корней и называющие такого человека в литературном языке, не образуют ареалов (это слова с корнями *-вед-*, *-зна-*, *-колд-*). Не дают ареалов и слова с корнями *-ерек-*/*-ерет-*. По данным «Словаря русских народных говоров», они в значении ‘колдун’ используются в широкой диалектной зоне: на Русском Севере, в Поволжье, Предуралье, на Урале, в Сибири. Ареалы на территории края образуют прежде всего такие единицы, которые не имеют соответствий в литературном языке.

Ономасиология? Мотивация? Семантика? Идеография? О классификациях имен собственных

Классификации собственных имен составляют общее место большинства работ по ономастике. Чаще всего это ономасиологическая классификация, в которой устанавливается номинативный признак объекта (его размер, форма, цветовая характеристика, принадлежность и т. п.), легший в основу номинации. Такая отнесенность носит весьма гипотетический характер: выбор признака для онима субъективен, к тому же сам номинатор далеко не всегда осознает в полной мере номинативный мотив — название рождается спонтанно, мотивированное комплексным впечатлением о реалии. Особенно часто это происходит при образной номинации. Конечно, правильность определения номинативного признака может подтверждаться показаниями информантов, номинаторов и знаниями об объекте, доступными исследователю, но и это не истина в последней инстанции — возможны не одна, а две и более версий, каждая из которых в конечном счете рискует оказаться народно-этимологической.

С ономасиологической перекликается другая классификация — мотивационная, когда исследователь выявляет существующие в сознании носителей языка связи между именем собственным и апеллятивом или другим онимом. Мотивационные классификации собственных имен крайне редки, но пример такой работы с апеллятивами в полной мере представлен в мотивационном словаре, подготовленном томскими мотивологами [МССГ], где помимо семантических мотиваторов выявляются еще и структурные. Такая классификация требует тщательной работы с информантами, фиксации употребления онима в тексте и поэтому возможна только для материалов, собранных в полевых условиях. Нужно заметить, что именно такими возможностями собиратели, как правило, пренебрегают, не делая текстовых записей при сборе собственных имен.

В работах ономатологов нередко возникает термин «семантическая классификация» [см., например, Березович, 1998, 2001 и др.]. Отсылая нас к семантике имени собственного, авторы выявляют отраженную в ониме информацию об объекте. В принципе, это та же ономаσιологическая классификация, в которой акцент смещен с выявления исходного номинативного признака на установление информативной стороны названия. Так, отантропонимические названия полей и других угодий указывают на владельца (теперешнего или прежнего), а образованные фактически по той же модели названия омутов, как правило, связаны с информацией о человеке, в этом омуте утонувшем; в антропонимии фамилия *Богдановы* указывает на незаконнорожденность пращура, а оттопонимические прозвища говорят о том, что их носят члены семей переселенцев. Подобная семантическая классификация не может возникнуть на чисто языковых основаниях — ее параметры выводятся из большого объема общекультурной информации, из показаний носителей языка. В конечном счете это тоже интерпретационная процедура, несущая на себе яркий оттенок субъективности. Не случайно такой подход в ономастике реализуется обычно на этюдном уровне — авторы обращаются к конкретным группам имен собственных, не ставя задачей представить исчерпывающую классификацию материала.

Таким образом, перечисленные классификации, рассматривая имена собственные с разных сторон, сходятся в одном: они отражают не объективную сторону рассматриваемого языкового материала, а мнение о нем.

Возможно ли объективное основание классификации? Им может быть только одно — опора на связь онима с производящим апеллятивом (реже — онимом). В отличие от мотивационной, данная классификация абстрагируется от вопроса о причинах такой связи. Апеллятивы, обозначающие одно или сходные понятия, объединяются в единую идеограмму, поэтому такую классификацию уместно назвать идеографической, хотя такой термин не вполне корректен для классификации собственных имен, как известно, не имеющих понятийного компонента в своем значении. Указанный подход находит отражение в целом ряде работ (из последних см.: [Васильева, 2008; Гейн, 2014]). На первый взгляд, классификация выглядит формальной, однако именно объединяя онимы в группы по указанному основанию, мы получаем исходный

материал для всех остальных интерпретационных классификаций и для этимологического анализа субстратного ономастического материала.

Березович Е. Л. Семантическая типология русских топонимов: проблемы, возможности, перспективы // Ономастика и диалектная лексика. Вып. 2. Екатеринбург, 1998. С. 129–148.

Березович Е. Л. К построению комплексной модели топонимической семантики // Изв. Урал. гос. ун-та. 2001. № 20. С. 5–13.

Васильева С. П. Идеографический словарь топонимов Приенисейской Сибири. Красноярск, 2008.

Гейн К. А. О некоторых проблемах идеографического описания топонимического материала // Вопр. ономастики. 2014. № 2 (17). С. 69–77.

МССГ — Мотивационный словарь сибирского говора : в 2 т. / авт.-сост. О. И. Блинова, С. В. Сыпченко. Томск, 2009–2010.

Я. Саарикиви

Хельсинкский университет, Хельсинки (Финляндия)
jsaariki@mappi.helsinki.fi

К вопросу о «саамском» субстрате в топонимии Русского Севера

В докладе рассматриваются проблемы, связанные с идентификацией саамского пласта топонимов на Русском Севере, а именно в Архангельской области.

«Саамский» вопрос имеет длительную историю изучения: ему посвящены работы А. К. Матвеева, И. И. Муллонен, Н. В. Кабининой и самого докладчика. Названные исследователи считают, что, кроме прибалтийско-финского пласта топонимов, широко распространенных в границах бытования современных севернорусских диалектов, в топонимии этих обрусевших регионов, особенно бассейна р. Северная Двина, встречаются также и финно-угорские по происхождению названия, сохранившие архаические фонетические черты (например, встречается *š* на месте *c < *š*, или же наблюдается качество гласных, отличающееся от вокализма собственно прибалтийско-финских

языков). Во многих исследованиях такие топонимы квалифицируются как «саамские», однако проблема состоит в том, что в них не отражены дифференцирующие географические лексемы современных саамских языков — такие, как *geađgi* ‘камень’, *njárga* ‘мыс’, *roavvi* ‘каменная или горелая земля’, *suollu* ‘остров’, *vuovdi* ‘лес’ и т. д.

Вопрос о лингвистической идентификации таких названий рассматривается в докладе с учетом лексических, фонетических и семантико-типологических свойств саамских топонимов, а также с опорой на результаты нового исследования по саамской топонимии Т. Валтонен [Valtonen, 2014]. Нами будет показано, что топонимия российского Северо-Запада (кроме некоторых западных регионов) не может содержать саамский субстрат, если при определении саамских языков принимать во внимание лексические признаки современной саамской топонимии.

По мнению автора, более вероятно, что многие топонимы, квалифицируемые пока как «саамские», возникли в языках, которые были фонологически близки к саамским. В этом нет ничего удивительного, поскольку, с точки зрения финно-угорской исторической фонологии, саамские языки довольно архаичны и во многих отношениях представляют раннюю ступень развития финно-угорских языков.

Valtonen T. Mielen laaksot. Neljän saamen kielen paikannimien rakenne, sanasto ja rinnakkaisnimet vähemmistö-enemmistö-suhteiden kuvastajina = Mielen vuemieh = Miela vuomit = Mielä vyemeh = Miöl vue'm. Helsinki, 2014.

Коми-Пермяцкий застольный этикет (на материале этикетных формул гостевания)*

Коллективная трапеза связана по происхождению с ритуалами жертвоприношения и плодородия и, в отличие от повседневного употребления пищи, является культурным ритуалом, семиотически нагруженным и ценностно ориентированным. В ходе застольной коммуникации возникает особая атмосфера, в которой воплощаются такие ценности этноса, как процветание рода, цельность и счастье семьи, богатство, здоровье и долголетие.

Ритуальное действие и текст застолья состоят из ряда сменяющих друг друга событий. Немалую роль в создании этого текста играют застольные этикетные формулы — короткие высказывания, часто стилистически обработанные, т. е. наделенные особым ритмом, рифмой, звукописью: *Пуксьы да ваксьы* («Садись да смейся» — формула-приглашение к застолью), *Тырмас, натътö, юнытö / Колö к жинке муннытö* («Хватить (диалектная черта) пить, наверное / Надо домой к жене идти» — выражение, которое говорится перед уходом гостя).

Формулы чаще всего встречаются в таких ситуациях, как приглашение к застолью, угощение, прощание. Как и в русском речевом этикете, момент приветствия гостей и хозяев связан с благопожеланиями типа *Нянь-сов тiянь гортлö* («Хлеб-соль этому дому»; считается также, что хлебом и солью отворачивается всякое зло). Синонимичным приведенному выражению является приветствие-пожелание *Ырöш да нянь!* («Квас да хлеб»; встречается уже достаточно редко), где хлеб и *ырöш* (традиционный для коми-пермяков сытный овсяный белый квас) символизируют достаток.

В ритуале угощения гостей специфична традиция, когда пришедшие гости выпивают первую рюмку и после этого кладут на дно ее монетки или бумажные купюры; хозяйка берет их с обязательными

* Работа выполнена в рамках проекта РГНФ № 14-14-59005 «Коммуникативные коды в коми-пермяцкой культуре (речь, фольклор, обрядность, симвоносфера)».

© Свалова Е. Н., 2015

словами *Ой оз ков, оз ков* («Ой не надо, не надо»). Своеобразны про-износимые во время застолья тосты. Поскольку гости собирались не только по праздникам, но и после совместного труда, поводом для выпивания становилась проделанная работа. Например, после общего высаживания картошки говорилось *Ась картошкаыс каб кодь быдмэ!* («Пусть картошка очень крупная вырастет»). На застолье по поводу отелившейся коровы говорят: *Менам талун мёсö йöвясліс — дак юам жö пыдöсöдз, мед куканьыс юисёвöй вöлі!* («У меня сегодня корова отелилась — так выпьем же до дна, чтоб телёнок хорошо пил!»). При завершении застолья как намек на необходимость «откланяться» может употребляться выражение *Мыйкö лабичсö кузьö сьöрам босьті* («Что-то лавку с собой длинную взяла» — говорит тот, кто засиделся в гостях). Смысл шутливое извинения раскрывает обыкновение использовать при необходимости так называемую *долгую (бабью)* лавку для сна.

Как отмечают исследователи культуры застолья (А. К. Байбурин, А. Л. Топорков), в русской традиции гостеприимство приобрело своеобразные христианизированные формы. По нашим наблюдениям, одной из наиболее заметных черт коми-пермяцкого застолья является включение в него обереговых форм, призванных нейтрализовать ощущение тревоги и опасности от контакта с посторонними. Православная составляющая праздника в коми-пермяцкой традиции ослаблена и связана прежде всего с молением перед трапезой, троекратным прекре-щиванием после нее; макаронизированное напутствие *Мунö басвесьöн* («Идите благословясь») использовалось при прощании.

Магический смысл имеет обыкновение гостя соглашаться выпить только после троекратного предложения: — *Ю* («Пей»). — *Да ог* («Да нет»). — *Ю* («Пей»). — *Да ог мыся* («Да не буду»). — *Да ю жö* («Да пей же»). — *Да лано инö юа* («Да ладно, выпью»). Тройные повторы (слов, действий) направлены на извлечение символических смыслов сакрального числа «три»; утроение в этом случае выступает как знак нейтрализации негативных последствий угощения. Обереговый смысл имеет предложение начать угощение из общего блюда: *Но мый, дона гöссез, ректыштам перво öтік дозокöн!* («Ну что, дорогие гости, покушаем сначала из одной тарелочки!»); предложить в гостях кому-нибудь поесть из отдельной посуды расценивается как оскорбление. Слова хозяйки гостю, который стесняется отведать угощение: *Ог смилит* («Не приворожу»), *Нем ог кер* («Ничего не наколдовано») — указывают

на распространенный способ передачи порчи с пищей. Особенно выделен финал застолья: выходя из-за стола, когда все еще сидят, извиняются: *Съѣрѣм ог нѣбѣт* («За собой не унесу»; ср. используемое в русской традиции замечание выходящему из-за стола не вовремя: *Стол ломаешь*). Если кто-то из гостей уходит раньше, обязательно поднимают край скатерти, прикрывая им стол с угощениями. В этом случае скатерть (известный символ благополучия) используется как магическая защита праздничного угощения.

И. А. Седакова

Институт славяноведения РАН, Москва
irina.a.sedakova@gmail.com

Имя и имена у болгар: специфика болгарского антропонимикона в сравнении с русским*

В докладе объектом исследования служит преимущественно болгарский материал, при этом «наблюдателем» выбран носитель русского языка и, соответственно, основой для сравнения служит система русских имен. Болгарские имена собственные — одно из самых сильных лингвокультурных впечатлений, которое остается у русских после первых опытов коммуникации с болгарами, а также при знакомстве с именами деятелей болгарской культуры, истории, политики и науки. Точно так же, как русский и болгарский языки и схожи (как славянские), и различны (во многом благодаря «балканскости» болгарского), антропонимиконы русских и болгар демонстрируют общее и уникальное. Анализ болгарского имени выявляет, с одной стороны, его большую (в сравнении с русским) индивидуализацию, с другой — родовую повторяемость и архаическую традиционность. При этом наблюдается почти абсолютная немаркированность л ю б о г о имени в болгарском обществе. Особый социокультурный статус имени у болгар, в отличие

* Работа выполнена в рамках проекта РГНФ № 14-04-00546а «Лингвокультурная ситуация в России и Болгарии и трансформация русско-болгарских языковых взаимоотношений: XXI век».

© Седакова И. А., 2015

от русских, проявляется в повышенном интересе к антропониму и в бесконечных попытках его этимологизации, в значительном количестве нарративов об истории имянаречения, о роли имени в судьбе, о сходстве характеров тезок и др. Имя — столь частая тема в любом болгарском дискурсе, что материал по ней пополняется постоянно, и наш доклад базируется на самых последних данных, собранных из анкет, СМИ и Интернета.

Понять болгарскую специфику имени можно лишь при тщательном изучении болгарских имен как системы. За внешним сходством болгарской и русской полных именных формул стоят существенные различия. Имена у болгар всегда даются только в таком порядке: имя, отчество, фамилия, — тогда как у русских нередко бытует канцелярское «фамилия, имя, отчество». По форме трехчленные структуры сходны, иногда (при одинаковых в двух языках именах) практически совпадают: болг. *Михаил Петров Георгиев* — рус. *Михаил Петрович Георгиев*; болг. *Мария Василева Иванова* — рус. *Мария Васильевна Иванова*. Меньшая, по сравнению с русским, значимость фамилии и отчества у болгар ведет к усилению смысловой и прагматической нагрузки имени нареченного, вариативность которого очень велика. В отличие от России, в Болгарии списки класса, участников конгрессов и т. д. нередко составляются в алфавитном порядке по именам, а не по фамилиям.

Болгарский и русский антропонимиконы значительно расходятся как в количественном, так и в качественном отношении. Отметим здесь «балканскость» болгарского имени, его абсолютную переводимость, равноправие заимствования и аналога (*Петър* — *Камен*, *Анастасия* — *Възкресия*). Идентичные имена звучат в двух языках по-разному (*Федор* — *Тодор*), соответственно, различаются и их гипокористики. Кроме того, у болгар популярны имена их исторических деятелей (*Асен*, *Крум*) и святых (*Златка*); при этом круг особо почитаемых святых различается даже в пределах Болгарии (на юге страны более популярными являются греческие имена).

Любой вариант имени у болгар считается самостоятельным и может выступать в качестве официального, занесенного в паспорт и являющегося крестильным: *Елена*, *Еленка*, *Ленчо*, *Ели* и др. (При этом в церковном праздновании именин эти имена-варианты, включая их переводные эквиваленты, объединяются на разных основаниях в огромные гнезда, о чем подробнее будет говориться в докладе.) Практически

у всех болгарских личных имен есть пара по роду (мужское — женское имя), ср. *Красимир* — *Красимира*, *Незабравка* — *Незабравко*, у русских же таких пар в активе немного. Отличается болгарский антропонимикон и наличием множества имен, образованных от апеллятивов и имеющих прозрачную внутреннюю форму (это отражает стремление родителей через имя передать определенные качества ребенку, ср. *Храбри*, *Свежа* и мн. др.).

Отметим еще одно явление, нетипичное для русских, но очень распространенное у болгар, — имятворчество. Известный болгарский ономаст Й. Заимов писал: «Болгарские имена собственные демонстрируют живое и творческое отношение болгар к их форме и значению» [Заимов, 1994, 7]. Отчасти это обусловлено традиционными правилами выбора имени: наряду с другими стратегиями (выбор имени крестными, следование праздничному календарю, моделирование качеств ребенка и пр.), для болгар типично «подновление» имени деда или бабушки. Это правило соблюдается в наши дни весьма условно, со значительными трансформациями, вплоть до сохранения лишь одной буквы (болг. *буквуване*: *Десислава* в честь деда *Димитра*). Иногда имена родных комбинируются, и так создается новый антропоним (*Илана* = *Илия* + *Андрей*).

Таким образом, по разным причинам болгарский именник — открытая, постоянно пополняющаяся система, в которой каждому имени придается особое значение, а за его выбором (созданием) стоит нарратив.

Если носители других лингвокультур не знакомы с особенностями болгарского имянаречения, со спецификой статуса имени в обществе, а также с семантикой словообразовательных элементов, с традициями в обращении, возникают коммуникативные неудачи, типология которых будет приведена в докладе.

Заимов Й. Български именник. София, 1994.

Образы высшего духовенства в славянских языковых традициях

В докладе анализируются семантические дериваты на основе наименований православных и католических высших чинов священства в русском, украинском, белорусском и польском языках и их диалектах, а также фразеология и паремиология с участием этих наименований. В качестве базовых лексем выступают рус. *архимандрит* ‘высшее звание священника-монаха’, *архиерей*, укр. *архієрей*, белорус. *архірэі* ‘общее название священнослужителей высшей степени христианской церковной иерархии’, рус. *митрополит* ‘второй (после патриарха) духовный сан; глава епархии’, *патриарх* ‘высший титул главы православной церкви’, польск. *kanonik* ‘высшая ступень светского католического духовенства’, *pralat* ‘высшая церковная должность в католической церкви’, польск. *biskup*, укр. диал. *біскуп* ‘сановник, заведующий епархиями, епископ’, польск. *kardynal* ‘священнослужитель, занимающий высшую после Папы Римского должность в костеле’, польск. *eminencja*, укр. *еміненція* ‘титул кардиналов’, польск. *papież*, укр. диал. *pániiu* ‘глава римско-католической церкви, Папа Римский’.

В устойчивых сочетаниях с участием наименований всех представителей высшего духовенства встречаются указания на их высокий социальный статус, значимость (блр. слущк. *услугóуаць бы архірэя* ‘про деликатное, старательное обслуживание какого-нибудь важного человека’) и влияние (рус. «Полюбовного договора и патриарх не отнимет», польск. *na biskupich nogach chodzą* <на епископских ногах ходят> ‘имеют поддержку влиятельных людей’, *gadał z papieżem* <болтал с Папой Римским> ‘гордый, важный’, рус. литер. *серый кардинал*, польск. *szara eminencja* ‘человек, втайне кем-л. руководящий’). Проявленное в рус. диал. *лесной архимандрит* ‘медведь’ (ср. «В лесу и медведь архимандрит») сближение архимандрита и медведя основано на представлениях об их «важности» и «сановитости» [см. об этом: Дубровина, 2005, 200].

Представления о высоком положении кардинала нашли своеобразное преломление в обозначениях продуктов высокого качества (польск. *kardynałka* ‘сорт больших сладких груш’, ‘сорт больших сладких слив’), а также в названиях некоторых блюд, признаваемых вкусными и изысканными (*jabłka kardynalskie* ‘яблоки, запеченные в тесте’, *kardynał* ‘напиток из вина с апельсинами, ананасами, сахаром, пряностями, крүшон’).

В русском языке отмечается также богатство высшего священнослужителя, ср. влг. *митропóлки* ‘сани с обшитыми железом полозьями, изготовленные не кустарным способом’.

Социальный статус высших церковных чинов в польской языковой традиции определяется через сопоставление их со священнослужителями низшего уровня — ксендзом (кашуб. «Z ksaża biva biskup» <Из ксендза бывает епископ>), пресвитером (кашуб. «Kęj biskup ma pŕějajac, tej probosc noęi męje» <Когда епископ должен приехать, то пробст ноги моет>), — а также между собой («Łatwo być temu biskupom, kto ma wuja papieżem» <Легко быть епископом тому, у кого дядя Папа>, «Łatwo zostać kardynałem, kto ma stryja (wuja) papieżem» <Легко стать кардиналом, у кого дядя Папа>).

Образцом праведности и воплощением католической веры представляется Папа Римский: польск. «Bardziej katolicki niż sam papież» <Более католический, чем сам Папа>; ср. также закарпатск. *nániu* ‘католик’.

Высшее духовенство должно следовать этическим нормам, но в особых случаях оно от них отступает: «Голодный, и архимандрит украдет», «Голодный, и патриарх хлеба украдет». Несоответствие слов и поведения нашло отражение в образе польского прелата: «Pralacie, żyj tak, jak uczysz, niech lud przykład bierze» <Прелат, живи так, как учишь, пусть народ пример берет>, «Uczycie, panie pralacie, a sami źle działacie» <Учите, паны прелаты, а сами плохо делаете>. Частным случаем отступления от праведного поведения является нарушение обета безбрачия: польск. *żyję jak kanonik* ‘распутно’. Языковая номинация и паремнология «замечает» детей (и иных родственников) черного духовенства, появившихся вследствие нарушения этого обета: *kardynalczyk* ‘шутл. сын кардинала’: «Ożenił się równy z równą: kardynalczyk z opatuwną» <Поженились равный с равной: сын кардинала с аббатовой>, рус. «Я не архиерейский зять, с меня нечего взять».

В ироничной паремии «Biskup, który jest milczący, jest jako wrotny siedzący» <Епископ молчаливый, как привратник сидящий> от «противного» утверждается такая особенность поведения епископа, как многословие.

Отражен в языке и внешний вид высших священнослужителей. Внимание уделяется их одежде: фасону (польск. *kardynałka* ‘часть женского костюма’) и цвету (польск. *biskupiński*, укр. львов. *біскупський* ‘темно-фиолетовый’, кашуб. *biskupje nogawice* ‘фиолетовые носки’, польск. *purpurat* ‘кардинал’, *kardynał* ‘растение губастик красный’), головному убору (рус. дон. *архиерейская шапка*, *архиерёва голова* ‘растение, вид кактуса’, влг. *памри́рх* ‘рогоз’, польск. *otrzymać kapelusz kardynalski* <получить кардинальскую шляпу> ‘стать кардиналом’). В портрете архиерея также присутствует образ калош (рус. карел. *с архиерейскими кало́шами рядом* ‘о часах, которые неточно ходят’). Здесь, по-видимому, отражено представление о неторопливой походке престарелого архиерея, которая ассоциируется с ходом отстающих часов [Тихомирова, 2013, 74]. Еще одной чертой облика архиерея становится борода: рус. урал. *архиерейская метла* ‘вейник незамеченный, *Calamagrostis neglecta*’ («Архерейска метла, наверно, что груба дак, да ишшо на бороду похожа»), укр. харк. *архієрейська мітла*, *архієрейське помело* ‘полынь однолетняя, *Artemisia annua* L.’. Последние факты могут быть мотивированы также внешним подобием растения священническому кропилю.

Дубровина С. Ю. Христианская лексика в русском диалектном «изводе». Тамбов, 2005.

Тихомирова А. В. Ассоциативно-деривационная и фразеологическая семантика наименований одежды в русской языковой традиции : дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2013.

Об этногенезе марийцев по данным системного анализа топонимии: заблуждения и реальность

Проблема этногенеза марийцев, к сожалению, оказалась тем вопросом, в решение которого топонимисты за последние полвека внесли больше путаницы, чем разъяснений. В своем сообщении я остановлюсь на двух наиболее стойких заблуждениях, которые последние десятилетия кочуют по разным работам лингвистов и историков, подчас приобретая характер аксиомы и порождая дальнейшие неправильные выводы.

Первым заблуждением стала довольно старая теория, подразумевающая, что на территории современной Марий Эл до прихода сюда марийцев жили пермские племена (предки современных удмуртов). Эта теория, в частности, получила свое развитие в трудах известного удмуртского археолога Р. Д. Голдиной, которая ставит знак равенства между ананьинской культурно-исторической общностью и прапермянами, а следовательно, между средневековыми потомками ананьинцев в междуречье Ветлуги и Вятки и предками удмуртов. Благодаря своей стройности и простоте указанная археологическая концепция этногенеза пермских народов была привлечена исследователями удмуртской и марийской топонимии (М. Г. Атамановым, И. С. Галкиным и др.) для обоснования их этимологических построений. Она оказалась весьма удобной, чтобы все внешне сходные с пермскими лексемами топонимы (и части топонимов) в Марий Эл трактовать как пермский субстрат. В этих условиях уважаемые топонимисты стали пренебрегать лингвистической строгостью этимологий, поскольку можно сослаться на авторитет смежной науки. В свою очередь, археологи привлекают обнаруженные «пермские топонимы» на территории Марий Эл для аргументации археологических концепций. Так взаимное некритическое использование научных гипотез представителями разных наук породило миф, который в качестве исходного посыла переходит из работы в работу.

В последнее время многие «пермские» этимологии марийских топонимов были подвергнуты критике [Пустяков, 2014; Смирнов, 2013], а наличие автохтонного пермского топонимического пласта на территории Марий Эл в результате проведенного системного исследования топонимии Ветлуги и Вятки поставлено под сомнение. Представляется, что основной массив домарийского топонимического субстрата на территории Марий Эл был оставлен не пермским языком, а диалектом, близкородственным волжско-финским языкам (марийскому и мордовскому) [Смирнов, 2013; 2014а; 2014б].

Второй распространенной гипотезой, непосредственно связанной с первой, является версия о миграции марийцев на территорию их современного расселения с запада, из районов Костромской области и бассейна Оки. Это представление исторически основано на сведениях «Повести временных лет», где черемисы упоминаются рядом с мордвой среди народов, живущих на реке Оке при впадении ее в Волгу. Оно же отвечает упрощенной схеме, что волжские финны (мордва и марийцы) — потомки городецкой археологической культуры, а пермяне — синхронной ей ананьинской. В силу простоты такой этногенетической конструкции она широко популярна. Подробное изложение теории об «окской» прародине марийцев с попыткой привлечения топонимических данных содержится в труде Д. Е. Казанцева [1985]. Ряд лингвистических аргументов в пользу западного проживания марийцев приводится в статье П. Рахконена [2012, 12–15]. Свидетельством марийского топонимического субстрата в районах, прилежащих к устью Оки, по мнению П. Рахконена, помимо гидронимов на *-ингVрь* (ср. мар. *āngŷir*, *энер* ‘река’) является также «очевидная соотносимость топонимии Костромской обл. и низовий Оки с марийской топонимией» [Рахконен, 2012, 13]. Странно, однако, что в приводимом перечне топонимов с территории Марий Эл, которые находят соответствие в нижнем течении Оки и Унжи и которые картографирует П. Рахконен (р. Буй, р. Елнать, р. Кокша, р. Немда), в действительности нет ни одного топонима, объясняемого из марийского языка, все они на территории Марий Эл принадлежат пласту немарийской по происхождению топонимии.

Для того, чтобы обосновать либо опровергнуть наличие субстратной топонимии марийского происхождения на западе Костромской области и в бассейне нижнего течения Оки, автором было предпринято системное сравнение местной топонимии с типичной марийской

топонимией на основе метода этнического моделирования (описание метода см. в [Смирнов, 2014a]).

Основные результаты произведенного анализа:

1. Многие типовые марийские топоосновы (42 из 60) находят соответствия на исследуемой территории, но в подавляющем большинстве своем (34) в формах, отличающихся фонетически от марийского языка, например: топонимы с основами *печ-* (р. *Печуга*, р. *Печингирь*, оз. *Печехра* и др.) при мар. *пўнчō* ‘сосна’; *уч-* (оз. *Учхор*, р. *Уча*) при мар. *изи* ‘маленький’ и мн. др. Это основы, которые происходят от слов, относящихся к финно-угорскому, финно-пермскому или финно-волжскому лексическому пласту.

2. Выявлен ряд регулярных фонетических особенностей топонимии исследуемой территории. Эти фонетические черты имеют как сходства, так и существенные отличия от марийского языка.

3. Отличие между марийским языком и субстратными диалектами запада Костромской области и нижнего течения Оки наблюдается не только на уровне фонетики, но и в лексическом составе. Например, вместо мар. *йўл-* ‘гореть’ на исследуемой территории фиксируется основа *пал-*, ср. морд. *паломс* ‘гореть’; вместо мар. *кого*, *кузу* ‘большой’ — основа *ин-*, ср. морд. *ине* ‘большой’.

Таким образом, очевидно, что марийской по происхождению топонимии в низовьях Оки и на территории Костромской области западнее Унжи (т. е. в ареале гидронимов на *-ингVрь*) не обнаруживается. В подтверждение сказанного произведен этимологический анализ основ топонимов с формантом *-ингVрь*, который показывает их немарийское происхождение. Причем форма *Ингирь* с точки зрения исторической фонетики более инновационна, чем мар. *йнгйр*, *энер*, она характеризуется сужением корневого гласного и не может быть прамарийской. Вместе с тем, субстратные финно-угорские диалекты исследуемой территории явно находились в близком языковом родстве с прамарийским языком.

В свете отрицания марийского характера топонимии низовий Оки и западной части Костромской области проанализировано распространение марийских (древнемарийских) топонимов в западном и южном направлении от современной территории Марий Эл. На левобережье Волги крайней западной точкой распространения марийской топонимии является бассейн р. Кержанец (н. п. *Улангерь* (< *р.), ср. мар. Г *ўл*

‘нижний’, *ānġīr* ‘речка’). На правобережье Волги мощный марийский субстратный топонимический пласт обнаруживается в северной части Чувашии. Субстратные названия с дифференцирующими марийскими топоосновами и топоформантами распространены в Чувашии вверх по течению р. Сура вплоть до окрестностей Алатыря, где они соседствуют с субстратной мордовской топонимией. При этом субстратная марийская топонимия практически не переходит на левый (западный) берег Суры. Таким образом, р. Кержанец на левобережье Волги, а р. Сура на правобережье Волги являются западной границей распространения древнемарийской топонимии. Полученные топонимические данные заставляют поставить под сомнение гипотезу о западной («окской») прародине марийцев.

Отрицание двух описанных выше суждений в результате проведенного автором системного анализа топонимических данных кардинально меняет этногенетическую ситуацию для марийцев:

1) существенных сдвигов в расселении марийцев по сравнению с началом нашей эры, скорее всего, не произошло, при этом луговые марийцы переселялись на территорию Марий Эл не в иноязычную, а в близкородственную языковую среду;

2) в древности на просторах от Костромы до Вятки существовали другие волжско-финские языки, близкородственные марийскому, возможно их диалекты образовывали лингвистическую непрерывность, одним из звеньев которой был прамарийский язык;

3) локализация прародины марийцев в районах не западнее р. Кержанец и р. Суры допускает тесную историческую связь как предков марийцев, так и их близких родственников в междуречье Вятки и Ветлуги с ананьинской культурно-исторической общностью.

Казанцев Д. Е. Формирование диалектов марийского языка (в связи с происхождением марийцев). Йошкар-Ола, 1985.

Пустяков А. Л. К проблеме разграничения марийских и пермских топонимов в Ветлужско-Вятском междуречье // *Вопр. ономастики.* 2014. № 2 (17). С. 7–34.

Рахонен П. Границы распространения мерянско-муромских и древнемордовских гидронимов в верховьях Волги и бассейне реки Оки // *Вопр. ономастики.* 2012. № 1 (12). С. 5–42.

Смирнов О. В. К вопросу о пермском топонимическом субстрате на территории Марий Эл и в бассейне среднего течения Вятки (в свете интерпретации археологических культур). 1 // *Вопр. ономастики.* 2013. № 2 (15). С. 7–59.

Смирнов О. В. К вопросу о пермском топонимическом субстрате на территории Марий Эл и в бассейне среднего течения Вятки (в свете интерпретации археологических культур). 2 // *Вопр. ономастики.* 2014а. № 1 (16). С. 7–33.

Смирнов О. В. Об этнической интерпретации археологических культур I тыс. н. э. в бассейне среднего течения р. Вятки (по топонимическим данным) // *Ананьинский мир: истоки, развитие, связи, исторические судьбы. Археология евразийских степей.* 2014б. № 20. С. 90–105.

С. Н. Смольников

Вологодский государственный университет, Вологда
onomast@list.ru

Феномен «польских» фамилий на Русском Севере

Референция антропонима может рассматриваться в разных аспектах (как отношение имени к объекту внеязыковой действительности, как отношение имени к объекту ментальной сферы, как отношение имени к объекту сферы языка). Любое из этих отношений может характеризоваться модальностями реальности / ирреальности, потенциальности, гипотетичности и др., которые обусловлены вторичностью антропонима как языкового знака. Модальное значение появляется там, где возникает отношение, осознаваемое носителем языка.

Модальности, связанные с идентификацией имени собственного как языкового знака, накладываются на отношения антропонимов к классу имен как языковому концепту, их вариативности и кореференции и др. Этноязыковая принадлежность имени собственного также может осмысляться в системе модальностей.

Принято считать, что отнесение фамилии или другого имени собственного к языку-источнику основывается на выделении корней, аффиксов или других формальных признаков, однако последние могут быть общими для антропонимиконов разных языков.

Широкое распространение на Русском Севере получил тип топонимических фамилий на *-ский*, известный разным славянским

* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (грант 15-04-00364а «Вологодский текст в русской словесности»).

© Смольников С. Н., 2015

языкам. Особенно активны такие фамилии были на территории Посухонья и Верхнего Подвинья, где и в настоящее время сохраняется их наибольшая частотность. Большую их часть составляют крестьянские фамилии, связанные с названиями деревень (д. *Биричево* — *Биричевский*, д. *Бушково* — *Бушковский*, д. *Клепиково* — *Клепиковский*, д. *Наволоок* — *Наволоцкий*, д. *Тельтево* — *Тельтевской* и др.). Активность данного типа фамилий связана с особенностями населения края, где не было помещичьего землевладения, традициями черносоловьиного государственного крестьянства, с гнездовым принципом расселения, существованием больших семей и патронимий, а позднее — межпоселенческих коллективов, объединенных отношениями ближнего и дальнего родства, принадлежность к которым получала свое антропонимическое выражение.

Разрушение патриархального крестьянского уклада приводило к формализации семейного антропонима. Отрыв фамилий от своих языковых корней, стирание этимологии, включение фамилий в состав новых культурно-языковых парадигм обуславливали не только формализацию антропонимов, но и формирование новой мифологии и генеалогии, которая базировалась не на семейном предании, а на языковой парадигматике форм фамилий, которым может приписываться польское происхождение. Например, если в конце XIX в. носители тарногской фамилии *Силинских* пытались доказать ее новгородское происхождение, то в начале XXI в. они уже ищут ее польские корни. Псевдопольские генеалогии, которые не имеют под собой реальной исторической почвы, попадают и в родословцы.

Представления о польском происхождении фамилий жителей Верхнего Подвинья опираются на устную историю, которая устанавливает связь фамилий, похожих на польские, со Смутным временем и преданиями о «панах», а позднее — о ссыльных поляках. Легендарные «паны» представляют собой синкретичный образ, соединяют черты дорусского населения края, оставившего после себя следы материальной культуры и непривычные захоронения, черты первопоселенцев и предков-родоначальников, пришлых разбойников, грабивших население и зарывавших клады, черты враждебного, воинствующего народа, разорявшего села и деревни. С XIX в. краеведческая литература этнографического содержания и изыскания в области польского (или — шире — западного) влияния на этногенез территории отождествляли

легендарных «панов» с польско-литовскими вооруженными отрядами. Однако никакого массового оседания в русских селениях поляков в Смутное время не происходило.

Собственно польские фамилии на этой территории могли появляться позднее, когда после польских восстаний в XIX в. сюда попадали высланные поляки, а также граждане Польши, ссыльные и репрессированные после 1937 г., и просто переселенцы из западных регионов, Украины и Белоруссии. Этим также могла обосновываться гипотетичность польских этимологий.

Осмысление исконно местных фамилий как «польских» способствует изменениям в их произношении и письменной фиксации, появлению вариантов: *Верхóвинский* — *Верховѣ́нский*, *На́волоцкий* — *Наволо́цкий*, *Тесáловский* — *Тесалóвский*, *Поника́ровский* — *Поникаро́вский* и др. Полонизация русских фамилий направлена на повышение статуса фамилии, окружение ее псевдоромантическим ореолом, придание ей более звучного, «благородного» облика.

Факты переосмысления севернорусских фамилий на *-ский* отражают не только развитие антропонимических категорий в русском языке, но и более широкие процессы трансмиссии культуры. Польская версия происхождения исконных русских фамилий относительно поздняя, и формируется она не ранее XIX в. Размывание этнической характеристики фамилий превращает их в антропонимические знаки с гипотетической модальностью.

П. Сobotка

Университет Николая Коперника в Торуне, Торунь (Польша)
psobotka@umk.pl

Заметки по этимологии и семантике слов, образованных от праслав. **jbst-*

1. Современные значения слов, образованных от праслав. **jbst-*, в разных славянских языках:

- польск. *istnieć* ‘существовать’, *istnienie* ‘существование’, *istota* ‘существо’, *istotny* ‘существенный, важный’, *istota rzeczy* ‘суть дела’; *istny* ‘настоящий’, *istotny* ‘действительный, настоящий’, *iście* ‘подлинно, поистине, истинно’, *istotnie* ‘в самом деле, действительно’, *w istocie* ‘действительно’;

- чеш. *jistit (se)* ‘предохранять, страховать кого / что, страховать, обеспечивать кого / что, наблюдать, следить; страховаться от чего’, *jistý* ‘несомненный, бесспорный; надежный, верный, достоверный; уверенный; безопасный; известный’, *jistota* ‘уверенность, достоверность, убежденность, безопасность, защищенность’; *jistina* ‘капитал’, *jistě* ‘обязательно, безусловно, несомненно’, *jistě* ‘так точно!’;

- болг. *истина* ‘истина’, *истински* ‘истинный’, *ищец* ‘истец’;
- хорв. *isti* ‘такой же, одинаковый’, *isto* ‘то же’; *istina* ‘истина’;
- рус. *истина*, *истинный*; *истец*;
- укр. *істий* ‘истинный’, *істина* ‘истина’; *істота* ‘существо’, *істотний* ‘живой’.

Славянские языки обнаруживают широкий спектр значений дериватов корня **jbst-*. Можно выделить четыре основных типа значений: 1) «местоименные» значения — ‘тот же’, ‘такой же’, ‘именно тот же’ (эта семантика, связанная с идеей тождества, является, по всей видимости, источником развития других значений); 2) значения, связанные с понятием истины; 3) значения, производные от «истинностных», — «бытийные», юридические или экономические; 4) значения слов, которые используются на метатекстовом уровне и комментируют содержание текста. Наиболее интересны для нас значения четвертого типа. Примечательно, что такая семантика сохранилась только в западнославянских языках.

2. Исторические и диалектные континуанты праславянских слов с корнем **jbst-* и их значения:

- **jbstina* ‘(вот) то же, именно то (самое главное / основное)’ → 1) ‘капитал’; 2) ‘истина’;
- **jbstit* (*se*) ‘делать что-л., что надо подтверждать / чтобы подтверждать(ся)’ → ‘платить’ / ‘наблюдать’ / ‘страховать и т. д.’;
- **jbstota* ‘нечто подтвержденное’ → ‘существо’;
- **jbstь* ‘такой же’ → ‘одинаковый’ / ‘главный’ / ‘истинный’ / ‘уверенный’ → ‘то, о чем идет речь; тот, о ком идет речь’;
- **jbstě* ‘в том же’ → ‘в этом высказывании’ → ‘в самом деле’ / ‘действительно’;
- **jbst-ьсь* ‘тот, кто’;
- **jbstnъ* ‘основной’ → ‘реальный’ → ‘тот, которого можно увидеть / показать’ → ‘то, что сказано о чем-, ком-л.’.

3. Этимологическое значение **jbst-*. Анализ исторического развития значений, присущих словам гнезда **jbst-*, позволяет сформулировать гипотезу о семантике этимона гнезда. Она первоначально связана со сравнением того, что существует, с тем, что было сказано об объекте познания. Праславянский корень **jbst-* является в какой-то степени «остенсивным». В этом контексте значение **jbst-* является инновационным. Возможно, его древняя семантика (ср. латыш. *īsts* ‘истинный’) была изменена под влиянием местоимения **jь*.

4. Общая модель мотивации слов, образованных от праслав. **jbst-* ‘то же / истинный’:

«то же»

«истина»

→ слово объектного языка → метатекстовое
высказывание

5. Понятие истины в качестве стимула метатекстового значения. Использование корня **jbst-* в речи требует сопоставления одного объекта с другим или с тем, что о нем сказано. Таким образом, мы высказываем суждения не только о самом мире, но и о том, что мы о нем говорим каким-либо способом.

Новые «урбанонимы» Москвы

С присоединением в 2012 г. новых территорий площадь Москвы увеличилась более чем в два раза: в состав столицы были включены два городских округа (Троицк и Щербинка) и 19 городских и сельских поселений, в результате сформировались два административных округа — Троицкий и Новомосковский (официально ТиНАО, неофициально — Новая Москва). Как изменилось ономастическое пространство города?

Урбанонимы Старой Москвы (имеется в виду территория Москвы до 2012 г.) представляют собой сложившуюся и до определенной степени отрегулированную систему. Комиссия по наименованию улиц с 1922 г. вела большую работу по упорядочению названий московских городских объектов после постепенного присоединения к столице множества сел, деревень, поселков, городов.

Онимы Новой Москвы, волевым решением получившие статус столичных «урбанонимов», в действительности представляют собой неупорядоченное множество разнородных названий. Это прежде всего 292 ойконима: названия трех городов (кроме *Троицка* и *Щербинки*, в Москве теперь есть город *Московский*), 51 название поселков (среди которых как традиционные *Коммунарка*, *Красные Горки*, так и «недоонимизированные» — *Завода Мосрентген*, *Ульяновского лесопарка*, *Детского дома «Молодая гвардия»*, *Подсобного хозяйства «Воскресенское»*, *Разъезда Пожитково*, *Дома отдыха Вороново*; «промежуточным» статусом таких онимов объясняется вариативность их написания на картах и в перечнях, например, пос. *Фабрики имени 1-го Мая* / *Первого Мая фабр. им.*; пос. *Дорожно-ремонтного Пункта 3* / *Поселок дорожно-ремонтного пункта-3*). На карте столицы появилось 220 деревень (*Мамыри*, *Изварино*, *Большое Свинорье* и др.), 13 сел (часто одноименных ранее вошедшим в состав Москвы — *Никольское*, *Покровское*, *Красное*), 5 хуторов (*Брѣхово*, *Ильичѣвка*, *Талызина*). Все эти названия сохраняют статус самостоятельных топонимов,

выполняющих адресную функцию, например: *г. Москва, поселение Вороновское, деревня Юрьевка*.

Москва вобрала в себя более 220 садовых товариществ, и на плане ТиНАО фиксируются типовые абстрактные или «производственные» наименования садовых участков советских времен, часто дублирующие друг друга: *Дружба* (9), *Весна* (6), *Заря* (7), *Луч* (7), *Полёт* (5), *Ветеран* (12), *Ветеран-Дубки*, *Ветеран-Черемушки*, *Радость* (5), *Рассвет* (5), *Отдых* (4), *Геолог*, *Химик*, *Связист*, *Медик*, *Просвещенец*, *Инструментальщик* и т. д.; частотны «фитонимы»: *Берёзка* (11), *Дубки* (4), *Дубрава* (4), *Сосенки* (5). Однако в ономастическом пространстве столицы появились и плоды креативной деятельности садоводов новых времен: *Компьютер*, *Стриптиз*, *Эколь*, *Гринлайн*, *Элетан*, *Бонитет*, *Фея-Лапишинка*. Каков статус таких названий? Это не урбанонимы — и в московский классификатор не вносятся, это не топонимы — и в единый реестр географических названий не вписываются, однако помещаются на карты и планы Новой Москвы (причем не всегда в соответствии с юридически закрепленными вариантами названий садовых некоммерческих товариществ; далее — СНТ). Фигурируют эти имена-призраки и на дорожных указателях. Столичные власти разрабатывают программу реорганизации садоводческих товариществ, расположенных в Новой Москве. Земли 80 % СНТ планируется перевести в индивидуальное жилищное строительство, что повлечет за собой изменение статуса существующих названий, а также устранение одноименности.

В границах Москвы оказались многочисленные коттеджные поселки и жилые комплексы, рекламные имена которых тоже не имеют официального статуса топонимов или урбанонимов: *Бристоль*, *Левитан*, *Эдальго*, *Лесной Пейзаж*, *Випушки*, *Троицкая Ривьера*, *Акварель*, *Ravissant*, *Сандей Хиллс*, *Баден хиллс*, *La Promenad*, *Внучок*, *Прима Парк*, *Татьянин Парк*, *Калипсо-2*, *Западный стандарт*, *Синергия*, *Эталон-Сити*, *Президент*, *FoRest* (*Форест*), *Лужайкино*, *Сенатор Club* и др. Однако эти коммерческие названия не только фиксируются на плане Новой Москвы и на дорожных указателях, но имеют тенденцию к переходу в разряд официальных урбанонимов. Так, в коттеджном поселке «Андерсен» появится улица *Андерсена*, в ЖК «Остров Эрин», в архитектуре которого использован ирландский стиль, — *Ирландская* и *Дублинская* улицы.

Наиболее весомый вклад в перечень московских онимов — сотни названий улиц внутри населенных пунктов, присоединенных к Москве. Троицк, Щербинка, Московский имеют свои системы урбанонимов, функционирующие автономно. Являются ли названия улиц внутри сел и деревень урбанонимами или их следует считать виконимами, как собственные имена любых внутрисельских объектов? Часть названий улиц уже включена в общемосковский классификатор, следовательно, формально обрела статус урбанонимов. Однако в населенных пунктах на присоединенных территориях существовала своя, локальная система ориентации, в соответствии с которой были названы многочисленные *Центральные, Северные и Южные, Западные и Восточные* улицы. При включении в общее городское пространство такие названия оказываются дезориентирующими и нарушают сложившиеся в Старой Москве географический и тематический принципы номинации. На юго-западе, в Новой Москве, оказалось более двадцати *Северных* улиц и переулков, а также свои «кусты» «северных» географических названий, например, *Тюменский, Оренбургский и Надымский* проезды в деревне Городище, *Приполярная, Уренгойская, Ямальская, Северная* улицы в хуторе Брёхово.

Во многих населенных пунктах бывшего Подмосковья улицы названы по направлению к Москве — *Московскими*, а также *Подмосковными*. Так как территория изобилует дачными поселками, здесь 12 *Дачных* и 5 *Стародачных* улиц. Одноименных *Лесных* улиц в Москве теперь более 40, *Луговых* — 25, *Полевых* — 22, *Берёзовых* — 16, *Вишнёвых* — 16 и т. д.

Таким образом, в Москве появились многочисленные одноименные объекты, неудачные и курьезные названия, которые неизбежно подвергнутся нормализации. Упорядочить все вошедшие в 2012 г. в состав столицы подмосковные названия сразу, одновременно невозможно. Создание единого ономастического пространства Москвы будет идти постепенно, вместе с застройкой новых территорий, в ходе реконструкции старых линейных объектов, оказавшихся одноименными уже существующим в Старой Москве.

М. Г. Соломатина

Московский государственный университет, Москва
solomatina.marija@yandex.ru

«Божественные» прозвища

В диалектной речи лексемы, связанные с именами Бога и Богородицы, иногда встречаются в переносном употреблении — как прозвища человека. В докладе на материале архангельских говоров будут рассмотрены прозвища, мотивированные лексемами *Бог*, *Богородица*, *Иисус*, *Христос*. В данной функции употребляются также образованные от этих лексем дериваты — *боженька*, *богомол*, *богомалец*: «Там всё Начальники, а у нас всё *Боги*, Цари, Короли, Князь, Пургин-то Лёшка, и Граф, а в Белашелье всё Начальники»; «Соседка-то у нас *Богородица*, на котору весь мир молится»; «Вон там, за ложком-то, всё Коля *Исус* зовут. Коля-то *Исус* опять поволочётся собирать воду»; «А здесь и Бегемот есть, Бэндер есть, Шило есть, Сыщик есть, *Богомалец* есть». Исследование прозвищных употреблений лексем *Бог*, *Богородица*, *Исус*, *Христос* и их дериватов помогает выявить особенности народного православия.

Мотивация таких прозвищ может быть различной. Обычно их мотивировки отражают отношение человека к религии. Так, например, прозвище *Богородица* человек получил, когда рассказал о религиозном видении: «Коля Бог, а отец был Богородица. Он раньше ходил, пошёл в село и увидел Богородицу, ему небо открылось, а его до смерти Богородицей звали».

Прозвище *Боженька* получила женщина, которая не была замужем, то есть с точки зрения религиозного сознания оставалась чистой, непорочной: «Здесь девка живала, Боженька звали, замуж не выходила, Анне Васильевне она своя будет».

Религиозный, набожный человек мог получить прозвище *Богомол* (*Богомолка*), но в этом случае границу между прямым и переносным значением лексемы не всегда удастся провести достаточно четко: «А Павел Иванович — его Богомол называли, в Бога верующий. Выйдет с утра на взвоз, перекрестится. Потом идёт в горенку и часа два

молится»; «Меня прозвали Богомолкой, а вот потом вера началась. Колокола забьют, побегу молиться».

Прозвище *Исус* или *Христос* может быть мотивировано внешностью человека, при этом подчеркивается его сходство с изображением Иисуса Христа на иконах: «У нас были Исусы, потому что старикан был похож на икону Христа»; «Христос есть наш, деревенской. Мама сшила ему малицу, и он такой симпатичный, она говорит: “Ой, как Христос!”».

«Божественные» прозвища (как и всякие другие) могли передаваться по наследству: «Татку Бог звали, а нас Богородицами»; «Дедко называл-то Богом, так и Боженята-ти и пошли».

От лексем *Бог*, *Исус*, *Христос* образуются дериваты *Боганский*, *Христованов*, *Иисусов*, которые переходят из прозвищ в разряд прозвищных фамилий: «Богански прозвища, а фамилия Дерягины»; «А вот это, на Нылоге-то это, Исусовых-то зовут, как это, Ийка. Сроду Ийка Исусова молока не важивала»; «Соседи — Кологреевы, а прозвище — Христовановы почто-то».

«Божественные» прозвища могут получать не только люди, но и животные. Например, родившегося в пасхальную ночь теленка прозвали *Христосиком*: «Вот родился. Мы его Христосиком и зовём. Телёнок Христосик, родился в Паску, в то время колокол бьёт. О, Христос воскрес, Христосик родился».

Некоторые дериваты, образованные от слова *бог*, — *богомолы*, *богомольцы*, *богоявленцы* — могут употребляться в функции коллективных прозвищ жителей одной деревни. Носители диалекта мотивируют появление таких прозвищ особой религиозностью жителей, связывают с наличием в деревне церкви: «Ну там богомолы кушкопалы были, церковь есть»; «А вилегодцев ещё богоявленницами [называли] — церковь Богоявления».

Но чаще всего такие прозвища включаются в состав фольклорных текстов (корильных песен, частушек): «Койнаscopy — моторы, долгополы. Присудливы мужики засульяны, засульяны. Усть-низмы — богомолы»; «Веркольцы — ельцы, кушкопалы — чернолобы, еркомёна — водохлабы, шардомёна — кашники, кеврольцы — *богомольцы*».

Существует также ряд слов, мотивированных лексемой *Бог*, которые, однако, являются не прозвищами, а полноценными именами собственными, например, *Боголеп*, *Богдан*: «Боголеп Гордиевич Сухарев фамилия, Боголеп Гордиевич»; «Башмачки-то сошиты из кожи, мне

дедушка Боголеп всё шил дак»; «Богдан дивну кучу денег Ие принёс, рассчитанось у него»; «Жена у Богдана две работы нашла, а он не едет, при матери сено помогает доставать».

От таких имен закономерно образуются отчества: «Отец был Конев Иван Николаевич, простой такой деревенской мужичок, мама – Конева Алевтина *Боголеповна*».

Д. В. Спиридонов, Л. А. Феоктистова

Уральский федеральный университет, Екатеринбург
dmitri.v.spiridonov@gmail.com, lfeoktistova@mail.ru

Русский *Иван* и его «братья»: польск. *Jan* и фр. *Jean* (к вопросу об этнокультурных коннотациях личного имени)

Объект нашего анализа — семантико-мотивационная структура деривационно-фразеологических гнезд, вершинами которых являются личные имена, восходящие к др.-греч. Ἰωάννης: рус. *Иван*, польск. *Jan* и фр. *Jean*. Анализ имеет сравнительно-типологическую направленность и нацелен на выявление коннотативной семантики рассматриваемых имен и их этнокультурной специфики. Данный доклад является логическим продолжением совместного исследования авторов, предварительные итоги которого были представлены на предыдущей конференции «Этнолингвистика. Ономастика. Этимология» в 2012 г. Определив диапазон семантического варьирования личных имен (начиная от различных апеллятивных обозначений человека и заканчивая предметной номинацией), мы сосредоточились на тематической группе «Человек» (как составляющей соответствующих семантико-деривационных комплексов) с целью реконструкции обобщенных языковых образов носителей изучаемых имен.

Ассоциативно-деривационная и фразеологическая семантика русского имени *Иван* складывается на основе известных образов фольклорной традиции. Вместе взятые, они составляют своего рода портретную галерею носителей имени — реальных исторических

личностей (*Ванька Каин*), вымышленных персонажей (*Иван-дурак*, *Ванька-ключник*, *Ванька Ветров*), а также антропоморфных артефактов (колокольня московского Кремля *Иван Великий*, народная игрушка *ванька-встанька*). Ведущая роль в формировании коннотативного фона имени, безусловно, принадлежит Ивану-дураку. Это выражается не только в суммарном количестве однозначно прецедентных номинаций, но и в их тематическом разнообразии — интеллектуальные способности (например, *ванька* ‘о глупом человеке’), речевое поведение (*ваньку валять* ‘скрывать что-л., умалчивать’, *заивáнивать* ‘сочинять, врать’), отношение к труду (*лежать как Иванушка на печи* ‘о ленивом, праздно лежащем в тепле и сытости человеке’), род занятий (*ванька с трудоднями* ‘трудолюбивый колхозник с хорошим заработком’) и место жительства (*ванька сельский* ‘хвостун’). Языковой образ Иванушки-дурачка явственно наследует отдельные черты фольклорного, вбирая в себя и другие характеристики, которые как будто бы «выводятся» из семантики интеллектуальной неполноценности, но относятся к иным сторонам человеческой натуры и жизнедеятельности.

Разнопланов, но достаточно целостен образ польского *Яна*. Основные его мотивы — глупость (*ghupi jaś* ‘глупый человек’) и неуклюжесть (*dura jaś* <Ясь-задница> ‘растяпа, тюфяк’), с которыми органично сочетаются неопрятность (*janus* ‘неряшливый (неопрятный) человек’) и флегматичность (*jasiek* ‘неразговорчивый и флегматичный человек’).

Основной чертой языкового образа французского *Жана* также является глупость (*Jean, Jan-coucouinié* <Жан-простофиля>, *Jan-locho* <Жан-дурак> ‘дурак, простофиля’), причем глупцом нередко считается обманутый муж (*Jean, Jean-cul* <Жан-задница> ‘рогоносец, обманутый муж’). С мотивом глупости коррелируют мотивы неловкости и нерешительности (*Jean* ‘человек слабый, без энергии, наивный’, *Jan-recuelo* <отступающий Жан> ‘медлительный, неповоротливый, нерешительный человек’), праздности и склонности к бесплодной деятельности (*Dzan do lezer* <Жан-бездельник> ‘о человеке, который ничем не занят или занимается бесполезными делами’) или к выполнению нетяжелой («женской») работы (*Dzan counoulliado* <Жан-веретено> ‘о мужчинах, которые вместо тяжелой мужской работы занимаются женскими делами’). Отрицательное отношение к тем или иным формам девиантного поведения Жана выливается в общую негативную оценку и оценку его деятельности как асоциальной (*Jean foutre* ‘подлец, бесчестный,

непорядочный человек'). Помимо этого, в образе Жана ярко проявлена социальная характеристика — крестьянское происхождение (*Jean guètré* <Жан в гетрах>, *Jean Deschamps* <Жан с полей> 'крестьянин').

Сравнение приведенных данных позволяет заключить, что образ русского *Ивана* (несмотря на всю его закреплённую языком и культурной традицией «русскость») не так уж сильно отличается от образов своих «братьев» в польском и французском языках. Эти образы «выкраиваются» примерно по одним и тем же «лекалам» (внешность, интеллект, черты характера, речевое поведение, физическая активность, отношение к труду, род занятий и связанные с ним место жительства и материальное положение). «Лейтмотивом» всех трех образов является глупость, с которой соотносятся и от которой, вероятно, производны большинство прочих мотивов. Среди них есть и общие: крестьянское происхождение и бедность, неопрятность (в русском и польском), неловкость, неуклюжесть (в польском и французском), медлительность (в русском и французском), обман (русский *Иван* — обманщик, французский *Жан* — обманутый (муж)). Это сходство образов объясняется, скорее всего, не столько родством имен, сколько этноязыковой универсальностью тех мотивов, которые в принципе могут лечь в основу номинации посредством личного имени.

Специфически «русскими» являются мотивы, связанные не с Иваном-дураком, а с другими референтами имени: высокомерие (*из себя ивана корчить* 'важничать, превозносить себя' — колокольня *Иван Великий*), недоверчивость (*ходить как Ванька-ключник* 'о том, кто не доверяет, запирает все на замок, подозревая всех в воровстве'), подвижность (*как ванька-встанька* 'о непоседливом, подвижном человеке'), занятия извозом (*ванька* 'извозчик').

Своеобразие польского *Яна*, если не принимать во внимание редко встречающиеся мотивы (ср. *zielony jaś* 'человек с бледным лицом', *śmieszny jaś* 'веселый, смешливый человек', *jasiiek* 'неразговорчивый и флегматичный человек', *jasiiek góralski* 'житель гор'), будет, вероятно, заключаться во всем комплексе приписываемых ему характеристик, одни из которых сближают его с образом русского *Ивана* (неопрятность, молчаливость), а другие — с образом французского *Жана* (неуклюжесть). Что касается последнего, то яркость и неповторимость его образу придают звание рога носца, склонность к «женской» работе, а также недостойное (непорядочное) поведение.

Указанные расхождения могут быть обусловлены как различиями в культурных традициях, так и действием системно-языкового фактора (например, склонность к выполнению «женских» работ может отчасти объясняться языковой игрой, основанной на аттракции мужского имени *Jean* к его женской паре — *Jeanne*).

Е. Е. Стефанский

Самарская гуманитарная академия, Самара
estefanski@rambler.ru

Обряд «Конница королей» и ключевые концепты чешской лингвокультуры в романе М. Кундеры «Шутка»

Обряд «Конница королей» композиционно связывает все семь частей романа «Шутка», написанных от имени разных героев и относящихся к различным отрезкам их жизни. Для понимания произведения важны не только и не столько воспроизводимые автором фрагменты данного ритуала, сколько его семиотика, на подсознательном уровне понятная носителям чешской культуры.

Кундера и его герои справедливо полагают, что «Конница королей» восходит к языческим временам и является памятью об обрядах посвящения мальчиков в мужчин [см.: СД, 4, 189].

Чешский язык зафиксировал в форме существительного во множественном числе (*Jízda **králů*** «Конница к о р о л е й») память о коллективном характере ритуала. Кроме того, существуют другие названия этого обряда (*honit krále* <гнать короля>, <охотиться на короля>, *voditi krále* <водить короля>, *stínání krále* <обезглавливание короля>, *chodit s králem* <ходить с королем>, *hledat krále* <искать короля> [СД, 3, 609]), где король является не субъектом, а объектом, — более того, объектом, над которым нередко совершается насилие.

Объяснение такого рода названиям можно найти в элементе королевского обряда, который не упоминается в романе «Шутка». По свидетельству этнографов, мужские королевские обряды у западных славян

заканчивались символической казнью «короля» и купанием «короля», которое имело цель вызывания дождя. В Южной Чехии избранного «короля», босого и без сабли, вели к пруду и бросали в воду его корону, которую он должен был выловить.

В сущности, вся жизнь главного героя романа, Людвика Яна, строится как цепь увенчаний и развенчаний «короля». Так же, как «король» в обходном обряде или жених в обряде свадебном никогда не был субъектом свадьбы, Людвик, по его собственному признанию, «был скорей объектом, нежели субъектом всей своей истории». Жизнь Людвика — это синусоида, в которой каждый минимум или максимум строится на оппозиции «смешное — серьезное».

В художественном дискурсе романа находят отражение древнейшие ментальные модели, связанные с обрядом инициации. Эти модели формируют специфические чешские эмоциональные концепты «*lítost*» и «*zášť*». Так, в сцене разрыва с Люцией актуализируется концепт «*lítost*» [см.: Агранович, Стефанский, 2003, 88–121; Стефанский, 2008, 178–191]. Эту эмоцию через 12 лет после «Шутки» в романе «Книга смеха и забвения» Кундера определит как «мучительное состояние, порожденное видом собственного, внезапно обнаруженного убожества». Кундера очень точно уловил, что *литость* «никогда не обходится без патетического лицемерия», иными словами, человек, испытывающий ее, лишь одному себе признается в истинных причинах неожиданной вспышки своей агрессии. Именно такая ситуация возникает в отношениях между Людвиком и Люцией.

Расставание с Люцией, военная тюрьма, вынужденная работа на рудниках, по наблюдениям Ярослава, не сделали из Людвика «сломленного нытика», наоборот, «в нем появилась какая-то грубость, жестокость». Однако его злость из-за сломанной жизни оказалась сосредоточена на нескольких личностях и явлениях, с которыми было связано несправедливое осуждение, — на демагоге Павле Земанеке, на пропагандистском образе Юлиуса Фучика, который использовал Земанек в своей обвинительной речи на партсобрании, и даже на моравской народной музыке, которой Земанек, стремясь быть ближе к народу, увлекался. И здесь актуализируется еще один специфический чешский концепт — «*zášť*», который подразумевает затаенный гнев, «отложенную» ненависть. После случайного знакомства с женой Земанека Геленой у Людвика рождается план мести: «Я создал его в своих

мечтах силой пятнадцатилетней ненависти (*patnáct let trvající zášti*) и ощутил в себе буквально непостижимую уверенность, что он удачи и осуществится в полной мере».

В конце наполненного событиями дня «чары», околдовавшие Людвика пятнадцать лет назад, вдруг спадают. Избавившись от много лет вынашиваемой ненависти к Земанеку, Людвик избавляется и от ненависти к тому, что имеет непреходящую ценность. Играя, как в юности, в народном ансамбле, он ощущает древний синкретизм настоящих чувств и страстей, освобожденный от условностей современной цивилизации. С точки зрения мифологического сознания, только сейчас Людвик обретает способность «социализировать» свои эмоции, становясь не объектом, а субъектом своей жизни, настоящим «статусным мужем».

Агранович С. З., Стефанский Е. Е. Миф в слове: продолжение жизни. Самара, 2003.

СД — Славянские древности : этнолингв. словарь : в 5 т. М., 1999–2012.

Стефанский Е. Е. Эмоциональные концепты как фрагмент мифологической и современной языковых картин мира (на материале концептов, обозначающих негативные эмоции в русской, польской и чешской лингвокультурах). Самара, 2008.

В. И. Супрун

Волгоградский государственный социально-педагогический университет,
Волгоград
suprun@vspu.ru

Аббревиация и инициальность в ономастике

Закон экономии языковых (речевых) средств, известный также как «принцип лени» [АРСЛС, 191], отражает один из основных стимулов развития языка — необходимость в процессе коммуникации передать максимум информации с помощью минимального набора средств. Он носит универсальный характер, проникает во все уровни языковой системы. В его основе лежат стремления человека все свои действия производить с максимальной эффективностью и с минимальным

© Супрун В. И., 2015

приложением сил: «Экономия преднамеренна, к ней стремятся, ее достижение желательно <...> Человек не может сознательно разбазаривать свою драгоценную энергию и обращаться неэкономно с языковыми ресурсами» [Девкин, 1979, 61]. Об этом же говорит И. А. Бодуэн де Куртенэ: «Языковая жизнь является непрерывной органической работой <...> А в органической работе можно заметить стремление к экономии сил и к нерастрачиванию их без нужды, стремление к целесообразности усилий и движений, стремление к пользе и выгоде» [Бодуэн де Куртенэ, 1, 226]. Полемически заостренно выразил эти же мысли Е. Д. Поливанов: «Если попытаться одним словом дать ответ относительно того, что является общим во всех этих тенденциях разнообразных “типичных” процессов, то лаконичный ответ этот — о первопричине языковых изменений — будет состоять из одного, но вполне неожиданного для нас на первый взгляд, слова — “лень”. Как ни странно, но тот коллективно-психологический фактор, который всюду при анализе механизма языковых явлений будет проглядывать как основная пружина этого механизма, действительно, есть то, что, говоря грубо, можно назвать словами: “лень человеческая”, или — что то же — стремление к “экономии трудовой энергии”» [Поливанов, 1968, 81].

Имя собственное является важным элементом коммуникации: оно позволяет человеку обозначить себя и ориентироваться в географическом и социальном пространстве. Его постоянное использование в номинативно-вокативной (антропоним) и локативной (топоним) функциях вынуждает коммуниканта прибегать к различным способам и формам экономии речевых усилий в устной и письменной речи, среди которых отмечаются аббревиация и инициальность.

Под аббревиацией понимается не только образование сложносокращенных слов [Ахманова, 1966, 27], но и создание «кратких словечек» [ЛЭС, 9]: рус. *препод* < *преподаватель*, *зам* < *заместитель*, *пед* < *педагогический институт* (*университет*), англ. *doc* < *doctor*, *prof* < *professor* и пр. К данному типу деривации относится и образование кратких (домашних) вариантов полных имен как «наиболее старая» разновидность аббревиации [Там же]: рус. *Володя*, *Вова* < *Владимир*, *Коля* < *Николай*, *Лена* < *Елена*, чеш. *Dáša* < *Dagmar*, *Pepa* < *Josef*, англ. *Bob* < *Robert*, нем. *Hans* < *Johannes* и пр. Этот процесс характерен и для зоонимии как для околядерного ономастического разряда [см.: Супрун, 2000, 17], при этом — в силу специфики официального оформления

и функционирования кличек животных — границы между полной и краткой формой зоонима не всегда очевидны. Путем аббревиации возникает в настоящее время большинство школьных и студенческих прозвищ: *Тарас* < *Тарасов*, *Заяц* < *Зайцева*, *Орёл* < *Орлова*, *Рыжий* < *Рыжиков* и др. [Родина, 2014, 87].

Аббревиация затрагивает все разряды имен собственных, проявляя большую активность на периферии ономастического поля: *УрГУ* [ургú] < *Уральский государственный университет*, *ВГСПУ* [вэгэспэу] < *Волгоградский государственный социально-педагогический университет* и т. п.

Инициальность возникает в письменной речи для сокращения записи антропонима: инициалы — ‘первые буквы имени и отчества или имени и фамилии, реже имени, отчества и фамилии’ [БТС, 393] (*А. М. Горький*, *Р. П. Кузов*, *М. Э. Рут* и т. п.). В библиографических списках инициально оформляются названия городов: *М.* < *Москва*, *Л.* < *Ленинград*, *СПб.* < *Санкт-Петербург*, *Мн.* < *Минск* / *Мінск*, *Pha* < *Praha*, *Blava* < *Bratislava*, *B.* < *Berlin*, *L.* < *London*, *P.* < *Paris*, *NY* < *New York*. Все штаты США имеют инициально-аббревиатурные обозначения: *NJ* — *Нью-Джерси*, *SC* — *Южная Каролина*, *ND* — *Северная Дакота*, *NH* — *Нью-Гэмпшир*, *WV* — *Западная Вирджиния*, *ID* — *Айдахо*, *IA* — *Айова* и др. В России до инициала сокращается первое слово или морфема в сложных и составных топонимах: *Н. Новгород* — *Нижний Новгород*, *С.-Петербург* — *Санкт-Петербург*; это может найти отражение в произношении топонима: *Н. Царица* [энцарйца] — хут. *Новоцарицынский*.

Инициалы в устной речи, особенно от имени и отчества, имеют тенденцию к превращению в слова: *Зайдите к Эм́м* (= Максиму Матвеевичу) <запись устной речи>; *Потом ПА отвез меня в институт Бурденко, они меня обследовали на всех приборах. ПА* (= Павел Алексеевич) *от меня не отходил, и лицо у него было такое растерянное* <Л. Улицкая. Казус Кукоцкого>. На таком прочтении инициалов может строиться языковая игра: «Пушкин был лётчиком? — Почему? — Его же называют ас» (= А. С. <Александр Сергеевич>) <Анекдот>.

В ономастике отражаются все тенденции языкового развития, порой более ярко, чем в остальных частях языковой системы. Изучение этих тенденций позволяет обнаружить, описать и осмыслить этно-, социо-, психолингвистические и лингвокультурологические проблемы.

- АРСЛС — Баранов А. Н., Добровольский Д. О., Михайлов М. Н., Паршин П. Б., Романова О. И. Англо-русский словарь по лингвистике и семиотике. М., 1996.
- Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М., 1966.
- Бодуэн де Куртенэ И. А. Избр. тр. по общему языкознанию : в 2 т. М., 1963.
- БТС — Большой толковый словарь русского языка. СПб., 1998.
- Девкин В. Д. Немецкая разговорная речь. М., 1979.
- ЛЭС — Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.
- Поливанов Е. Д. Статьи по общему языкознанию. М., 1968.
- Родина Н. А. Современные детские и молодежные прозвища: структурно-семантический и функционально-динамический аспекты : дис. ... канд. филол. наук. Смоленск, 2014.
- Супрун В. И. Ономастическое поле русского языка и его художественно-эстетический потенциал. Волгоград, 2000.

О. Д. Сурикова

Уральский федеральный университет, Екатеринбург
surok62@mail.ru

К вопросу о прагматической обусловленности фольклорного текста (на материале конструкций с предлогом и приставкой *без*)

Существование жанровой специфики фольклора не подлежит сомнению и является для фольклористики и «китом», и общим местом. Жанровая уникальность на всех уровнях — от просодики до синтаксиса — изучается давно и продуктивно, однако недостаточно изученными (в силу своей неочевидности) остаются лексико-грамматические характеристики жанров. Лексико-грамматическое своеобразие жанра во многом создается его прагматикой — базовой задачей, основной иллокутивной целью, ради которой выполняется фольклорный текст. Мельчайшие значимые элементы текста — морфемы и граммы, часто служащие для спайки более крупных составляющих фольклорного высказывания, — возникают в нем, как правило, не произвольно, но «по востребованию» — подчиняясь прагматической доминанте жанра.

Об этом, в частности, свидетельствуют полученные нами данные о функционировании слов и сочетаний с приставкой и предлогом *без*

© Сурикова О. Д., 2015

в текстах разных жанров фольклора, имеющих поэтическую природу (и содержащих более устойчивые и «заданные» текстовые связи, чем жанры прозаические). Изучаемые *без*-конструкции являются основными выразителями семантики отсутствия в русском языке — исконными, высокочастотными и не связанными дискурсивными ограничениями в речи и тексте. Анализ фольклорных текстов показал, что в одних жанрах лексемы и конструкции с префиксом и предлогом *без* встречаются в изобилии (это пословицы и поговорки, загадки, заговоры и причитания), в других — в умеренном количестве (былины), в третьих — практически отсутствуют (частушки и духовные стихи). Роль *без*-конструкций в текстах востребующих их жанров варьирует от минимальной до структурообразующей, а причины активности различаются в зависимости от прагматического своеобразия жанра.

В пословицах, поговорках и загадках приставка и предлог *без* появляются чаще всего как средство обозначения аномалии. Пословицы и поговорки — жанр дидактический; его иллокутивная доминанта заключается в корректировке действий человека. Задача пословицы — указать верный путь, принятую традицией модель поведения, и осуществляется это через противопоставление нормы и аномалии. Последняя часто обозначается указанием на отсутствие (знак ущербности, «незаконченности», деформированности), которое выражается с помощью предлога и приставки *без*. Так, существует обширный корпус пословичных текстов, которые строятся на основании структурной схемы «без X нет Y» (*Без костей и рыбки не бывает*).

Загадка имеет игровую природу, конструирует мир, подчиняющийся законам алогизма. Иллокутивная доминанта загадки — угадывание реципиентом фрагментов реального мира, объективно оцениваемых как норма и зашифрованных с помощью метафоры, которая являет собой абсурд, алогизм и аномалию. В построении этой метафоры нередко участвуют *без*-конструкции: среди загадок распространены такие, которые предлагают отгадать денотат по необладанию неотчуждаемым / необходимым свойством и реализуют структурную схему «Y существует без X (хотя X является необходимым)» (*Без ног бежит <река>*).

Основная целеустановка заговора — магическое воздействие. Специфика заговорного слова заключается в его перформативности (понимаемой в широком смысле — как наличие у слова воздействующей

силы), и конструкции с предлогом и приставкой *без*, функционирующие в заговорном тексте, не исключение. Чаще всего *без*-конструкции возникают в заговорах, направленных на противостояние злу (лечебных, оберегах и пр.), при этом базовой функцией *без* становится функция магического уничтожения злых сил, которая реализуется с помощью ряда стратегий. Среди них — стратегия отрицания злых сил, когда «отрицание этих сил понимается как их уничтожение или устранение» [Толстая, 2008, 242] («Как Пресвятая Богородица Христа родила без мук, без болей, так бы и рабе Божьей (имя) родить без муки, без боли»); стратегия проклятия, направленного на мифологического противника («Как сей мертвец имярек умер без покаян(ь)я, так и ты умри без пок(аянья)»); стратегия инвективы — негативно-бранной характеристики объекта заговора («Иссохни, исчерни, нечистая сила, бездушная тварь») и пр.

Наконец, семантико-прагматическая доминанта обрядовых *п р и ч и т а н и й* (в первую очередь похоронно-поминальных и рекрутских) — «лишительность», т. е. идея лишения, отсутствия / недостачи чего-либо, которая лежит в основе центральной жанровой оппозиции (идиллическое прошлое противопоставляется трагическому будущему, связанному с потерей и утратой), формирует мотивную структуру текста и выражается лексико-семантическими средствами. Основное из них — лексико-словообразовательные каритивы — слова и сочетания с предлогом и приставкой *без*. В севернорусских причитаниях такие лексические единицы обладают высокой частотностью и называют отсутствие более чем ста пятидесяти разных объектов и явлений (например, *бессчастный, безотный, бесприютный, безумный* и мн. др.).

Толстая С. М. Пространство слова. Лексическая семантика в общеславянской перспективе. М., 2008.

Севернорусские наименования мест захоронений

Русское слово *кладбище* имеет соответствие в укр. *кладовище* и производно от **кладьба* ‘укладывание’, оно является табуистическим наименованием с исходным значением ‘место для складывания, погребения’ [см.: Фасмер, 2, 243]. В русских диалектах идеограмма «кладбище» широко разработана; в номинациях отражены различные признаки места.

Кладбище традиционно располагается на возвышенных местах, ср.: *бугрови́ца* ‘кладбище’ (влг.) [КСГРС], *гора́* ‘кладбище, расположенное на пригорке’ (костр.) [Даль, 1, 375], ‘кладбище’ (арх.), *гору́ша*, *гору́шка* ‘кладбище’ (арх.) [СРГК, 1, 376], *гору́шечка* ‘могильный холмик’ (влг.), ‘кладбище’ (арх.) [СРГК, 1, 376; АОС, 9, 373], ‘кладбище, расположенное на горе’ (влг.) [СВГ, 1, 125], *бе́лая гора*, *бе́лой го́рб* ‘кладбище’ (арх.) [АОС, 1, 159] и др.

Поскольку в русской традиции принято при захоронении насыпать могильный холм, лексемы, называющие кладбище, могут быть производны от наименований могил: *го́рбки* ‘кладбище’ (влг.) [СРГК, 1, 367], *моги́лёвская* ‘о могиле, кладбище’ (влг.) [СРГК, 3, 243], *моги́лёво* ‘могила’ (костр.) [КСГРС], *моги́лёвский го́род* ‘кладбище’ (карел.) [СРГК, 1, 373] и др.

Русское кладбище обычно расположено в лесу: *бор* ‘кладбище’ (влг., арх.) [СВГ, 1, 38; АОС, 2, 73], ‘могильник, кладбище, божья нивка, потому что там для кладбища выбирается суходол либо пригорье’ (арх., новг.) [Даль, 1, 118], *свезти (сволочить) на бор* ‘похоронить’ (арх.) [АОС, 2, 73], *борови́на*, *боро́к* (новг.), *борову́шка* (арх.) ‘кладбище’: «Боровушка близко, так не везут» [НОС, 1, 76, 78; АОС, 2, 80], *во́лок* ‘то же’ (новг.) [НОС, 1, 133] (ср.: *во́лок* ‘лес, лесной массив между двумя населенными пунктами, реками и т. п.’ (арх., влг.) [СГРС, 2, 154]) и т. п.

Особое происхождение у лексемы *вы́скирь* ‘староверское кладбище, место, где хоронят староверов’ (влг.) [Дилакторский, 74]: она связана с *вы́скирь* ‘вывороченное с корнем дерево’, ‘яма, оставшаяся в земле

после вырванного с корнем дерева' [СГРС, 2, 255]. По-видимому, интересующее нас значение производно от незафиксированного *'могила'.

Буёво 'кладбище' (олон., влг., арх., карел.) [Опыт, 16; Куликовский, 6; Дилакторский, 39; КСГРС; СВГ, 1, 48; АОС, 2, 166; СРГК 1, 132], *буёва* (арх.), *буёво* (влг.) [КСГРС], *буёвка* (олон.) 'кладбище' [Куликовский, 6], *буй*, *буйвище*, *буёвище* 'кладбище у церкви' (новг.) [НОС, 1, 97], *буище*, *бувище*, *бубище*, *буйвище* 'погост, место, где стоит церковь (обычно на возвышенности), место внутри ограды церковной' (арх.), 'кладбище, могилки, могильник' (арх., сев.) [Даль, 1, 138]. Ср.: др.-рус. *боуи* 'кладбище', которое, возможно, заимствовано из др.-швед. *bó* 'жилище' [Фасмер, 1, 234]. Если последнее верно, то в названиях исходно отражено представление о местах захоронений как жилищах умерших.

Поскольку нередко рядом с кладбищем для отпевания и поминания умерших располагали церковь, кладбище получало соответствующее наименование: *церковник* 'кладбище' (яросл.) [Мельниченко, 212]. Что касается лексем *монастырь* 'кладбище' (яросл.) [Даль, 2, 344; ЯОС, 6, 57], *манастырь*, *монастырь* 'место кругом церкви, внутри церковной ограды; кладбище' (влг.) [Дилакторский, 249], то здесь можно предполагать дополнительный мотивирующий момент: отражение восприятия умерших как членов единого религиозного сообщества.

Жальник 'кладбище' (влг., ленингр.) [КСГРС; СРГК, 2, 33], 'деревья, которые растут на месте старого кладбища' (влг.; арх.), *жальничик* 'то же' (ленингр.), *жальничек* 'кладбище' (новг.) [СРГК, 2, 33–34]. Известно ст.-слав. *жаль* 'гробница'; лексемы производны от глагола *жалѣть* 'печалиться, сокрушаться'.

Ограда (влг.), *оградка* (ленингр.) 'кладбище' [СВГ, 6, 25; СРГК, 4, 143]. Вторично от церковнославянского по происхождению *ограда* 'ограждение, забор, решетка'.

Погост 'всякое кладбище' (яросл.) [Даль, 3, 156], 'кладбище' (костр., помор., яросл., арх.) [ККОС, 255–256; Мельниченко, 149; Подвысоцкий, 125; Опыт, 162]; ср. литер. *погост* 'кладбище, обычно сельское (в старину — церковь в стороне от села с прилегающим участком и кладбищем)'. Значение 'кладбище' — из древнего 'гость на кладбище' (= 'покойник') по мотивам табу.

Повоз 'кладбище, куда возят покойников' (вят.) [Даль, 3, 140], *повост* 'церковь с кладбищем, землей и домами причта' (влг.) [СВГ, 7, 85],

‘кладбище’ (влг.) [КСГРС]. Значение, приведенное В. И. Далем, отражает внутреннюю форму слова. Для *повѣст* надо предполагать контаминацию с *погѣст*.

Подклáдѣще ‘кладбище’ (твер.) [Даль, 3, 241]. Вероятно, лексема представляет собой контаминацию *кладбище* и *подкладывать*, что отражает русскую традицию захоронения родственников на одном кладбище.

Покѡище ‘место погребения неотпетых покойников и погибших, умерших без покаянья и самоубийц’ (сев.) [Даль, 3, 243], *поко́йнище* ‘кладбище’ (арх.) [КСГРС]. Родственно глаголам *поко́бить* ‘окружать покоем, заботой, попечением’, *поко́биться* ‘неподвижно лежать (об умершем, прахе умершего)’, которые связаны чередованием с *почи́ть* ‘то же, что умереть’.

Роди́тельское мѣсто ‘кладбище’ (олон., сев.) [Даль, 4, 11]. Номинация отражает традицию почитания старших родственников.

Сутя́га ‘кладбище на горе’ (коми-перм.) [СРГКПО, 234]. Связано с *тяга*, *тянуть*, что позволяет говорить об исходном значении ‘протяженное пространство’.

Гробѡ́к ‘кладбище’ (арх.) [АОС, 10, 72]. Расширение значения диалектного производного от общенародного *гроб*.

Таким образом, номинации мест захоронений в русском языке отражают не столько топониматику, сколько разнообразные признаки места погребения, находящихся рядом объектов, элементы обряда, традиции почитания умерших.

АОС — Архангельский областной словарь. М., 1980—. Вып. 1—.

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. 2-е изд. СПб. ; М., 1880–1882 (1955).

Дилакторский — Словарь областного вологодского наречия. По рукописи П. А. Дилакторского 1902 г. СПб., 2006.

ККОС — Краткий костромской областной словарь / сост. Н. С. Ганцовская. Кострома, 2006.

КСГРС — картотека Словаря говоров Русского Севера (кафедра русского языка и общего языкознания УрФУ, Екатеринбург).

Куликовский Г. И. Словарь областного олонечкого наречия в его бытовом и этнографическом применении. СПб., 1898.

Мельниченко Г. Г. Краткий ярославский областной словарь. Ярославль, 1961.

НОС — Новгородский областной словарь : в 12 т. Новгород, 1992–1995.

Опыт — Опыт областного великорусского словаря, изданный Вторым отделением Императорской Академии Наук. СПб., 1852.

Подвысоцкий А. И. Словарь областного архангельского наречия в его бытовом и этнографическом применении. СПб., 1885.

СВГ — Словарь вологодских говоров : в 12 т. Вологда, 1983–2007.

СГРС — Словарь говоров Русского Севера. Екатеринбург, 2001–. Т. 1–.

СРГКПО — Словарь русских говоров Коми-Пермяцкого округа. Пермь, 2006.

СРГК — Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей : в 6 т. СПб., 1994–2005.

СРНГ — Словарь русских народных говоров. М. ; Л. ; СПб., 1965–. Вып. 1–.

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка : в 4 т. М., 1964–1973.

ЯОС — Ярославский областной словарь : в 10 т. Ярославль, 1981–1991.

А. В. Тихомирова

Уральский государственный медицинский университет, Екатеринбург
tikh-alexandra@yandex.ru

О системных отношениях переносных употреблений слов (на материале русской диалектной фразеологии)

В докладе рассматриваются отношения лексической системности, которые наблюдаются в сфере фразеологии. В составе идиоматических сочетаний, противоположных по значению, но сходных по структуре, могут быть представлены **о п п о з и т ы** — слова, чьи первичные значения не антонимичны, но переносные употребления обладают противоположными смыслами. Слова, находящиеся в одной и той же позиции в составе различных фразеологизмов, близких по своей структуре и семантике, могут выступать в качестве своеобразных дублетов; такую «синонимичную» пару в условиях переносного употребления можно назвать **с и м и л я р а м и**.

Указанные типы отношений будут анализироваться на материале русской диалектной, общенародной и просторечной фразеологии. Наиболее показательны устойчивые выражения, включающие в качестве компонентов слова одной тематической группы. Для анализа выбраны

фразеологизмы, в составе которых фигурируют названия одежды и обуви. Большая часть идиоматических сочетаний содержит общенародные обозначения элементов костюма, незначительное использование диалектных наименований одежды можно объяснить их меньшей коннотативной нагруженностью.

В качестве симиляров чаще всего выступают лексемы, называющие предметы одного «уровня» костюма: вид обуви, вид нательной или верхней одежды, вид головного убора. Так, наименования обуви (*лапотъ, сапог, галоша, башимак*) в разных фразеологических единицах могут заменять друг друга, ср. общенар. *сапоги всмятку* ‘о бессмыслице, чепухе’ — орл. *башимак всмятку* ‘то же’; новг. *как в лапотъ ступить* ‘об удачном поступке, действии, событии, об удачно складывающихся обстоятельствах’ — новг. *как в сапог ступить* ‘то же’; общенар. *в сапогах (бегать, щеголять, ходить)* ‘о том, что очень дорого стоит’ — пск. *в галошах (быть)* ‘то же’. Обозначения одежды и ее частей (*портки и штаны, рубашка, белье и лопоть, юбка и подол, подол и сарафан*) выступают в составе сходных выражений: печор. *сарафаном трясти, подоломи трясти* неодобр. ‘кокетничать, заигрывать с мужчинами’; пск. *те же штаны (портки) только назад (наоборот, вниз) гашиником* <поясом> шутол. ‘то же самое, но названное или сделанное по-другому’. Названия головных уборов, вступающие в симилярные отношения, представлены только парой *шапка* — *шляпа*, ср. общенар. *дело в шляпе* ‘об удачном исходе чего-л.’ — прост. *дело в шапке* ‘то же’.

Подобные отношения «синонимии» переносных употреблений характерны и для слов, означающих разнокатегориальные элементы одежды. Так, признак покрытия, «надетости» поверх чего-либо, представленный в образном названии околоплодного пузыря, выражается с помощью лексем *рубашка* и *шапка* (общенар. *родиться в рубашке* и курск. *родиться в шапке* ‘быть удачливым, везучим’). Заменять друг друга в устойчивых выражениях могут наименования элементов всех «уровней» костюма, при этом одна и та же пара названий может обнаруживать различные мотивационные признаки. Например, в некоторых синонимичных фразеологизмах фигурируют *шапка* и *лапти*; при этом выражения яросл. *спать под шапкой*, прикам. *спать в лаптях* ‘много работать’ содержат идею необходимости этой одежды при выполнении повседневной работы, а в составе общенар. *лаптем щи хлебать, шапкой щи хлебать* ‘о чьей-л. некультурности,

отсталости' ироничное сближение шапки и лаптя с ложкой при описании абсурдного действия подчеркивает «простонародность» этих предметов костюма.

Отношения симилиярности помогают выявить сходство коннотативного фона наименований одежды: к примеру, сходные коннотации лексем *лапоть* и *сарафан* лежат в основе пск. *лапотная почта* и новг., яросл. *сарафанная почта* 'женщина, любящая распространять сплетни'.

Оппозитами всегда являются наименования одежды и обуви, относящиеся к одному «уровню» костюма, — к головным уборам (*плат* — *шапка*), одежде (*рубаха* — *платье*, *подол* — *портки*, *сарафан* — *штаны*), обуви (*сапоги* — *лапти*). Фразеологизмы, в составе которых встречаются лексемы *сапог* и *лапоть*, характеризуют социальный статус «носителей» этой обуви, ср. *сапог лаптю не дружка* шутол.-ирон. 'разные по социальному статусу люди не могут быть друзьями', «Лапоть знай лаптя, а сапог сапога!». Эта пара может использоваться и при гендерном противопоставлении, ср. арх. *ступить сапогом в дом* 'родить первым мальчику' и арх. *ступить лаптем (в дом)* 'родить первой девочку', а также «Жена — не лапоть, с ноги не снимешь» и «Муж не сапог, не снимешь с ног». Гендерные коннотации являются основными и для ряда других оппозиций: прикам. *ехать по рубаху* обрядов. 'о визите жениха к родителям невесты незадолго до свадьбы за приготовленной невестой рубашкой' — прикам. *на платье ехать* обрядов. 'о визите жениха к родителям невесты незадолго до свадьбы с платьем для невесты'; диал. шир. распр. *дать плат (платы, платок)* 'дать согласие на брак' — пск. *шапку в лохань (вкинуть)* 'об отказе невесты при сватовстве'.

Специфика симилиярных и оппозиционных отношений между конкретными лексемами зависит как от внутренней формы и семантики фразеологической единицы, в составе которой они выступают, так и от собственного спектра коннотаций, присущих наименованиям одежды или обуви.

Из лексики древнего славянского права:

**kļetva, *rota, *prisęga, *věra*

Приведенные в заглавии праславянские слова объединены семантикой клятвы (присяги, обязательства), вхождением в однотипные формулы типа *вести* (*приводить*) к клятве; *идти*, *приходить* к клятве; *дать* (*давать*, *принести*) клятву; *держать* клятву; *ломать* (*рушить*, *топтать*, *преступать*) клятву и др., а также регулярным совместным употреблением, например: *кļатва и рота*, *рота и присяга*, *вера и рота* и т. п.

В «Повести временных лет» под 907 (6415) г. сообщается о договоре Олега с греками: «миръ сътвориша съ Ольгѣмъ, имѣшеся по дань и ротѣ заходя въше межю собою, цѣловавъше сами крѣсть, а Ольга водивъше на роту и мужа по русьскому закону, и кляшася оружиемъ своимъ, и Перуномъ, богомъ своимъ, и Волосѣмъ, скотиемъ богомъ, и утвърдиша миръ». При описании договора 945 (6453) г. используется та же терминология: «...да на роту идуть наша хръстяная Русь по вѣрѣ ихъ, а нехръстянии по закону своему... Аще ли же кѣто отъ князь или отъ людии Русьскихъ, ли хръстянъ, или не хръстянъ преступитъ се, еже есть писано на харатии сеи, будетъ достоинъ своимъ оружиемъ умрети, и да будетъ клять отъ Бога и отъ Перуна, яко преступи свою клятьву». Древнейшие примеры употребления терминов *вѣра* и *рота* (*кļатва* и *prisęga* не отмечены) можно найти в новгородских берестяных грамотах [см.: Зализняк, 2004]: *въходить ротѣ* (№ 834, XII в.), *заходиле роте* (№ 705, XIII в.), *не ходи ротѣ* (№ 877/572, XII в.), *увѣдаѣтсѧ в вири* (№ 154, XV в.), *несми вѣрѣ соулиле* (№ 820, XII в.), *даіте конница вѣрѣ* (№ 579, XIV в.), *въ вѣрѣ уроклѣ* (№ 724, XII в.).

Этимология и семантика данных слов отражают историю формирования соответствующих юридических понятий и ритуалов сначала в рамках дохристианского права, неотделимого от древнейшей мифопоэтической традиции [см.: Грковић-Мејџор, 2015; Живов, 2002; Иванов,

Топоров, 1978, 1981; Katičić, 1985, 1990; Unbegaun, 1969; и др.], а затем в контексте правового дискурса христианской эпохи.

***kletva** — в одних славянских языках имеет значение ‘проклятие’ (от глагола **kleti* ‘ругать, бранить, проклинать’), в других — ‘клятва’, ‘заклинание’ (от возвратного глагола **kleti se* ‘приносить клятву, клясться, присягать’). Из этого следует, что исходный смысл клятвы — это брань, проклятие, адресованное самому себе (ср. рус. клятвы-самопроклятия типа «Чтоб мне сквозь землю провалиться!», произносимые для подтверждения правоты своих слов). Акциональным вариантом этого вида клятвы можно считать обычай самонаказания как юридического доказательства (ср. у русских, сербов и др. обычай носить на голове, на спине, в руках большие глыбы земли в знак отрицания своей вины в нарушении границ земельных наделов или являться в суд с камнем на шее). Согласно одной из этимологических версий (А. Брюкнер), **kleti* связано с **kloniti* и отражает обычай при принесении клятвы наклоняться к земле.

***rota** — не имеет общепризнанной этимологии; в значении ‘клятва’ известно в разной степени всем славянским языкам (в частности, русским диалектам [см.: Даль; СРНГ]); производный от имени глагол **rotiti (se)*, как и **kleti (se)*, может иметь значение ‘ругать, проклинать’ (ср. рус. орл., влг. *rotить* ‘ругать, бранить, проклинать’ и др.).

***prisega** — наиболее прозрачный в отношении мотивации термин, производный от глагола **segti* ‘дотягиваться, касаться’ и отражающий, по общему мнению, дохристианский обычай прикасаться к земле как святыне в знак клятвы (ср. другую «ритуальную» мотивировку: рус. *цѣлование* ‘присяга’, *привести к цѣлованию* ‘привести к присяге’ [Даль]).

***věra** — в отличие от предыдущих терминов, имеющих главным образом юридическое значение и функции, обладает широким кругом значений (прежде всего религиозных и этических); юридическая семантика, кроме древних текстов, где **věra* означает ‘обязательство, договор, соглашение’ [Грковић-Мејџор, 2015], сохраняется в некоторых языках и диалектах: пск. *vera* ‘присяга, клятва’, кашуб. *ívarovac sq* ‘клясться’, макед. *вери вера, врзе вера* ‘дать слово, поклясться’, *држи вера* ‘исполнить обещание, клятву, обет’, *прави вера, стори вера, чини вера* ‘поклясться’, а также и прежде всего в свадебном дискурсе, представляющем собой особую разновидность права: с.-х. *верити се*

‘обручаться, заключать помолвку’, *веридба* ‘помолвка, обручение’, *вјереник* ‘жених’, *vjeriti* ‘обвенчать’, *vjeriiti se za kim, kime* ‘заключить брак с кем-л.’; макед. *вереник* ‘жених’; черногор. *вера* ‘обручальное кольцо’; словац. *vereník*, укр. *вірник* ‘жених’, рус. диал. *из веры выйти* ‘расторгнуть помолвку’ и др.; польск. литер. *nie dochować wiary* ‘нарушить супружескую верность’; в.-луж. *wěrować* ‘венчать, сочетать браком’, *wěrować so* ‘венчаться, вступать в брак’, *wěrowanje* ‘бракосочетание’, *wěrowanski* ‘брачный, свадебный’, *wěrowanski ćah* ‘свадебная процессия’, *wěrowanski pjeršćen* ‘обручальное кольцо’; н.-луж. *wěrować* ‘обвенчивать, обвенчать’, *rozwěrować* ‘разводить, развести’, *wěrowańe* ‘бракосочетание’, *wěrowaństwo* ‘венчание, брак, супружество’, *wěrowaŕ* ‘священнослужитель при бракосочетании’, *wěrowaŕski* ‘венчальный, свадебный’.

Грковић-Мејџор Ј. Формуле са именицом *вѣра* у старосрпском језику // *Philologica Slavica Vindobonensia*. Frankfurt am Main ; Berlin ; Bruxelles ; New York ; Oxford ; Wien. В печати.

Живов В. М. История русского права как лингвосемиотическая проблема // В. М. Живов. Разыскания в области истории и предыстории русской культуры. М., 2002. С. 187–305.

Зализняк А. А. Древненовгородский диалект. М., 2004.

Иванов В. В., Топоров В. Н. О языке древнего славянского права (к анализу некоторых ключевых терминов) // *Славянское языкознание. VIII Международный съезд славистов. Доклады советской делегации*. М., 1978. С. 221–240.

Иванов В. В., Топоров В. Н. Древнее славянское право: архаические мифопоэтические основы и источники в свете языка // *Формирование раннефеодальных славянских народностей*. М., 1981. С. 10–31.

Katičić R. Ispraviti pravdyq // *Wiener Slavistisches Jahrbuch*. 1985. № 31. S. 41–46.

Katičić R. Praslavenski pravni termini i formule u Vinodolskom zakonu // *Slovo*. Zagreb, 1990. Sv. 39–40 (1989–1990). S. 73–85.

Unbegaun B. O. Selected Papers on Russian and Slavonic Philology. Oxford, 1969.

П. Томасик

Университет Казимежа Великого в Быдгоще, Быдгощ (Польша)
piotrust@rambler.ru

Еще раз о границах ономастики

Ономастика — сравнительно молодая и динамично развивающаяся область языкознания. Многие ономастические исследования сегодня доступны в сети Интернет, что способствует созданию единого научного пространства, однако до сих пор наблюдаются существенные различия в подходах разных ономастических центров. Уже давно А. В. Суперанская обращала внимание на то, что представителям разных школ необходимо сотрудничать активнее, проводить совместные работы по ономастике. Пока это пожелание далеко от реальности, и расхождение позиций ученых порой создает трудности в научных контактах.

При сопоставлении подходов разных научных школ сегодня ощутимы различия как в самом понимании ономастики, так и в более частных вопросах: в использующейся терминологии (выбор терминов, объем их значений), сферах интересов ученых-ономастов и т. д. — примеров подобных разногласий достаточно много. Ниже приведены некоторые из них, связанные с пониманием границ ономастики — эти примеры выявлены при сопоставлении позиций польской, чешской и российской научных школ.

- Самые значительные различия связаны с изучением такой сферы, как названия серийных продуктов.

- Ощутимы различия в трактовке названий, которые включают в себя некие «шифры» (они могут казаться техническими) и цифры. Где проводить границу между чисто техническим обозначением и словесным названием? Возможно ли их разделять? Стоит ли включать цифровые обозначения в зону интересов ономастов? Какие цифры считать названием? Как различить названия, состоящие из цифр, и порядковые номера, и имеет ли это значение для ономастов? Представляется, что для ответа на поставленные вопросы решающим во многих случаях может стать выявление мотивации. С этой целью можно привлекать к рассмотрению рекламные тексты, описывающие товар, однако при

этом необходимо соблюдать осторожность: иногда такие тексты могут привести к ложным выводам. Следует также отметить, что названия-«шифры» нередко являются дублетами словесных названий: они различаются только сферой применения.

- Существуют теории, согласно которым имя собственное способно выполнять лишь указательную функцию, но не несет никакой информации. В том случае, когда перед нами названия продуктов человеческой деятельности, такой взгляд порождает множество трудностей в их изучении.

- Как определить, имеем ли мы дело с именем единичного (отдельного) предмета или с именем единственного представителя серии (например, опытного экземпляра или последнего сохраненного объекта, скажем, в музее)?

Несомненно, названные проблемы очень интересны для исследования. Вопрос о том, кто будет заниматься ими — ономасты или другие ученые, возможно, является второстепенным. Однако языковые единицы, о которых идет речь, образуют в наши дни очень большой класс, и их нельзя оставлять без внимания. При изучении этих единиц необходимо обязательное общение ученых (причем не только лингвистов) и обмен опытом на международной арене.

Пер. с польск. Ю. А. Кривошаповой

С. Томасик

Университет Казимежа Великого в Быдгоще, Быдгощ (Польша)
samuela.tomasik@onet.eu

Торговые названия лекарственных препаратов в Польше и России

В современном мире **фармаконы** — торговые названия лекарственных препаратов — являются очень многочисленной и быстро развивающейся группой имен собственных. Связанные с ними вопросы пока недостаточно изучены, поэтому автор намерен посвятить свой

доклад месту фармаконимов в системе имен собственных, а также их сопоставлению в польском и русском ономастиконах.

Торговые названия лекарственных препаратов во многих отношениях являются особым типом онимов. Для их анализа исследователю необходимы знания не только в области языковедения, но и в области медицины, фармации, законодательства — лишь обладая всеми этими знаниями в комплексе, можно приступать к результативному анализу данной группы имен собственных. Соответственно, сравнение фармаконимов в разных языках и разных странах — довольно сложная задача, при решении которой необходимо учитывать различные факторы: как собственно языковые, так и внеязыковые.

В докладе будут представлены результаты сравнения польских и русских торговых названий лекарственных препаратов. Главные различия между ними лежат в областях медицины и права. Поэтому при изучении имен данного типа автором учитывались требования, определяемые министерствами здравоохранения Польши и Российской Федерации. В докладе предполагается подробно рассмотреть способы выполнения этих требований в польском и русском ономастиконах.

С. Торкар

Институт словенского языка Словенской академии наук,
Любляна (Словения)
silvot@zrc-sazu.si

Варианты форм с переходом $v > g$ и $b > g$ в словенской топонимии

Наблюдаемая в диалектах и памятниках письменности вариативность форм v и g , b и g имеет разную природу.

1. Вариативность протезы v - и g - в словах с начальным o -: ср. **qsenica* > ст.-слав. *жъѣница*, болг. *въсѣница*, слов. топ. *Vuzenica* (1845 г., *v Vusenica*h), рус. *гусеница*; **qžь* ‘змея’ > словен. *gož*, польск. *wąż*.

2. Появление g на месте v (редко также b) в результате иноязычной (латинской, немецкой) субституции славянского v (b) в антропонимии

и топонимии: *Sclaomir*, Abodritum rex (819 г.) и *sclagamarus*, princeps Marahensium (870 г.) [Miklosich, 1860, 97] из *Славомир*; *Slougenzin marcha* (860 г.), название земли [Kos, II, 132], возможно, из **Sloven-*, если не из германского антропонима [Ramovš, 1936, 4]; нем. *Schlammersdorf*, город в Баварии: *Slagamaresdorf* (1050 г.), *Slagemarsdorf* (1169 г.) [Schwarz, 1960, 258] из *Славомир*; *Slagómarje*, деревня в восточной Словении, в записях *Zlogomer* и т. п. начиная с XIII в., из **Slavomirje*; *Vižmarje*, часть Любляны, (*Geysmerstorf* и т. п.), из **Vyšemirje*; *Žimarice*, *Žigmarice* в Нижней Крайне (< **Živomirica*), нем. *Schigmaritz*; *Gladomés*, топоним в Штирии < антропоним **Vladomyslъ*; *Visole, na Visolah*, в старых источниках *Gyzubel*, *Gisuebel*, windisch *Gissule* (1822 г.); *Golnik* в Верхней Крайне: *Wollenick* и *Wolnikh* (XV в.), *Glaunik* и *Glovník* (1689 г., 1823 г.), по-немецки впервые в 1483 г. как *Gallenberg*, объясняемые в работах Пинтара, Безлая, Сноя без учета средневековых записей из славянской основы **gol-* (как в *голый*); *Sogesclaua* (< **Soběslava*) и *Soguasclaua* (< **Soboslava*), имена славянских паломниц (IX–X вв.) [см.: Kos, II, 250, 253].

3. Изменение $v > g$ и $g > v$ фонетического характера:

$zv > zg$ в словен. *zvon* ‘колокол, звон’ > *zgon* и $dv > dg > g$ в *dvor* ‘часть двора, где находится навоз’ > *gor* [Štrekelj, 1922, 132; Ramovš, 1924, 160–161] с исторически засвидетельствованным отражением перехода $v > g$ в топониме *Zgonik* (вторая половина XVI в.); *gorica* ‘подворье’ < **dvorica* [Šivic-Dular, 1996, 447];

$v > g$ наблюдается в словенской топонимике: *Igovca*, название леса в окрестностях Триеста, из **Ivovica*, ср. в словаре Плетершника *iga* для *iva* ‘ива’ [Merkù, 2004, 148]; *Grulja*, гидроним в районе Карста < *vrulja* [Furlan, 2013, 137].

В отдельных славянских диалектах представлен вариант с начальным *g-* для **vorbyjъ*: словен. *vrábec* и *grábec* ‘воробей’ (в словарях еще в XVI в.), укр. *горобец* [Bezljaj, IV, 349], ср. топоним *Grabče* (Верхняя Крайна) и *Vrabče* (Карст) с начальным *g-* (*Grabis* 1300 г., *Grabesh* 1668 г., *Grabische* 1782 г.) и с начальным *v-* (*Vrabitsch* 1499 г.) и даже без *g-* и без *v-* (*Rabtsche*, *Rabetsche* ок. 1780 г.);

$g > v$: *Radvanjca* (диал. для *Radgonica*) в Нижней Крайне и *Vodiča vas* (диал. для *Godiča vas*, нем. *Gödersdorf*) в австрийской части Каринтии;

$b > g$ предположительно находит отражение в двух исторических записях топонимов *Boričevo*, Нижняя Крайна: *Boriczha* 1368 г., *Boritsche*

1476 г., *Gorischew* 1477 г., *Goriczhevo* 1780 г., *Woritsche* 1823 г., *Borizhevo* 1843 г., *Boričevo* 1894 г.; из патронима **Borič* (< **Boritjъ*), от антропонима **Borislavъ*. Для топонима *Gorjansko* в приморской области Карст (*Wariansch* 1252 г., *de Voriansco* / *Voriansci* 1308 г., *de Goranscho* 1344 г., *de Goriansco* 1352 г., *de Vorianscho* 1358 г., *de Wriansc(h)o* 1404 г., *Goriansk* 1494 г., *de Sgorianscho* 1525 г., *de Scurianschega*, *Sgorianschiega*; *de Gorianscho* 1584 г. и *Koriansco* 1692 г., *Coriansco* 1642 г., *Goriansca* 1780 г., *Goreanska* 1819 г.) допустима возможность развития из **Dvorjansko*, но поскольку существует много случаев, когда начальное *v-* в XII–XIV вв. передавало этимологическое *b-*, можно исходить из **Borjansko*, а последнее от названия жителей **Borjane*. *Borjane* < ЛИ **Bor* < антропоним **Borislav* и т. п., но не из апеллятива *bor*, так как боровые деревья, как показывает палеонтологический анализ, здесь никогда не росли. Топоним *Gorjuše* (нем. *Gariusch*, в австрийской части Каринтии) и диал. *Brjuše*. Для топонима *Gorjuša* (к северу от Любляны) запись 1410 г. «*Nider gorius, gehulcz Werius*» отражает вариантное произношение с *g-* и с *b-*. Топоним *Godovič*, по свидетельству языковеда Пинтара [Pintar, 1913, 371], в соседней Полянкой долине произносят как *Bodovič*. Топоним *Poštena vas* в Нижней Крайне в источнике 1780 г. записан как *Gostena* и как *Postenavas*. Весьма вероятно, что топоним следует реконструировать как **Gostenja vьsz* от личного имени **Gostenъ*.

4. Можно отметить случаи перехода *v > g* по диссимиляции. Ср. *Golovec* в центре Любляны (до середины XVIII в. записи *Volovec*, от личного имени **Volimir*); *Golovica*, нем. *Wolfnitz*, в Каринтии, *Válovca*, нем. *Wolfnitz*, в Каринтии, оба топонима из **Volovica*, от личного имени **Volimir*; *Črgoviče*, нем. *Tscherberg*, в Каринтии, из **Črvoviči*, *Golavabuka* в Штирии, из **Voljava bukev* («зобатый бук»).

Чальков М. Началното консонантно редуване *g- : v-* в славянските езици // Славистичен сборник: По случай VI Международен конгрес на славистите в Прага. София, 1968. С. 18–25.

Bezljaj F. Etimološki slovar slovenskega jezika. I–V. Ljubljana, 1976–2007.

Furlan M. Novi etimološki slovar slovenskega jezika. Ljubljana, 2013.

Kos F. Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku (do leta 1246). I–V. Ljubljana, 1902–1928.

Merkù P. Toponomastični ocvirki // Jezikoslovni zapiski. 2004. L. 10. Št. 2. S. 147–150.

- Miklosich F.* Die Bildung der slavischen Personennamen. Wien, 1864.
Pintar L. O krajnih imenih XII // Ljubljanski zvon. 1913. Št. 7. S. 365–371.
Ramovš F. Historična gramatika slovenskega jezika. II. Konzonantizem. Ljubljana, 1924.
Ramovš F. Kratka zgodovina slovenskega jezika. I. Ljubljana, 1936.
Schwarz E. Sprache und Siedlung in Nordostbayern. Nürnberg, 1960.
Štrekelj K. Historična slovnica slovenskega jezika. Prevalje, 1922.
Šivic-Dular A. Slovensko *gorica* / *zorica* 'dvorišče', '(vaški) trg, ograda' // Slavistična revija. 1996. L. 44. Št. 4. S. 437–449.

Е. С. Узенёва

Институт славяноведения РАН, Москва
lenuzen@mail.ru

Культурный диалект болгар-мусульман Средних Родоп*

Доклад основывается на этнолингвистическом подходе к исследованию славянских диалектов: он базируется на идее о том, что «диалект (равно как и макро-, микродиалект) представляет собой не исключительно лингвистическую территориальную единицу, а одновременно и этнографическую, и культурологическую, если народную духовную культуру выделять из этнографических рамок» [Толстой, 1995, 21]. Это дает возможность изучать факты традиционной народной духовной культуры с помощью лингвистических и, в более широком смысле, семиотических методов. Особое внимание в этнолингвистике уделяется исследованию ареальной дифференциации терминологической лексики народной духовной культуры в соотношении с экстралингвистическим контекстом. С. М. Толстая указывала, что «каждый термин, <...> входящий в лексическое поле культурной реалии, представляет собой как бы заглавие определенного текста, его вербальный символ, превращенный в наименование реалии» [Толстая, 1989, 221].

* Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ № 14-04-00592а «Актуальные этноязыковые и этнокультурные проблемы современности: этнокультурная и этноязыковая ситуация — языковой менеджмент — языковая политика».

Согласно мнению А. А. Плотниковой, культурный диалект — это локальная традиция народной духовной культуры, явления которой могут быть «как закреплены в языке терминологически, так и не выражены на уровне языка (лексики и фразеологии), причем опыт работы в области ареальной этнолингвистики свидетельствует о следующей закономерности: ареалы самих явлений шире распространения отражающей их терминологии» [Плотникова, 2013, 356]. Своеобразен, к примеру, культурный диалект помаков (болгар-мусульман) области Кырджали: в этом мы могли убедиться во время совместной экспедиции с А. А. Плотниковой в с. Аврен Крумовградской области, регион Кырджали в Восточных Родопх (2001 г.).

В основу настоящего доклада легли полевые материалы, собранные нами во время экспедиций к помакам 2012–2014 гг. Помаки (*българи мюсюлмани, помаци, ахряне*) представляют собой специфическую культурно-конфессиональную группу, которую отличает пограничный культурный статус в болгарском обществе: это болгары, славяне, говорящие на болгарском языке, но исповедующие иную по сравнению с христианами религию.

В Родопх совместно проживают представители различных конфессий. Сожительство двух религий всегда было мирным. Большая часть населения, исповедующего ислам, помнит о своих христианских корнях. В погребальной обрядности мусульман сохранились некоторые христианские реликты: покойника охраняют ночью, чтобы его не перепрыгнула кошка; жгут свечу при умершем или оставляют в течение трех дней зажженной лампу в доме; после поминок на 52 день (*мевлид*) произносят долгую молитву (*аминка*).

Первое угощение после рождения ребенка, происходящее во время обряда посещения новорожденного женщинами, носит у помаков название *молитва*. На сороковой день после родов женщина совершает обряд «очищения» (*къркладисва*), подобный христианскому, провожая Богородицу (*Мехрем Анайка*), помогавшую в родах.

Традиционная культура болгар-мусульман исследованных сел содержит, помимо христианских, и языческие компоненты: обряды Юрьева дня, Ивана-Купалы (*Еньовден*), обычай установления ритуального родства (кумления) между девушками (*посестримство*) и др. Сохранилось и название недели с Рождества до Крещения, связанное с представлениями о разгуле злых сил в этот период, — *Буганска*

седмица (буганец, ср. *поганец* ‘злой дух, караконджул, дух-покровитель дома’).

Отдельные архаические элементы обрядности связаны с определенными днями календаря, в частности с Юрьевым днем, который у болгар-мусульман сохранил славянское название *Гергивдень*. Юрьев день здесь сохраняет символику начала не только весеннего цикла, но и нового года: с ним связаны общие ритуалы первого умывания специально приготовленной накануне водой / росой, сбор трав, превентивные меры против магии, змей и др.

В традиционной культуре болгар-мусульман присутствует ряд явлений, сходных с явлениями культуры соседнего христианского населения, что объясняется их общим происхождением. Эти элементы можно отнести к архаическим компонентам народной культуры, которые могли модифицироваться под влиянием религиозной и региональной традиции. Элементы мусульманской культуры касаются главным образом религиозных отправлений и взглядов (обряды погребального цикла; *сюнет* — обрезание в родильной обрядности; праздники типа Байрама: *Курбан Байрем* или *Голем Байрем*, *Малък Байрем* или *Шекер Байрем*, *Рамазан*, *Ашууров месец* и др.) и включаются в общую канву праздничной обрядности, характерной для болгар-христиан. При более компактном календаре в сравнении с разветвленной системой православной календарной обрядности действует компенсаторный механизм по принципу замещения, усиления магических действий в различных ритуалах.

Плотникова А. А. Южные славяне в балканском и общеславянском контексте: этнолингвистические очерки. М., 2013.

Толстая С. М. Терминология обрядов и верований как источник реконструкции древней духовной культуры // Славянский и балканский фольклор. Реконструкция древней славянской духовной культуры: источники и методы. М., 1989. С. 215–229.

Толстой Н. И. Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. М., 1995.

К вопросу о языковой принадлежности одного топонима*

Название острова *Santa* близ Истрии известно по одному источнику (Gaius Julius Hyginus, Fab. 23), и на сегодняшний день существуют две его основные лингвистические атрибуции. Согласно одной, перед нами венетское географическое название [см.: Dogia, 1972, 28]. Эта теория основывается прежде всего на том, что венетскому языку известны формы на *cant-*. В связи с этим следует обратить внимание на два момента. Во-первых, в нашем распоряжении имеются лишь венетские антропонимы, хотя при весьма ограниченном корпусе венетского данный факт не является ключевым. Больше вопросов вызывает включение Истрии в зону распространения венетского языка. Конечно, многие исследователи вслед за Ю. Унтерманном рассматривают истрийские личные имена в увязке с венетскими, но в данном случае мы имеем дело с антропонимическим комплексом, зона распространения которого может и не совпадать с ареалом языков, на что накладывается и то обстоятельство, что сами эти языки известны практически исключительно по ономастике. Об этом комплексе вопросов см.: [Фалилеев, 2013; Falilejev, 2014, 19–20]. Следует также добавить, что археологические исследования подтверждают существенные различия между территориями, населяемыми венетами и истрами. Примечательно, что при этом обнаруживается значительное влияние венетов на истров в материальной культуре, и можно только сделать предположение, не появились ли собственно венетские имена на Истрийском полуострове вследствие этих контактов.

Кельтская языковая атрибуция названия острова принадлежит Кс. Деламарру [см.: Delamarre, 2012, 102], который проинтерпретировал его как «круглый (остров)». Действительно, галльск. **canto-* хорошо известно в кельтской топонимии Европы, хотя имеются и некоторые

* Работа выполнена в рамках проекта РГНФ № 14-04-00351.

© Фалилеев А. И., 2015

проблемы в анализе собственно галльских форм. Французский исследователь приводит удачную параллель: вблизи от берегов Уэльса находится остров *Ynys Gaint*, и валлийское название восходит именно к этой протоформе. Несмотря на формальную непротиворечивость анализа Деламарра, эту гипотезу следует отклонить. Дело в том, что в таком случае название острова оказывается изолированным: на территории Истрии нет других кельтских топонимов, а, как известно, в этой части Европы географические названия кельтского происхождения появляются исключительно группами [см.: Falileyev, 2014, 11–12], и кельтская лингвистическая атрибуция данного несонима ни в коем случае не является обязательной. Более того, в статье, специально посвященной проблеме «Кельтской Истрии», мною будет показано, что в нашем распоряжении не имеется никаких данных (археологических, исторических или эпиграфических), свидетельствующих о присутствии на территории полуострова групп, говорящих на раннекельтских диалектах.

Таким образом, кельтская гипотеза Кс. Деламарра должна быть отклонена, а предположение Дориа наталкивается на определенные сложности. В том случае, если язык древних истров был отличен от венетского, что представляется вполне вероятным, перед нами возникает целый комплекс проблем и, в частности, вопрос о том, как язык истров связан с языком (или языками) соседствующих либурнских племен (при существующей разнице материальных культур). О языке либурнов, как и о языке истров, ничего не известно, и все, чем мы располагаем на сегодняшний день, — это данные топонимастики. Как было показано мною в работе, посвященной анализу другого реликтового языка, ранее включенного в понятие «иллирийский», изучение паннонской топонимии не позволяет сделать далеко идущих выводов [см.: Фалилеев, 2013, 298–301]. Подобный скептицизм обоснован и в этом случае: сходные топонимы неизвестны «иллирийскому» (в широком смысле этого термина) ареалу, а морфологическая модель его слишком тривиальна, чтобы делать какие-либо выводы. Можно лишь предположить, что язык, на котором был создан несоним, как и другие географические названия Истрии, относится к языкам типа «кентум» и, возможно, сохраняет и. -е. **t*. Однако главная проблема его лингвистической идентификации кроется в источнике, содержащем несоним. Опираясь на него, как свидетельствуют историки, нельзя определить реальное местоположение

острова: он может локализоваться как «напротив Пулы», т. е. в зоне проживания истров, так и в либурнской части полуострова. Более того, само написание несонима в рукописи проблематично. В связи с этим любая попытка определения его лингвистической принадлежности является исключительно умозрительной и, в отсутствие надежной такономии языков и диалектов Северной Адриатики, — бессмысленной.

Фалилеев А. И. Pannonio-Illyrica // Современные методы сравнительно-исторических исследований : материалы VIII Междунар. науч. конф. по сравнительно-историческому языкознанию. М., 2013.

Delamarre X. Noms de lieux celtiques de l'Europe ancienne. Paris, 2012.

Doria M. Toponomastica preromana dell'alto Adriatico // Antichita Altoadriatiche. 1972. № 2. P. 17–42.

Falileyev A. In search of the Eastern Celts. Studies in geographical names, their distribution and morphology. Budapest, 2014.

О. Е. Фролова

Московский государственный университет, Москва
olga_frolova@list.ru

Метафора живого и неживого в малых фольклорных жанрах

Проблема телесности связана с тем, как человек воспринимает мир, соотнося его с собой, создавая языковые метафоры, позволяющие представить реальность как антропоцентричную и часто антропоморфную сущность.

Наша цель — показать, как в жанре загадки работают механизмы антропоцентризма и антропоморфизма при кодировании различных денотатов, когда загадка прибегает к телесному коду. Материалом послужил сборник [Садовников, 1960]. Предмет анализа — существительные, называющие неотделяемые части тела, которые наделены одной (*глаз, ухо*) или несколькими сложными функциями (*голова*). Подробней остановимся на функционировании в энигматических текстах слова *голова*.

© Фролова О. Е., 2015

Загадка создает свои жанровые метафоры, выстраивая неполные тождества или отрицая тождества, но при этом опирается на переносы, зафиксированные в системе языка. Так, уже [САР, 1, 177] в конце XVIII в. дает фигуративное значение слова *голова*, сохранившееся и в современном языке: ‘начальник, старшина, наибольший, главный над кем или в каком месте’. Предикатное употребление слова *голова* отражено в примере: *Без рук, Без ног, Всем голова* (опара) [Садовников, 1960, 76, № 486].

Голова как часть тела без детального описания органов представлена в ряде текстов, построенных на отрицании тождества или отождествлении функций [см.: Левин, 1978, 291]: *Кто не имеет ни головы, Ни рук, ни ног, а везде Ходит и всех обманывает?* (безмен) [Садовников, 1960, 75, № 483].

В составе тела голова мыслится как важнейший орган. Наличие в тексте загадки словосочетания, построенного по модели «числительное + существительное *голова*», свидетельствует о том, что денотат — сложная ситуация с несколькими участниками. Ср. примеры: *Шесть ног, Две головы, Один хвост* (верховой); *Три тулова, Три головы, Восемь ног, Железный хвост, Кованый нос* (соха с бороною); *Десять ног, Десять рук, Пять голов, Четыре души* (покойника несут) [Садовников, 1960, 131, № 1033; 141, № 1201; 241, № 2220].

Голова является самой верхней точкой тела и связывается с прямохождением. В этом также отражается антропоморфность телесной метафоры, поскольку голова животного может быть ориентирована иначе: *Стою ли я над головой — прямо стою. Стою ли я под ногами — прямо стою* (гвоздь в сапоге) [Садовников, 1960, 97, № 689].

В ряде загадок *голова* представлена как контейнер для мозга: *Есть человек Без рук, без ног: Голова есть — без мозгу, Брюхо есть — без кишок, Бока есть — без мяса* (донце) [Садовников, 1960, 89, № 603].

Устойчивое словосочетание *пустая голова* в значении ‘дурак’ отмечено еще в [САР, 2, 178]. В следующем примере переосмысливается эта присутствующая в системе языка идиома: *Встану я рано, Пойду к барану Пустой голове* (рукомойка) [Садовников, 1960, 53, № 269]. Устойчивое выражение *голова трещит* косвенно находит отражение в загадке *Покатился монах По Сионским горам, Сухари — в головах* (гром) [Садовников, 1960, 224, № 2031].

Загадка как игровой жанр может играть прямым и переносным значениями. В загадке *Стоит Мирон, Полна голова ворон* (овин)

[Садовников, 1960, 139, № 1178] выражение *полна голова ворон* отсылает к переносному значению слова *ворона* ‘разиня, зевака, человек нерасторопный’ [САР, 1, 853]. Поскольку денотатом загадки является овин, описывается ситуация, когда птицы могут прилетать туда за зерном. Так в преображенной ситуации имеется в виду переносное, а в исходной — прямое значение одного и того же слова. В следующих примерах обыгрывается прямое — ‘лишенный головы’ — и фигуративное значение — ‘глупый’ — прилагательного *безголовый* [СЦСРЯ, 1, 28]: *Носила меня мать, Уронила меня мать, Подняли меня люди, Понесли в торг торговать, Отрезали мне голову, Стал я пить И ясно говорить* (гусиное перо); *Родится без ног и без головы, А как подрастет — вырастут и ноги и голова* (курица) [Садовников, 1960, 242, № 2243; 123, № 973].

Итак, *голова* в телесном антропоморфном коде загадки имеет несколько значений: а) ‘важнейшая часть тела человека’; б) ‘часть тела, не подвергающаяся изменениям с рождения до смерти’; в) ‘наиболее уязвимая часть тела, поражение которой чревато смертью’; г) ‘контейнер, содержащий мозг’. Текстовые метафоры загадки сложно взаимодействуют с языковыми идиомами и переосмысленными дериватами существительного *голова*. Антропоцентричность телесного кода заключается в опоре загадки на метафорику, представленную в системе языка.

Загадки русского народа. Сборник загадок, вопросов, притч и задач / сост. Д. Н. Садовников. М., 1960.

Левин Ю. И. Семантическая структура русской загадки // Паремнологический сборник: Пословица. Загадка (Структура, смысл, текст). М., 1978. С. 283–314.

САР — Словарь Академии Российской : в 6 т. СПб., 1789–1794.

СЦСРЯ — Словарь церковнославянского и русского языка, составленный Вторым отделением Императорской академии наук : в 4 т. СПб., 1847.

Названия университетских городов *Лейпциг* и *Йена* как источник этнолингвистической информации

Имена собственные имеют свои задачи и функции. В географических названиях отражается то, как человек оценивает объекты и свойства окружающего его пространства. Топонимы доносят до нас номинативный и культурный опыт прошлых поколений и даже эпох. Иначе говоря, топонимы оказываются «сгустками» человеческой памяти и поэтому являются важным источником при изучении языка и культуры.

В настоящее время методы исторического языкознания способны соперничать с археологическими изысканиями по части открытий в области этнической истории. Рассмотрим в связи с этим два примера.

Немецкий топоним *Leipzig* широко известен в Европе. Старые грамоты на латинском языке фиксируют следующие его формы: *actum et datum in Lipz* (1190/1195 гг.), *in civitate nostra Lipz* (1200 г.), позднее — *in Lipzk* (1222 г.), *civitas Lipczk* (1229 г.), *Lipzk* (1252 г.), *Lipzic* (1292 г.), *Lipzik* (1312 г.), *Leipczk* (1399 г.). Называемый так город находился в восточной части Германии, где после переселения народов с VII в. поселились западнославянские племена. Кажется, нетрудно узнать в этом топониме славянский корень *lipa* в соединении с суффиксом *-sk-*.

Однако существует и другая традиция передачи топонима: *in urbe Libzi*, *aeccllesia in Libzi* (1015/1018 гг.), *usque Libiz* (1150 г.), *Albertus de Libiz et frater Burzlaus* (1185 г.), *apud Libuiz* (1212 г.). Эти формы убедительны для реконструкции более древнего слав. **Libьсь*. В 1050 г. встречается *in pago Szudici in burcvarado Libizken*, где *Libizken* указывает на исходную славянскую форму **Libьsk-* — название территории, окружавшей тогдашнюю немецкую крепость со славянским названием **Libьсь*. Очевидно, славяне, придя в земли, населенные германскими племенами, заимствовали дославянскую форму **Lib-*. Территория вокруг Лейпцига всегда была богата водой, там текут реки с еще

догерманскими названиями *Pleiße*, *Parthe* и *Elster*. Обилие воды — важная характеристика данной территории.

Следовательно, с большой вероятностью можно утверждать, что в основе нынешнего топонима лежит первичное германское образование **Lībja* ‘многоводное место’ [Hengst, 2009]. Индоевропеистике известны различные корни, указывающие на качество воды [см.: Bichlmeier, 2012/2013, 62–63].

Анализ древних языковых форм помогает лингвистам реконструировать картину расселения народов и контактов между ними, которая относится к периоду задолго до прихода славян и тем более — первых письменных фиксаций имен собственных, употребляемых немцами с конца X в. н. э.

Второй пример — топоним *Jena* [Jēna]. Этот город на реке *Saale* в Тюрингии располагался на самом востоке прежней германской территории, на средневековой границе с поселениями славян. Топоним *Jena* обращает на себя внимание, поскольку фиксируется только в этом регионе, но дважды — им обозначены два объекта на берегу реки Зале, расположенные на расстоянии около 30 километров друг от друга. Многие ученые размышляли над этим именем собственным, даже написана монография. Однако «загадка Йены» не решилась. Стало, однако, понятно, что этот топоним не славянского, а, скорее, германского происхождения. В конце IX в. впервые засвидетельствована письменная форма *Iani* — обозначение местности, жители которой облагаются налогами. В 1012/1018 гг. топоним выглядит как *Geni*, позже, в 1050 г., — *in sua urbe nomine Gene*, в 1145 г. — *Folmarus de Gene*, в 1197 г. — *in Teutonico Jene* и т. д.

Развитие *Iani* > *Geni* > *Gene* > *Jene* / *Jena* без труда объясняется фонетическими процессами в немецком языке в средневековый период. Однако неустановленной оставалась база всех этих форм и их первоначальное значение.

До недавнего времени языкознанию были известны только ср.-в.-нем. *jān* ‘ряд’ и нем. *Jahn* ‘ряд скошенной травы’. Германисты смогли реконструировать древнюю форму **jǣna-* ‘ход’ — так называемую *-n-*деривацию к индоевропейскому корню **jēh₂-* ‘двигаться вперед’ [Kluge, Seebold, 2011, 453; Lexikon, 2001, 309–310] (ср. лат. *iānuā* ‘дверь, вход’, *iānus* ‘крытый проход, переход, аркада’). Благодаря фиксации (с конца IX в.) топонима *Iani* стало возможным доказать существование

др.-в.-нем. *iani* [jǣni] в форме мн. ч. с вероятным значением ‘проходы, переправы’ (т. е. *Iani* — ‘переправы через реку Заале’). Действительно, в окрестностях населенных пунктов с названием *Jena* располагались древние торговые пути — переправы через реку с запада на восток.

Итак, письменная традиция фиксации топонима *Jena* дает возможность убедительно доказать существование в древневерхненемецком языке существительного во мн. ч. *iani*. Так топонимика, во-первых, обогащает лексикологию, а во-вторых, является источником этнолингвистических сведений. Теперь стало ясно, что древние германцы раньше немцев именовали переправы через реку Заале. Славяне и немцы сохранили эти древние названия спустя два тысячелетия.

Bichlmeier H. Einige indogermanistische Anmerkungen zur mutmaßlichen Ableitungsgrundlage des Ortsnamens Leipzig: dem Flussnamen urgerm. **Lībō-* bzw. dem Gebietsnamen urgerm. **Lībja/ō-* // Namenkundliche Informationen. Journal of Onomastics. 2012/2013. № 101/102. P. 49–75.

Hengst K. Der Name Leipzig als Hinweis auf Gegend mit Wasserreichtum // Namenkundliche Informationen. Journal of Onomastics. 2009. № 95/96. P. 21–32.

Kluge F., Seebold E. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 25. Auflage. Berlin; Boston, 2011.

Lexikon der indogermanischen Verben. Die Wurzeln und ihre Primärstammbildungen. Unter Leitung von H. Rix erarbeitet. 2. Auflage. Wiesbaden, 2001.

Э. Хоффманн

Венский университет экономики и бизнеса, Вена (Австрия)
edgar.hoffmann@wu-wien.ac.at

Российская национальная идентичность и имена собственные в бизнес-коммуникации

Актуальность темы, выбранной для доклада, обусловлена процессами формирования новой российской национальной идентичности, происходящими в разных доменах публичного дискурса — в политической, экономической сферах и др. Их движущей силой является

не только правящая элита в понимании Крыштановской [2005], но и бизнес в целом.

Крах советской государственности, случившийся после бурного перестроечного времени, привел к распаду существующей системы ценностей и норм. Потеря статуса мировой державы и возникновение независимых государств с четкими, отличными от российской конструкциями национальной идентичности привели к тому, что в культурософском интердискурсе новой России большую значимость приобрел вопрос ориентации в мире, который изменился коренным образом.

В докладе речь пойдет о том, как использование имен собственных в бизнес-коммуникации способствует конструированию национальной идентичности в сегодняшней России. Мы рассмотрим, во-первых, механизмы конструирования национальной идентичности, а во-вторых, факторы, которые позволяют именам собственным, функционирующим в бизнес-коммуникации, оказывать влияние на процесс конструирования идентичности.

Конструирование национальной идентичности подчиняется принципам фрагментарности, «невидимой руки рынка», независимости от сознательного действия индивида, диспаратности составных частей, принципам включения и исключения. При этом соперничают разные «конструкции» идентичности (элит, имеющих доступ к власти, и тех, у кого такого доступа нет).

Имена собственные в бизнес-коммуникации — это в основном имена коммерческих организаций, названия товаров и услуг, обозначения событий в сфере бизнеса. Другие классы и разряды имен собственных, которые встречаются в бизнес-коммуникации (и не только), нами не рассматриваются. По отношению к изучаемому материалу мы используем термины *имена собственные*, *названия* и т. п., не употребляя специализированных терминов типа *эргонимы*, *институционимы*, *прагматонимы*, *эвентонимы* и т. д., которые в ономастической традиции не только употребляются по отношению к разным объектам, но и имеют разный уровень обобщения [см.: Nübling et al., 2012, 265–325].

Потенциал имен собственных в бизнес-коммуникации по отношению к конструированию идентичности можно объяснить, используя прагматический подход к их семантике. Они, как любые имена собственные, идентифицируют и индивидуализируют. В то же время «значение» имен собственных (которое можно определить как сумму

связанных с именем коннотаций [Sonderegger, 2004, 3410]) играет в бизнес-коммуникации особую роль. Их символическая валоризация содействует коммерческому успеху организации, товара, услуги, акции, программы не только в рекламе, но и в других жанрах бизнес-коммуникации.

В ходе конструирования национальной идентичности создание эффекта валоризации товаров и услуг в экономике при помощи имен собственных происходит эксплицитно и имплицитно, вербально и невербально, осознанно и неосознанно. Поэтому последствия валоризации не всегда предсказуемы. Они успешны в случае, когда коннотации, связанные с именами собственными в бизнес-коммуникации, опираются на коллективные российские ценности и нормы. Усиление эффекта валоризации достигается также в том случае, если во внимание приняты особенности потребления в российском обществе, которое в конструировании идентичности выделяет «свое» и «чужое», т. е. использует принципы включения и исключения.

Каждый из исследуемых классов и разрядов имен в бизнес-коммуникации располагает собственными возможностями валоризации [см.: Хоффманн, 2015].

Анализируемые имена собственные, как правило, семантически прозрачны, но далеко не всегда обладают ощущаемой носителями языка мотивированностью. Имена в бизнес-коммуникации часто апеллируют к ключевым культурным концептам, которые хорошо исследованы в российской культурологии и лингвистике и являются составными частями русского этнического самосознания, — «родина», «Россия», «просторы», «традиция», «соборность» и др. Такие имена, как «*Россия*», «*Петр I*», «*Красный октябрь*», «*Сибирская корона*», «*Русский Стандарт*», «*Домик в деревне*», подчеркивают принадлежность называемых ими организаций и/или товаров к «своему».

Морфологические свойства имен собственных в бизнес-коммуникации напрямую зависят от их мотивированности и значения. Например, исследованные Н. А. Гусейновой экзотизмы в области имен коммерческих организаций [см.: Гусейнова, 2014, 113–174] создаются в рамках разных словообразовательных моделей, но объединяются тем, что маркера иноязычного (в основном англоязычного) происхождения достаточно для актуализации соответствующих коннотаций и отношения имени к сфере «своего» или «чужого». Коннотации, связанные

с глобальными трендами и модой, с высоким имиджем, как правило, повышают добавочную стоимость товаров, услуг, акций и программ (событий). Их «подключение» в маркетинге иногда может быть нецелесообразным, как показывает пример с изменением написания (с латиницы на кириллицу) названия компании «*Wimm-Bill-Dann*» > «Вимм-Билль-Данн». В заключение стоит отметить, что графические и орфографические особенности изучаемых имен собственных также являются важным параметром для присвоения символической стоимости товару / услуге и для актуализации коннотаций, используемых при конструировании национальной идентичности.

Гусейнова Н. А. Современная российская эргонимия в аспекте иноязычных заимствований : дис. ... канд. филол. наук. М., 2014.

Крыштановская О. В. Анатомия российской элиты. М., 2005.

Хоффманн Э. Имена собственные в бизнесе // Корпоративная коммуникация в России: дискурсивный анализ. В печати.

Nübling D., Fahlbusch F., Heuser R. Namen. Eine Einführung in die Onomastik. Tübingen, 2012.

Sonderegger S. Namengeschichte als Bestandteil der deutschen Sprachgeschichte // Sprachgeschichte. Ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Sprache und ihrer Erforschung. Vierter Teilband. Berlin ; New York, 2004. P. 3405–3436.

А. Т. Хроленко

Курский государственный университет, Курск
khrolenko@hotmail.ru

Экзистенциальный мотив использования диалектной лексики в художественном дискурсе

Вопрос об использовании диалектной лексики в художественном тексте не нов. Описаны и объяснены, казалось бы, все возможные случаи употребления местных слов, однако в художественной практике современных писателей, вышедших из крестьянской глубинки России и не потерявших духовной связи с малой родиной, обнаруживаются

такие стороны отбора лексики, на которые до сих пор исследовательское внимание не распространялось.

Обратимся к рассказу «Жил-был Герасим Лукич» курского писателя Михаила Николаевича Еськова, которого читательская и писательская общественность страны признала лучшим прозаиком России 2013 года.

«Герасим Лукич нес *оклунок* ржаной муки». Так начинается избранный нами рассказ. На юге России и в Курской области существительное *оклунок* означает ‘неполный мешок чего-л.’. Почему писатель словосочетанию *неполный мешок чего-либо* предпочел достаточно редкое, а потому широкому читателю малоизвестное существительное *оклунок*? Более того, в сравнительно небольшом (всего тринадцать страниц) тексте это слово повторилось не раз. Думается, дело в том, что существительное, обозначая поклажу, формирует понятие, играющее в рассказе сюжетобразующую роль. Важность понятия объясняет использование соответствующего слова в первой же фразе повествования. *Оклунок* не просто ноша за плечами персонажа. Это неожиданный для него дар. «Герасим Лукич не думал ни о какой поживе, а свояк неожиданно расщедрился. Был бы рад и малому фунту. А уж *оклунок*... Счастье, можно сказать, с неба свалилось». Полтора пуда ржаной муки в голодное время страшной войны — это не только еда, это залог выживания, спасения. И первое движение души героя рассказа — сберечь муку для себя и своей жены. И тут неожиданная встреча со знакомой женщиной, у которой голодные дети и умирающий от недоедания сын. «Знаешь что, — он опустил *оклунок* к ее ногам. — Вот, выхаживай детей». У истории *оклунка* счастливый финал: «Вот, *пустой мешок* принесла. Спасибочки за муку, затирушкой ребят покормила. Толик ожил, в охотку поел». *Оклунок* превратился в *пустой мешок*.

Свыше двух десятков диалектных слов использовано автором в тексте одного рассказа, и наличие этих слов не кажется излишним. Большая часть диалектных лексем связана со сквозной темой голода как перманентного состояния персонажа. «Меню» голодающего — повседневная *затируха* (‘суп, похлебка из муки; похлебка из ржаной муки; кушанье из кусочков теста, сваренных в кипятке или молоке’), а предел мечтаний — *саламать* (‘кисель или жидкая каша из муки’). Постоянное чувство голода вызывает наглядную картину приготовления мучного кушанья. «...Скорее всего, бабка сварит *саламать*. Дело

нехитрое: слегка поджарить муку, до густоты замесить ее в крутом кипятке, разбить комковатость, предварительно на загнету выгresti угли, поставить на жар чугунок с *саламатью* — и ждать. Скоро чугунок начнет опышно дышать, самая пора отодвинуть его от огня. Спешить хвататься за ложку не стоит, пусть *саламать* каждой крупинкой, всем своим нутром основательно вызреет ... *Саламать* — еда сытная, почти что мясо».

Голодное существование физически ослабляет человека, в руках нет *державы* ('сила, устойчивость, крепость'), орудие труда в них *ошмыгается* ('о непроизвольном движении инструмента в руке из-за слабости в руках'): «И топор вострый, а *ошмыгается*: в руках никакой *державы*». *Пурхается* ('барахтаться, возиться в чем-л. (снегу, пыли и т. п.)') согнутая баба, принужденная заниматься неженским трудом — тянуть из-под земли *чуху* ('подземная часть дерева, средостение его корней, чурбан, пригодный на дрова').

Нищета обряжает человека в нечто *ледащее* ('изорванный, изношенный') и заставляет быть *прошаком* ('тот, кто просит милостыню, нищий'): «*Прошаки* бродят, хоть дверь не закрывай: всем миром собираются друг у друга — нищие у нищих». Возникает вопрос, почему автор в одном и том же предложении использует два синонима — *нищий* и *прошак*. Какими семами эти слова различаются? *Нищий* — профессия постоянная, а *прошак* — состояние временное?

Практика крестьянствования отбраковывает то, что в растительном мире не пригодно на еду или на корм скоту, — *дурнину* ('любое сорное растение; трава, не годная для корма скота') и *дулолом*. Слово *дулолом* в словарях отсутствует, однако очевидно, что его семантика близка содержанию однокоренного существительного *дурнина*.

Колобродного теленка ('ненормальный, помешанный') и *заполюшный* стрекот сороки ('взбалмошный, сумасбродный'), *прогонистую* лозу и *никлое* настроение ('поникший, увядший; пониклый') ощущает или видит тот, кто живет на самой земле в трудное время.

Все отмеченные нами диалектные слова использованы прозаиком в авторском повествовании, что само по себе говорит об их важности для рассказчика. Это не факультативные элементы речевой характеристики персонажа, а авторские обозначения доминант сознания, те элементы материнского языка, которые приходят в голову в минуты рубежного — быть или не быть — состояния.

Названия месяцев в новогреческом народном календаре

В докладе рассматриваются основные модели наименования месяцев в народном новогреческом календаре, а также конкретное «наполнение» этих моделей — какие именно характеристики конкретного сезонного отрезка оказываются значимыми для того, чтобы лечь в основу его номинации.

Членение года на месяцы вторично по отношению к народному календарю (пастушескому, морскому, земледельческому), который иначе делил год (на сезоны, лето — зиму) и находил собственные маркеры для обозначения таких отрезков, см., например, макед. *στ'αλώνια* <на гумнах (т. е. во время молотбы)> 'о времени в конце июня' или *στα σύκα* <на смоквах (т. е. в период созревания инжира)> 'о времени в начале июля' [Παπαθανάσιος, 1953, 356]. Тем не менее членение годового времени на месяцы давно усвоено фольклорной традицией¹, а сами месяцы наряду с официальными названиями (январь, февраль и т. д.) получают народные имена и даже «прозвища», которые в определенных контекстах (поговорках, пословицах, легендах о месяцах) употребляются в качестве равноценной замены общепризнанных наименований.

Народное название месяца может быть мотивировано длиной его светового дня: эпир. *Προпадающий* (*Χαμένος*) 'декабрь' [Λαζάνης, 1983, 36] и 'ноябрь' [Σάρρος, 1910, 699]; количеством дней: *Χροмоногий*² или *Бесхвостый* (фрак. *goudjiouks*) 'февраль' [Μανασείδος, 1934, 224]; его расположением в календаре относительно других месяцев: *Большой* (фрак. *Μεγάλος*, *Τρανός*) [Δεληγιάννης, 1934, 146] 'январь' и *Малый* (фрак. *Μικρός*) 'февраль' [Там же], *Среднезимний* (эпир.

¹ См. в связи с этим следующую загадку с острова Кос с отгадкой «год — месяцы — дни — ночи»: «Что это за отец, у которого двенадцать сыновей, и у каждого из сыновей шестьдесят дочерей, тридцать белых, тридцать черных?» [Κουτσοῦράδη, 1998, 38].

² Представление о месяцах как о «ногах» года встречается также и в восточно-фракийской загадке: «Отец — голова, двенадцать сыновей — ноги, и у каждого сына на спине тридцать дочерей, ночью умирает одна, и скоро рождается следующая» [Πετροπούλος, 1938, 221–222].

Μεσοχείμωνος) ‘январь’ с пояснением «потому что это второй зимний месяц» [Μπούτουρας, 1910/2, 305]. Номинаторы обращают внимание на холодную погоду осенних месяцев: ноябрь называется *Χολοδύσιμ* (*Κρυαρίτης*) [Там же] или *Μοροζιάσιμ*, *Ινεϊστύμ* (эпир., макед. *Παχυστής* < *πάχνη* ‘изморозь, иней’) [Παπαθανάσιος, 1953, 356]³. Народные имена марта описывают его как месяц, когда к концу подходят зимние запасы: его зовут *Сушильщиком корзины* (фрак. *Ξηροκουφινάς* < *ξηρό-* ‘сухой’ + *κοφίνι* ‘корзина’) [Μανασείδος, 1934, 224], *Κολοζегаμ* (фрак. *Παλουκοκάφης* < *παλούκι* ‘кол’ + *καίω* ‘жечь’), так как из-за нехватки дров не боятся жечь колья [Там же] и пр.

Основой номинации месяцев (прежде всего летних) служат сельскохозяйственные работы, приуроченные к этому времени. Так, февраль зовут *Подрезающим ветки* (*Κλαδευτής*), так как в это время подрезают виноград [Μπούτουρας, 1910/2, 305], март — *Сажаящим растения* (*Φυτευτής*) [Σάρρος, 1910, 698], июнь — *Жнецом* (*Θεριστής*, *Θερτής*, *Θέρους*), июль — *Молотильщиком* (*Αλωνιστής*, *Αλωνάρις*) [Δεληγιάννης, 1934, 146], сентябрь — *Сборщиком винограда* (*Τρυγητής*, *Φεσγντ*) [Σάρρος, 1910, 698], ноябрь — *Сеятелем* (*Σπαρτάρ’ς*) [Там же, 699].

В областях северной Греции, в зоне активных греко-славянских контактов, распространенной моделью номинации является наименование месяца по одному из церковных праздников, приходящихся на данный месяц. К их числу относятся Благовещение (25.IV), день св. Георгия (23.IV), день св. Иоанна (24.VI), праздник Крестовоздвиженья (14.IX), день св. Димитрия (26.X), собор Архистратига Михаила (8.XI), день св. Филиппа (14.XI), день св. Андрея (30.XI), день св. Николая (6.XII), праздник Рождества (25.XII). Отсюда такие названия месяцев, как *Благовестник* (*Βαγγελιώτ’ς*) ‘март’, *Свято-георгиевский*, *Святой Георгий* (*Αγιογυριάτ’ς*, *Αγιώρ’ς*, *Αησιγώρρις*) ‘апрель’, *Святоивановский* (фрак. *Αϊγιαννίτς*, в.-фрак. *Αγιαννίτς*) ‘июнь’, *Крест* (фрак., в.-фрак., макед. *Σταυρός*, фрак. *του Σταυρού*) или *Крестовый* (фрак. *Στανιριώτ’ς*) ‘сентябрь’, *Святодимитровский*, *Святой Димитрий* (фрак. *Αϊ Δημήτρης*, макед. *Αδημήτρ’ς*, эпир. *Αη-Δημήτρης*, фрак. *Αγιοδμητητριάτς*, *Αγιδμητριάτ’ς*) ‘октябрь’, *Андрей* (фрак., эпир. *Αντριάς*) ‘ноябрь’, *Святой Архангел*, *Архистратиг* (фрак. *Αγιος*

³ В других традициях так может называться октябрь [Σάρρος, 1910, 698].

Δοξιάρης, эфир. Αἴταξιάρ'ς, фрак. Αρχαγγελιάτ'ς, Αἰστράτ'ς) 'ноябрь', Святофилупповский, Филипповский или Святой Филип (в.-фрак. Αἰ-Φιλипπάτς, фрак. Φιλипιάτ'ς, в.-фрак. Αἰ-Φίλιππας) 'ноябрь', Святой Николаῖ (фрак. Αγῖς Νικόλας) 'декабрь', Рождественский (в.-фрак. Χριστουγεννιάτς, фрак. Αἶν κουλιάτ'ς) 'декабрь'.

Необходимо также отметить факт изменения «официальных» названий месяцев под воздействием народной этимологии. Например, *флеварь* (Φλεβάρης) вместо *февраль* (Φεβράριος), «потому что в это время покрываются льдом вены (φλέβες) земли» [Μανασείδος, 1934, 224].

Δελγιάννης Βασίλειος. Σύμμεκτα λαογραφικά του χωριού Δογαν — κοῖτὶ Μαλγαρῶν // Αρχεῖον του Θρακικοῦ λαογραφικοῦ καὶ γλωσσικοῦ θησαυροῦ. Περιοδικόν σύγγραμμα ἐκδιδομένον ὑπὸ υποτροφίης Θρακῶν, διευθυντής Πολυδ. Παπαχριστοδοῦλου. Τ. Α'. Ἐν Αθήναις, 1934–35. Υ. 32–37, 143–146.

Κουτσουράδῃ Περσεφόνῃ. Λαογραφικά σύμμεκτα τῆς νησοῦ Κω. Αθήνα, 1998.

Λαζάνης Αλέξανδρος. Λαογραφικά Κατσανοχώριων Ἰωαννίνων // Ηπειρωτικὴ Εστία, ἔτος ΛΒ'. Ἰωάννινα, 1983. Σ. 33–36.

Μανασείδος — Συλλογὴ κύριων ονομάτων των νεώτερων Ἑλλήνων Θράκης (Ἐκ του Λεξικογραφικοῦ Αρχείου Μανασείδου, διδασκάλου). Εορτολόγιο καὶ ονόματα μηνῶν Σουφλίου καὶ Ἀδριανοπόλεως // Αρχεῖον του Θρακικοῦ λαογραφικοῦ καὶ γλωσσικοῦ θησαυροῦ. Περιοδικόν σύγγραμμα ἐκδιδομένον ὑπὸ υποτροφίης Θρακῶν, διευθυντής Πολυδ. Παπαχριστοδοῦλου. Τ. Α'. Ἐν Αθήναις, 1934–35. Υ. 218–224.

Μπούτουρας Α. Θ. Προσθήκαι εἰς τὴν πραγματείαν περὶ των ονομάτων των μηνῶν ἐν τῇ Νεοελληνικῇ. Λαογραφία. Τ. Β'. Αθήνα, 1910. Υ. 304–306.

Παπαθανάσιος Θ. Σύμμεκτα λαογραφικά ἐκ Ρουμλουκιοῦ // Μακεδονικά. Σύγγραμμα περιοδικόν τῆς εταιρείας Μακεδονικῶν σπουδῶν. Τ. Β'. Θεσ-νικῇ, 1953. Σ. 346–384.

Πετρόπουλος Δ. Λαογραφικά Σκοποῦ Ανατολικῆς Θράκης // Αρχεῖον του Θρακικοῦ λαογραφικοῦ καὶ γλωσσικοῦ θησαυροῦ. Περιοδικόν σύγγραμμα ἐκδιδομένον ὑπὸ υποτροφίης Θρακῶν, διευθυντής Πολυδ. Παπαχριστοδοῦλου. Τ. Ε'. Αθήνα, 1938–1939. Υ. 145–269.

Σάρρος Δ. Μ. Τα ονόματα των μηνῶν // Λαογραφία Β'. 1910. Σ. 698–699.

Коннотации числительных *quattro* ‘четыре’, *quarto* ‘четвертый’ в итальянском языке

Рассматривая фразеологизмы с участием числительных в итальянском языке, нетрудно заметить, что числительное *quattro* ‘четыре’ не уступает по своей частотности таким «популярным» числовым показателям, как *due* ‘два’ и *sette* ‘семь’. Интересно, что в русском языке (даже учитывая материал диалектов) числительное *четыре* не отличается богатым коннотативным спектром и ассоциируется прежде всего с обозначениями таких реалий, как жилое пространство (*sидеть в четырех стенах* ‘сидеть дома’), стороны света (*на все четыре стороны* ‘хоть куда, куда угодно’), части тела (*на четвереньках* ‘на четырех конечностях’). В итальянском языке *quattro* обладает более широким семантическим спектром, выходящим за пределы конкретного количественного значения.

Коннотация *quattro*, наиболее близкая к числовым смыслам, — значение малого количества: *quattro gatti* <четыре кота> ‘мало людей’ — «*Alla festa c'erano quattro gatti*» <На вечеринке собралось мало людей>, *costare quattro soldi* <стоять четыре деньги> ‘быть дешевым; не иметь ценности’. Любопытно, что для подчеркивания признака малого количества с числительным сочетается обозначение не человека, а животного (ср. рус. шутол. *полтора землекопа* в том же значении). В русском языке подобное значение транслируют исключительно числительные *полтора*, *два* и *три*, ср., например, *полтора человека*, *в двух словах*, *в трех соснах заблудиться* и т. п. Впрочем, в случае с приведенными итальянскими фразеологизмами мы не можем говорить о каком-либо специфическом значении числительного *quattro* в их составе, что подтверждается, в частности, взаимозаменяемостью *quattro* и *due*, ср. *fare quattro / due passi* <сделать четыре / два шага> ‘прогуляться’. Следует заметить, что в приведенных примерах числительное придает семантике фразеологизма оттенок не только кратковременности, но также и незначительности совершаемого действия, ср. *fare quattro chiacchiere*

<делать четыре болтовни> ‘иметь непродолжительную беседу с кем-л. о чем-л. незначительном’, *fare quattro salti* <сделать четыре прыжка> ‘потанцевать’.

Помимо количественной семантики, числительное *quattro* участвует в передаче идеи интензивности: *farsi in quattro* <делаться вчетверо> ‘затрачивать много усилий на что-л.’ (также возможен вариант *farsi in due* <делаться вдвое>), *partire in quarta* <отправиться на четвертой> ‘о высокой скорости совершаемого действия’, *in quattro e quattr’otto* <в четыре и четыре восемь> ‘быстро’. Впрочем, в последнем из приведенных выражений интенсификатором выступает не «четверка» сама по себе, а арифметическое действие $4 + 4 = 8$.

Семантика интензивности, приобретаемая числительным *quattro*, может также отсылать к культурному прецеденту, ср. *fare il diavolo a quattro* <изображать дьявола вчетвером> ‘устроить путаницу, неразбериху’: в средневековом театре дьявол был одним из самых популярных персонажей и выступал в ходе одного представления в нескольких обликах. Поскольку требовалось очень быстро менять грим и костюмы, в роли дьявола нередко выступали четыре актера, одетые и загримированные соответствующим образом.

Связь числительного *quattro* с обозначениями сторон света и конечностей человека / животных, кажется, относится к числу языковых универсалий. В итальянском языке эта связь представлена выражениями *gridare / sbandierare ai quattro venti* <кричать / выставлять на четыре ветра> ‘выставлять на всеобщее обозрение; публично заявлять о чем-л.’, *a quattro piedi* <на четырех ступнях> ‘на всех четырех конечностях (руках и ногах)’.

В итальянской фразеологии чаще, чем в русской, лексемы *quattro* и *occhi* ‘глаза’ становятся контекстными партнерами: помимо выражений типа *avere quattro occhi* <иметь четыре глаза> ‘носить очки’ (ср. рус. *четыреглазый* ‘о человеке, который носит очки’), встречается также *a quattr’occhi* <в четыре глаза> ‘один на один’.

Кроме анализа особенностей функционирования количественного числительного *quattro* и порядкового *quarto*, интересно также наблюдение над глаголом *quadrare* <делать квадратным> ‘подходить, соответствовать, быть адекватным кому-, чему-л.’ и его дериватами (ср., например, *quella persona è quadrata* <это квадратный человек> ‘о стабильном, надежном, внушающем доверие человеке’). Выходя

на более широкий романский фон, можно обнаружить схожие лексемы во французском, испанском, португальском языках: фр. *carré* <квадратный> ‘ясный, недвусмысленный’, исп. *cuadrar* <делать квадратным> ‘соответствовать, логически сочетаться с чем-л.’, порт. *quadrar* <то же> ‘следовать за чем-л., соответствовать чему-л.’. Развитие подобных смыслов прослеживается у латинского глагола *quadrare*: ‘делать четырехугольным’, ‘подгонять, прилаживать’, ‘приводить в порядок (ритмически), отделять (о литературном произведении, устном выступлении)’, ‘годиться, подходить’, ‘соответствовать, приличествовать’, ‘быть верным, соответствовать действительности’. В приведенных словах актуализируется общекультурная символика числа четыре, сформулированная В. Н. Топоровым как «статическая целостность, идеально устойчивая структура», которая получает геометрическое воплощение в форме квадрата и креста [МНМ, 2, 630].

Базой для настоящих наблюдений послужил в основном материал толковых и этимологических словарей итальянского языка, однако в дальнейшем предполагается расширить исследовательское поле за счет диалектных данных, что позволит добавить новые оттенки в наши представления о коннотативном спектре числительных *quattro* и *quarto*.

МНМ — Мифы народов мира : энцикл. : в 2 т. М., 1991–1992.

Л. И. Шелепова

Алтайский государственный университет, Барнаул
lshelepova@yandex.ru

«Историко-этимологический словарь русских говоров Алтая» как источник изучения межславянских связей русских диалектов

«Историко-этимологический словарь русских говоров Алтая» [ИЭСРГА] является надежным источником изучения языка и культуры региона в его прошлом и настоящем. Доклад посвящен одной из возможностей, предоставляемых словарем, — рассмотрению русских

© Шелепова Л. И., 2015

говоров Алтая в общеславянском контексте, изучению их как составной части славянского диалектного континуума во взаимоотношении с другими славянскими языками и диалектами [Вендина, 2008, 13].

Материалы седьмого выпуска словаря свидетельствуют о том что бо́льшая часть лексем праславянского происхождения имеет о б щ е - с л а в я н с к и й характер распространения (155 единиц). При этом одни из этих лексем широко встречаются в восточно-, западно- и южнославянских языках и диалектах (например, глагол *орать* ‘пахать’), другие представлены лишь в некоторых языках (например, *обчѣски* ‘остатки, отходы от шерсти’).

Среди анализируемых лексических параллелей немало таких, которые связывают русские говоры Алтая с отдельными славянскими языковыми группами. При этом одна из наиболее заметных («предсказуемых») общностей — лексическое единство с у к р а и н с к и м и б е л о р у с с к и м языками (17 единиц). Например, в Ребрихинском районе записано слово *огүзок* ‘хвостовая часть туловища птицы’, ср. укр. *огүзок* ‘конец завязанного мешка’, ‘нижняя часть снопа’, ‘часть человеческого тела, на которой сидят’; блр. *агүзак* ‘комель’, *агүсак* ‘нижняя часть снопа’ [ЭССЯ, 27, 23–24].

По мнению специалистов, «украинские и белорусские диалекты выполняют роль своеобразного моста, благодаря которому осуществляется связь русских говоров с другими славянскими диалектами» [Вендина, 2008, 16]. Материалы седьмого выпуска «Историко-этимологического словаря русских говоров Алтая» вполне подтверждают эту мысль. Так, здесь представлены лексемы русских говоров Алтая, которые имеют эквиваленты в в о с т о ч н о с л а в я н с к и х (украинском и белорусском) и ю ж н о с л а в я н с к и х языках — 23 единицы (при отсутствии соответствий в западнославянских языках). Например: *натоптать* ‘намять ногами’, ср. болг. диал. *нѣтъпѣ* ‘втоптать, затоптать’, укр. *натоптати* ‘натоптать (ногами грязи); набить плотно’, блр. *натоптаць* ‘натоптать, наследить; намять’ [ЭССЯ, 23, 182–183].

Связь русских говоров с з а п а д н о с л а в я н с к и м и и в о с т о ч н о с л а в я н с к и м и (украинским и белорусским) языками демонстрируют 30 единиц. Среди них лексема *озадки* ‘отходы при молотьебе или веянии зерна’, ср. польск. *ozadki* ‘остатки зерна, собранные при очищении или отделении целого зерна’, укр. диал. *оза́дки* ‘отходы зерна

при провеивании и молотье», блр. *ozádki* ‘самый последний разбор зернового хлеба, отбираемый после веяния’ [ЭССЯ, 31, 173–174].

Вместе с тем вскрываются связи русских говоров Алтая с южнославянскими и/или западнославянскими языками (без «посредничества» украинского и белорусского). Например:

ру с. — ю.- с л а в. (13 единиц): *obvě́drit'sya* ‘проясниться, установиться хорошей погоде’ — болг. *ově́dria* ‘проясниться, стать ясным, безоблачным’, словен. *ovedriti se* ‘проясниться’ [ЭССЯ, 30, 268] и т. д.;

ру с. — з а п.- с л а в. (8 единиц): *ostárrok* ‘старый человек’ — чеш. *obstarek* ‘переросток’, диал. *ostarek* ‘старый холостяк’, ‘кожа с переросшего теленка’, *opstarek* ‘дряхлый, пожилой человек’, ст.-слвц. *ostarok* ‘старая, изношенная кожа’, ‘старая, уже использованная вещь’, слвц. *ostarek* ‘переросший теленок’, ‘кожа голенищ’, ‘старый холостяк’, в.-луж. *wostark* ‘переросший теленок’, ‘кожа на голенища’, н.-луж. *hobstarki* ‘пожилой’ [ЭССЯ, 30, 35] и т. д.

Не менее интересными представляются и так называемые «эксклюзивные» лексические параллели, связывающие русские говоры Алтая только с одним из славянских языков [Вендина, 2008, 17], когда то или иное слово «самым причудливым образом всплывает на разных концах Славии, объединяя порой неблизкие диалекты между собой и даря нам, таким образом, фрагменты древней лингвистической географии с ее проницаемостью диалектных границ» [Трубачев, 2003, 15]. Наиболее многочисленными являются параллели с близкородственными украинским и белорусским языками. Связи с другими славянскими языками единичны, но не менее показательны, например: *охáльный* ‘очень большой’ — болг. *охальнь* ‘живущий в довольстве’ [ЭССЯ, 27, 64]; *надым* ‘сугроб’ — с.-хорв. *nádim* ‘вздутие живота у жвачных животных’, диал. ‘бугорок’ [Там же, 22, 21]; *обу́я* ‘обувь’ — словен. *obúja* ‘то же’ [Там же, 30, 240]; *онáрка* ‘тесто на дрожжах или на закваске, опара’ — чеш. *oparka* ‘соус, подливка’ [Там же, 28, 158–159] и т. д.

Вендина Т. И. Ареальные связи русского языка с другими славянскими языками (по материалам Общеславянского лингвистического атласа) // Лексический атлас русских народных говоров. (Материалы и исследования). 2008. СПб., 2008. С. 10–23.

ИЭСРГА — Историко-этимологический словарь русских говоров Алтая. Барнаул, 2007—. Вып. 1–.

Трубачев О. Н. Опыт ЭССЯ: к 30-летию с начала публикации (1974–2003) : доклад пленарного заседания XIII Междунар. съезда славистов в Любляне. М., 2003.

ЭССЯ — Этимологический словарь славянских языков: праславянский лексический фонд. М., 1974–. Вып. 1–.

Ю. А. Шкураток, Ю. Р. Айдаров

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, Пермь
shkuratok@mail.ru, yuriy.aydarov@gmail.com

Электронный архив мифологических рассказов Пермского края: реализация системы интеллектуального поиска*

Этнолингвистические исследования, в отличие от работ, проводимых на основе книжного языка, испытывают значительные трудности на этапе поиска материала. Изучение традиционной народной культуры, отраженной в языке, требует организации полевых выездов и обработки их результатов; данные собираются по крупицам из диалектных словарей и картотек, фольклорных и этнографических записей, различного рода архивов.

Интерес к культуре и быту крестьян, активная собирательская работа, проводившаяся в течение полутора веков, привели к накоплению большого количества полевых материалов. В Пермском государственном университете за годы существования обязательной фольклорной практики была собрана коллекция песенного фольклора, быличек и других фольклорных жанров. Опубликована лишь небольшая часть текстов, остальные хранятся в виде экспедиционных тетрадей на кафедрах, в личных архивах и т. п.

Несмотря на то, что в последние годы издательская деятельность в этом направлении активизировалась, и сейчас широкому кругу исследователей доступно лишь немного. Стоит также отметить, что бумажные сборники имеют существенный недостаток: используя их, затруднительно решать задачи, связанные с выборкой нужной

* Работа выполнена в рамках проекта РГНФ № 14-34-01279а2.

© Шкураток Ю. А., Айдаров Ю. Р., 2015

информации из массивов данных. Таким образом, можно констатировать не только проблему доступности материалов, но и проблему создания электронных архивов — вспомогательных исследовательских инструментов, облегчающих работу ученого.

К формированию фольклорных баз данных, содержащих десятки тысяч текстов, привлекаются команды компьютерных лингвистов. Результатом этого сотрудничества является оснащение баз текстов сложным поисковым аппаратом, системами визуального представления и пр. Создание больших фольклорных архивов имеет принципиальную сложность, связанную с природой таких текстов — они не имеют названия и автора в привычном понимании этого слова. Поэтому сложнейшей задачей является проблема разработки системы поиска.

Одно из решений этой проблемы связано с представлением текста в виде тезауруса ключевых слов. Этот подход имеет свои недостатки: отбор ключевых слов осуществляется вручную и не лишен субъективности. Перспективным видится автоматизация отбора ключевых слов, так как зачастую ключевые слова, отобранные вручную, уже содержатся в самих текстах [см.: Trieschnigg и др., 2013].

Особое место в создании фольклорных архивов занимает разработка инструментария, ориентированного на решение задач классификации и категоризации. Наиболее эффективными на практике считаются следующие пять подходов: частотный анализ, иерархическая онтология, использование существующей системы индексирования текстов, «топонимический» подход, персональный подход [см.: Abello и др., 2012].

Частотный анализ предполагает подсчет количества определенных элементов словаря. Его недостатком в контексте изучения фольклорных текстов на русском языке является наличие диалектных вариантов, значительно усложняющих задачу автоматизированной обработки.

Использование иерархических онтологий предполагает использование многоуровневой системы категорий, основанной на одной из разработанных в фольклористике структурных схем описания текста. Обработка текстов в рамках этого подхода выполняется вручную, что значительно затрудняет развитие метода.

В том случае, если коллекция текстов создавалась в рамках научной школы или под руководством конкретного исследователя, она может содержать определенную систему индексирования, которую возможно

использовать в системе поиска. В рамках «топонимического» подхода учитываются локации, упоминающиеся в тексте, а также населенный пункт, в котором текст был записан. Персональный подход основывается на учете имен исполнителей, а также других собственных имен, упомянутых в самих текстах.

Подводя итог, можно сделать следующие выводы.

1. Богатые фольклорные материалы, собранные на протяжении десятилетий экспедиционной деятельности, ожидают введения в научный оборот. В Пермском крае собраны тысячи текстов мифологических рассказов — чрезвычайно ценный материал ввиду хорошей сохранности пермской традиции.

2. На современном этапе развития технологий видится рациональным создание электронного архива.

3. Создание такого архива требует разработки вспомогательных исследовательских инструментов. Применение к текстам мифологических рассказов ряда апробированных в компьютерной лингвистике методик позволит создать систему интеллектуального поиска и визуального представления текстов. Это будет способствовать как введению в научный оборот неопубликованных материалов, так и решению исследовательских задач, связанных с выявлением закономерностей в текстовых массивах.

Abello J., Broadwell P., Tangherlini T. R. Computational folkloristics // Communications of the ACM. 2012. 55 (7). P. 60–70.

Trieschnigg D., Nguyen D., Theune M. Learning to Extract Folktale Keywords // Workshop on Language Technology for Cultural Heritage, Social Sciences, and Humanities at ACL. 2013. P. 65–73.

А. В. Юдин

Гентский университет, Гент (Бельгия)
Oleksiy.Yudin@UGent.be

Эпистемологические истоки славянской этнолингвистики

В докладе будет представлен анализ эпистемологических и мировоззренческих предпосылок современной славянской этнолингвистики в ее московской и люблинской версиях. Будет рассмотрено отношение названных научных школ к сравнительно-историческому языкознанию, лингвистическому структурализму и московско-тартуской семиотике, к неогумбольдтианским направлениям в американском, немецком и восточноевропейском языкознании и современному лингвистическому детерминизму. Будет проведен сопоставительный анализ словаря «Славянские древности» под ред. Н. И. Толстого и «Словаря польских стереотипов и символов» под ред. Е. Бартминьского в эпистемологической перспективе.

© Юдин А. В., 2015

К. С. Юзиева

Тартуский университет, Тарту (Эстония)
kristina.yuzieva@gmail.com

Образ совы в традиционных представлениях мари: этнолингвистический аспект

В докладе воссоздается образ совы в традиционных представлениях марицев по языковым, диалектным и фольклорным материалам. Исследование выполнено в русле этнолингвистики, изучающей язык как источник информации о традиционной духовной культуре народа. В работе мы опираемся на методы описания животных, используемые в этнолингвистическом словаре «Славянские древности» (1995–2012) под редакцией Н. И. Толстого и на исследование А. В. Гуры «Символика

© Юзиева К. С., 2015

животных в славянской народной традиции» (1997). При характеристике образа птицы внимание обращается на ее наименования, на данные об использовании орнитонима во фразеологии и в названиях предметов. Из фольклорных источников привлекаются легенды, сказки и так называемые малые жанры: приметы, гадания, толкования снов, пословицы, загадки. Учитывается также использование птицы в обрядах, магических действиях, ее изображения на вышивке. Выбор совы был обусловлен ее значимостью для традиционной культуры мари.

Представления человека о той или иной птице складывались веками. На основе наблюдений формировался стереотип, который в дальнейшем стал неким символом со свойственным только ему набором положительных и отрицательных качеств. В представлениях марийцев с совой (мар. *тумна*) ассоциируется глупый, бестолковый человек. Мотив глупости выражен и во фразеологизме *ангыра тумна* (букв. «глупая сова»), *тумана вуй* (букв. «совиная голова») ‘глупый, забывчивый’, хотя для многих народов сова символизирует мудрость.

Отличительная особенность совы — способность максимально поворачивать голову — легла в основу названия шейного позвонка, участвующего во вращательных движениях головы: *тыманалу* (букв. «совиная кость») ‘второй шейный позвонок, эпистрофей’. Вероятно, сходство сморчка по округлой форме и окраске шляпки с совой послужило основанием для метафорического наименования *тыманавонгы* (букв. «сова-гриб») ‘сморчок’. Ночной образ жизни совы нашел отражение в горномарийском наименовании вида бабочки, активной в сумерках или ночью: *тыманалъпӱ* (букв. «совиная бабочка») ‘совка, ночница’.

По народным представлениям марийцев, бог (мар. *Юмо*) предопределил каждой твари ее судьбу и назначение. Сова жаловалась, что ей мало одной птицы в день для пропитания, и у нее мерзнет голова. Тогда бог велел ей охотиться ночью, а на голову дал пуховую шапку. С тех пор сова стала видеть и в темноте, а днем оставалась сидеть в тепле, засунув клюв в свой пух.

По мнению В. М. Васильева, названия деревень, связанные с названиями некоторых животных и птиц, наталкивают на предположение об их происхождении от названия тотемного животного. Им записано предание, связанное с названием деревни *Тумна* (оф. Сусады-Эбелак, Янаульский р-н, Башкортостан) < мар. *тумна* ‘сова’. Раз в год все женатые мужчины только с женами, без других членов семьи, собирались

в одном доме, где из рубленого мяса совы стряпали пирожки и ели их после соответствующего моления, устраиваемого перед столом. Можно полагать, что сова в отдаленнейшем прошлом почиталась в роли тотема — хранителя семейного очага и его благополучия. Известно также, что сова, несмотря на ее хищнический образ жизни, никогда не подвергалась марийцами истреблению [Васильев, 1949, 15]. Как считает С. Я. Черных, среди горных мари в прошлом получил весьма широкое распространение культ совы как священной птицы. Это доказывает серия антропонимов, которые одновременно бытовали во многих деревнях: *Томана, Томанай, Томонка, Томина, Тумана, Туманай, Тумян* [Черных, 1995, 13]. В марийской вышивке также встречается мотив совы: *тумына тўр* — вышивка с изображением совы.

В сновидении и в приметах сова символизирует несчастье. Прилет совы в деревню настораживал марийцев. Это предвещало несчастье, пожар: «Тумна ялыш толеш гын, пожар лиеш» <Если сова прилетит в деревню, то будет пожар> (Мишкинский р-н, Башкортостан); «Тумна ялыш толеш гын — ойгылан» <Если сова прилетит в деревню, то к беде> (Моркинский р-н, Марий Эл). С недобрыми предсказаниями связан прилет совы в усадьбу: «Тумна кудывечыш толеш — шўкшő уверлан» <Сова прилетит во двор — к плохим новостям> (Моркинский р-н, Марий Эл); «Тумна кудывечышке толеш — ойгылан» <Сова прилетит во двор — к несчастью> (Параньгинский р-н, Марий Эл). Луговые марийцы также считают, что не к добру, если ночью сова кричит во дворе. Согласно примете Кировских мари, если сова прилетит во двор и, разбив окно, залетит в дом — в семье возможен разлад.

Итак, сова — довольно яркий, но в целом отрицательный персонаж в системе марийских традиционных представлений. Рассмотренный материал говорит о том, что в далеком прошлом сова была тотемной птицей. С совой связаны представления о семейном благополучии, о приплоде скота, об охранительных свойствах. В приметах и сновидениях эта птица имеет негативную символику.

Васильев В. М. Тотемистические пережитки в воззрениях марийского народа. НРФ МарНИИЯЛИ. Оп. 1. Ед. хр. 15.

Черных С. Я. Словарь марийских личных имен. Марий еҥ лўм-влак мутер. Йошкар-Ола, 1995.

Из наблюдений над семантическими параллелями

Анализ семантических параллелей — один из наиболее полезных методов, используемых при исследовании процессов формирования значений слов. Рассматривая особенности семантического развития, нельзя говорить о правилах или законах. Семантическое развитие тесно связано с человеческим мышлением и так же, как оно, бывает непредсказуемым.

Однако очень часто в разных языках (не обязательно родственных) можно встретить аналогичные переходы от одного значения к другому. Такие примеры находятся в центре внимания при изучении семантических параллелей. Особо значимыми являются не те семантические переходы, в основе которых лежат очевидные логические связи между понятиями (например, семантические переходы «худой» > «больной», «толстый» > «здоровый», «старый» > «плохой» и т. п.), но те, которые представляются неожиданными (например, значение ‘попадать, метить’ как основа для формирования значения ‘хороший’; ‘скорлупа’ как предшествующая семантическая ступень по отношению к значению ‘голова’ и т. п.). Отбор и классификация таких семантических переходов помогает при исследовании слов, характеризующихся неясным семантическим развитием. Данная проблема будет рассмотрена в докладе на основании примеров из разных семантических полей.

И. Янышкова

Институт чешского языка Академии наук Чешской Республики,
Брно (Чешская Республика)
ilona.janyskova@iach.cz

Этимология чешских названий барбариса

Доклад посвящен этимологическим толкованиям названий барбариса в чешском языке. Мы попытаемся выяснить семантическую мотивацию названий барбариса обыкновенного (*Berberis vulgaris* L.), который в Чехии является растением автохтонным.

Родовое имя *dřišťál* (*Berberis* L.), засвидетельствованное уже в старочешском языке (*dřistel*, *dřiščěl*, *dřieščel*, *dřistál*, *dřišťál*), Вацлав Махек связывал с гипотетическим слав. **dřiščěti* ‘царапать, чесать’ [Machek, 1954, 52], продолжения которого, однако, не обнаруживаются в славянских языках. Махек отрицал мнение Бернекера, относящего *dřišťál* к гнезду слав. **dristati* ‘страдать поносом’ [Berneker, 1, 224], поскольку лекарственные свойства барбариса как будто противоположны. У нас есть два возражения против толкования Махека. Первое касается языковых фактов: существует чешское народное название *chvistač* ‘*Berberis vulgaris*’, образованное от славянского звукоподражательного глагола **chvistati* ‘страдать поносом’ [ALJ]; ср. чеш. диал. морав. *chvistačka*, *dřistačka* ‘понос’ [Čižmář, 2, 86]. Второе возражение относится к свойствам растения: алкалоид берберин принадлежит к числу сильных слабительных средств [Jirásek et al., 1957, 95].

Все чешские названия барбариса, которые нам удалось найти, объединяются в группы в зависимости от признака, положенного в основу мотивации. Например, тернистость кустарника отражена в ст.-чеш., чеш. диал. *dráč* и в народных названиях *Kristova koruna*, *koruna Krista Pána*; кислый вкус ягод — в народных названиях *octák* (ср. нем. диал. *Essigdorn* ‘*Berberis vulgaris*’ [Marzell, 1, 571]) и *kukačina* / *kukučkina šťáva*; использование барбариса в изготовлении напитков вообще и вина плохого качества в частности — в ст.-чеш. *pivník* (< *pivo* ‘напиток’), чеш. диал. *psí víno*, *divoké víno* и др. Некоторые обозначения барбариса являются результатом переноса названий других кустарников (калины, бузины, бересклета), чаще всего на основе сходства (формы, цвета)

плодов: например, чеш. диал. *kalínk, bezinky, farářovy čepičky*. В докладе указываются источники таких заимствованных названий барбариса, как *berberka, surouch, vančár, vanžár*. Для отдельных чешских номинаций этого растения приводятся параллели в других славянских языках.

ALJ — картотека чешского народного языка отдела диалектологии Института чешского языка АН ЧР в Брно.

Berneker E. Slavisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1908–1914. Bd. 1–2.

Čižmář J. Lidové lékařství v Československu. Brno, 1946. T. 1–2.

Jirásek V., Zadina R., Blažek Z. Naše jedovaté rostliny. Praha, 1957.

Machek V. Česká a slovenská jména rostlin. Praha, 1954.

Marzell H. Wörterbuch der deutschen Pflanzennamen. Leipzig, 1943–1979. Bd. 1–5.

М. В. Ясинская

Институт славяноведения РАН, Москва
marusiaya@gmail.com

Глаголы со значением ‘смотреть’ в русских диалектах*

Глаголы со значением ‘смотреть’ относятся к предикатам активного действия, они противопоставлены предикатам пассивного восприятия со значением ‘видеть’, а также инверсивным им глаголам со значениями ‘быть видимым’ и ‘бросаться в глаза’, которые тоже входят в число предикатов «зрения». Эти глаголы называют ситуацию, когда субъект Х смотрит (направляет взгляд) на Y. Данная ситуация предполагает наличие обязательного субъекта и объекта действия. Остальные ее компоненты факультативны; к ним относятся различные сопутствующие обстоятельства (времени, места, образа действия). В русских диалектах глаголы со значением ‘смотреть’ составляют довольно обширную группу, их семантика часто не ограничивается рамками физического зрительного восприятия.

* Работа подготовлена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 13-04-00-160 «Русская диалектная лексика в лингвогеографическом аспекте»).

Для диалектных глаголов зрительного восприятия характерно совмещение значений ‘смотреть’ и ‘видеть’, а также реверсивных им значений ‘быть видимым’, ‘бросаться в глаза’, причем эти значения могут проявляться даже в пределах одного говора: *бáчить* ‘видеть, смотреть’ (кур., рязан., смол.), ‘виднеться’ (брян., орл.) [СРНГ, 2, 161]; *доглядéться* ‘посмотреть, увидеть’ (калуж.) [Там же, 8, 87]; *зэ́рить* ‘смотреть, видеть’ (тул.), ‘видеть слабо, едва-едва’ (кур.), ‘быть едва заметным, чуть виднеться’ (кур.) [Там же, 11, 266]. Глаголы со значением ‘смотреть’ могут включать в свою семантику признак остроты зрения, который связан со способностью / неспособностью воспринимать зрением: *мíзить* ‘смотреть близоруко’ (урал.) [Там же, 18, 156]; *мюзика́ть* ‘смотреть подслеповатыми глазами’ (урал.) [Там же, 19, 72]; *зэ́рить* ‘смотреть зорко’ (орл.) [Там же, 11, 266].

Наряду с нейтральными, в диалектах встречается множество экспрессивных глаголов, обозначающих действие ‘смотреть’. Их семантический анализ позволяет составить представление о том, какую оценку получает действие ‘смотреть’, какие его характеристики выступают как негативные и даже опасные (что находит подтверждение в традиционных народных верованиях, связанных со зглазом). Семантика экспрессивных глаголов со значением ‘смотреть’ может включать в себя такие характеристики действия, как длительность (интенсивность), способ, цель.

Часто оценке подвергается манера смотреть, при этом акцент ставится на негативной оценке. Значение ‘хмуро, сердито смотреть’ трансформируется в ‘сердиться’, или наоборот, глаголы с первичным значением ‘сердиться’ имеют вторичное значение ‘серdito смотреть’. Хмурый сердитый взгляд выступает как один из основных внешних признаков эмоционального состояния субъекта. Речь иногда идет не просто о временном настроении: взгляд выступает как свойство, присущее человеку, характеризующее его личность, характер, мировоззрение («точку зрения»). Негативно оценивается косой взгляд (ср. *смотреть косо* ‘относиться к кому-л. с недоверием, настороженно, обычно выражая это отношение взглядом’). Косой взгляд является показателем плохого настроения субъекта или его недоброжелательного отношения к объекту, на который он смотрит. Косой взгляд, манера не смотреть при разговоре в глаза характеризуют колдуна или ведьму.

Существенным оказывается и такой признак действия, как его долгота / краткость, причем в данной оппозиции в качестве маркированного

члена выступает «долгий» взгляд. Некоторые из глаголов со значением ‘пристально смотреть’ имеют ярко выраженную негативную экспрессивную окраску: *выпулить глаза* ‘посмотреть сердито, выпучить глаза, уставиться’ (дон.) [СРНГ, 5, 335]. Долгое пристальное всматривание характеризуется как «бесцеремонное, нахальное».

Негативной оценке подвергается бесцельное смотрение на объект или смотрение на пустые, малозначимые вещи. В этом случае смотрение противопоставлено действию и является синонимичным праздному бездействию, лени. Семантика бесцельного смотрения отразилась в рус. *зря* ‘напрасно’. Согласно традиционным народным представлениям, пустым любопытным взглядом человек забирает удачу и благополучие у тех, на кого он смотрит.

Взгляд (смотрение) наделяется медиативными свойствами, он отражает эмоции и чувства субъекта и транслирует информацию о них. Взглядом передаются любопытство, зависть, восхищение, желание завладеть объектом, на который он направлен.

Глаголы со значением физического зрительного восприятия могут приобретать другую семантику. Например, глагол со значением ‘смотреть из-за какого-л. препятствия’ развивает значения ‘смотреть тайком, подсматривать’, ‘высматривать, выслеживать’, ‘выжидать’, ‘смотреть с желанием украсть’. Глаголы со значением ‘смотреть’ получают значение ‘присматривать, заботиться о ком-л.’, ср. *доследить* ‘присмотреть за кем-л.’ (вят., смол.) [СРНГ, 8, 141]. Характерными для глаголов со значением ‘смотреть’ можно считать дополнительные значения ‘наблюдать’ и ‘искать’: *глядать* ‘смотреть, смотреть за кем-л., наблюдать’ (тамб.) [Там же, 6, 211]; *зарить* ‘смотреть, искать, высматривая’ (пск.) [Там же, 10, 384]; *зырить* ‘рассматривать, разглядывать’ (орл.), ‘видеть’ (дон., перм., тобол.), ‘искать’ (ворон.) [Там же, 12, 38].

Научное издание

ЭТНОЛИНГВИСТИКА. ОНОМАСТИКА. ЭТИМОЛОГИЯ

Материалы

III Международной научной конференции
Екатеринбург, 7–11 сентября 2015 г.

Редакторы

В. С. Кучко

О. Д. Сурикова

Корректор

Л. А. Феоктистова

Компьютерная верстка

Л. А. Хухаревой

Подписано в печать 04.08.15
Формат 60×84¹/₁₆. Бумага офсетная. Гарнитура Times.
Уч.-изд. л. 16. Усл. печ. л. 18,6. Тираж 200 экз. Заказ 317.

Издательство Уральского университета
620000, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 4.

Отпечатано в Издательско-полиграфическом центре УрФУ
620000, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4.

Тел.: + (343) 350-56-64, 350-90-13

Факс: +7 (343) 358-93-06

E-mail: press-urfu@mail.ru